

**«ДН» — 2015****Романы, повести:**

**Мария АНУФРИЕВА.** Существо. Роман  
**Заир АСИМ.** Книга дней. Повесть  
**Валерий БОЧКОВ.** Медовый рай. Роман  
**Резо ГАБРИАДЗЕ.** Доктор и больной. Повесть  
**Хамид ИСМАЙЛОВ.** Пляска бесов, или Большая игра. Роман  
**Елена КЛЕПИКОВА.** Из жизни Марты. Повесть в рассказах  
**Афанасий МАМЕДОВ.** Перезагрузка в Тунисе. Короткий роман  
**Владимир МЕДВЕДЕВ.** Заххок. Роман  
**Марина МОСКВИНА. КРИО.** Роман. Книга вторая  
**Гурам ОДИШАРИЯ.** Очкастая бомба. Повесть. С грузинского  
**Захар ПРИЛЕПИН.** Новое произведение  
**Елена РЖЕВСКАЯ.** Бремя выбора. Воспоминания  
**Юрий СЕРЕБРЯНСКИЙ.** Новая повесть  
**Дмитрий СТАХОВ.** Свет ночи. Роман  
**Алексей УСТИМЕНКО.** Хмаря стеклянной Бухары. Повесть  
**Сергей УТКИН.** История болезни. Повесть в рассказах  
**Илья ФАЛИКОВ.** Борис Рыжий: Дивий камень. Жизнеописание  
**Левон ХЕЧОЯН.** Чёрная книга, тяжёлый жук. Роман. С армянского

**Рассказы:** Евгения АЛЁХИНА, Андрея ВОЛОСА, Елены ДОЛГОПЯТ, Натальи КЛЮЧАРЁВОЙ, Алексея КОЛОБРОДОВА, Ильи КОЧЕРГИНА, Юрия ОСИПОВА, Мариам ПЕТРОСЯН, Владимира ТОРЧИЛИНА, Евгения ШКЛОВСКОГО и других авторов.

**Новые имена:** участники Форума в Липках, Волошинского фестиваля, фестиваля «Ковчег» и наши собственные открытия

**Новые сочинения:** Эльчина ГУСЕЙНБЕЙЛИ (с азербайджанского), Анатолия КОРЛЁВА, Ицхокаса МЕРАСА (с литовского), Дмитрия НОВИКОВА, Светланы ПЕТРОВОЙ, Владимира ХОЛОДОВА, Александра ХУРГИНА, Дмитрия ШЕВАРОВА

**Новые стихи и переводы:** Шамшада АБДУЛЛАЕВА, Сухбата АФЛАТУНИ, Ефима БЕРШИНА, Сергея ВАСИЛЬЕВА, Германа ВЛАСОВА, Андрея ГРИЦМАНА, Ольги ИВАНОВОЙ, Алексея ИВАНТЕРА, Игоря ИРТЕНЬЕВА, Александра КАБАНОВА, Инны КАБЫШ, Светланы КЕКОВОЙ, Бахыта КЕНЖЕЕВА, Григория КРУЖКОВА, Марины КУДИМОВОЙ, Инги КУЗНЕЦОВОЙ, Виктора КУЛЛЭ, Станислава ЛЕВИНСКИ, Ларисы МИЛЛЕР, Олеся НИКОЛАЕВОЙ, Натальи ПОЛЯКОВОЙ, Геннадия РУСАКОВА, Юрия РЯШЕНЦЕВА, Анны САЕД-ШАХ, Владимира САЛИМОНА, Олега ХЛЕБНИКОВА, Вячеслава ШАПОВАЛОВА и других авторов

**ДРУЖБА НАРОДОВ**

ДРУЖБА НАРОДОВ 1/2015



● Вячеслав Шаповалов  
 Зазеркалье  
*Реквием в антифонах*

● Александр Снегирёв  
 Вера  
*Роман*

● Мариам Петросян  
 Два рассказа



● Рыгор Бородулин  
 Ушачский небосклон  
*Стихи*

● Анна Фёдорова  
 География итальянского характера

1'2015

**Независимый  
литературно-  
художественный  
и общественно-  
политический  
журнал**

**Основан  
в марте 1939 года**

Адрес редакции:  
117218, Москва,  
ул. Кржижановского, дом 13 стр. 2,  
журнал «Дружба народов».  
Телефон (многоканальный):  
8-499-519-02-12.

E-mail: dn52@mail.ru,  
[http://magazines.russ.ru/  
druzhba/](http://magazines.russ.ru/druzhba/)  
LiVEJORNAL: [http://drujba-  
narodov.livejournal.com/](http://drujba-narodov.livejournal.com/)

Юридическая поддержка:  
Congress Consulting.  
Свидетельство о регистрации  
№ 73 от 14.09.1990 г.  
в Министерстве печати  
и массовой информации РСФСР.  
Свидетельство о регистрации  
товарного знака № 288681.  
Зарегистрировано в  
Государственном реестре  
товарных знаков и знаков  
обслуживания РФ  
12 мая 2005 г.



Отпечатано в ОАО «Можайский  
полиграфический комбинат»,  
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93;  
[www.oaootpkr.ru](http://www.oaootpkr.ru) тел.: (495)745-84-28;  
(49638)20-685

**Редакция не имеет возможности  
рецензировать и возвращать  
рукописи.**

**Во всех случаях полиграфического  
брата в экземплярах журнала  
обращаться в типографию, указанную  
в выходных сведениях.**

**При перепечатке наших материалов  
ссылка на журнал «Дружба народов»  
обязательна.**

Сдано в набор 20.11.2014.  
Подписано в печать 27.12.2014.  
Формат бумаги 70 x 108 1/16  
Печать офсетная.  
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.  
Уч.-изд. л. 21. Тираж 2000 экз.  
Заказ 7701. Цена свободная.

# Дружба народов

1'2015

## Редакционная коллегия

Главный редактор Александр ЭБАНОИДЗЕ

Лев АННИНСКИЙ

Леонид БАХНОВ

Ирина ДОРОНИНА

Наталья ИГРУНОВА

Галина КЛИМОВА

Владимир МЕДВЕДЕВ

Ответственный секретарь Сергей НАДЕЕВ

## Редакционный совет

Рамазан АБДУЛАТИПОВ

Сухбат АФЛАТУНИ

Муса АХМАДОВ

Резо ГАБРИАДЗЕ

Алла ГЕРБЕР

Денис ГУЦКО

Иван ДЗЮБА

Александр КЛЯЧИН

Валентин КУРБАТОВ

Ольга ЛЕБЁДУШКИНА

Захар ПРИЛЕПИН

Кнут СКУЕНИЕКС

Сергей ФИЛАТОВ

Ренат ХАРИС

Вячеслав ШАПОВАЛОВ

ЭЛЬЧИН

Леонид ЮЗЕФОВИЧ

16+

## СОДЕРЖАНИЕ

### *Проза и поэзия*

Вячеслав ШАПОВАЛОВ. Зазеркалье. <i>Реквием в антифонах</i> .	
<i>В память о Николозе Бараташвили</i> .....	<b>3</b>
Александр СНЕГИРЁВ. Вера. <i>Роман</i> .....	<b>8</b>
Рыгор БОРОДУЛИН. Ушачский небосклон. <i>Стихи. С белорусского.</i>	
<i>Перевод Ивана Бурсова</i> .....	<b>103</b>
ПРОЗА. ДОС	
Андрей СТОЛЯРОВ. Дайте миру шанс. <i>Повесть по мотивам реальности</i> .....	<b>111</b>
Марина КУДИМОВА. Одиночества русского жребий. <i>Стихи</i> .....	<b>148</b>
Мариам ПЕТРОСЯН. Два рассказа .....	<b>151</b>
Владимир САЛИМОН. О нашем времени ни слова. <i>Стихи</i> .....	<b>157</b>
Наталья МЕЛЁХИНА. По заявкам сельчан. <i>Рассказ</i> .....	<b>161</b>

### *Золотые страницы «ДН»*

Инна ЛИСНЯНСКАЯ. Стихи и переводы .....	<b>168</b>
Фикрет ГОДЖА. Стихи. <i>С азербайджанского. Перевод Инны Лиснянской</i> .....	<b>173</b>
Лоик ШЕРАЛИ. Стихи. <i>С таджикского. Перевод Инны Лиснянской</i> .....	<b>174</b>

### *Нация и мир*

ГЛАЗАМИ НАШИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ	
Анна ФЁДОРОВА. География итальянского характера.....	<b>175</b>
Борис ШЕЙНИН. Мой Коканд .....	<b>191</b>

### *Публицистика*

СТРАНА РОССИЯ	
Вячеслав ЗАПОЛЬСКИХ. Аллилуйя таежная .....	<b>205</b>

### *Критика*

Согревающая проза или текст на чужом языке? <i>Литературные итоги 2014 года.</i>	
<i>Заочный «круглый стол»</i> .....	<b>218</b>

### *Эхо*

Орёл и гуси. <i>Рубрику ведёт Лев АННИНСКИЙ</i> .....	<b>238</b>
<i>Summary</i> .....	<b>240</b>

*Вячеслав Шаповалов*

## Зазеркалье

*Реквием в антифонах*

*В память о Николозе Бараташвили*

*Лирический герой «Мерани», однажды заглянув в зеркало судьбы, обрел усилиями поколений множественность и глубину зазеркалья.*

*Отражение не только в пространстве, но и во времени сообщает романтическому монологу дневниковые черты череды участников: от горделивой искренности дорожащего могилами предков сына своего рода — до безнадежности безродного детдомовца, от устремленности к высотам духа и судьбы — до побега из тюрьмы.*

*Но артефакт зазеркалья один — несгибаемый дух, терпеливое сердце. Подлинник, от которого расходятся круги переводов. Изначальный аккорд хора в трагедии, рождающий перекличку антифонов. Таким мне с юности виделся этот гимн, вокруг которого толпились его аранжировки: кружасящаяся в страшном вихре крошаечная фигурка кентавра с мотыльковыми крыльями — среди крылатых подобий в бесконечной череде зеркальных самоотражений. Музыка долгой, ускользающей грузинской логаэтической силлабики — или диссонирующих чужеземных ямбов, пусть и афористической точности: «Я слаб, но я не раб судьбы своей».*

*К этому хороводу, к этим множащимся, дробящимся, искажающимся в глубине первичного зеркала его подобиям смиленно добавляю и свои попытки «небесам глухим шептать о сокровенном»...*

### 1

«Сон мой тревожный — мчишь без дорог, верный Мерани,  
Каркает ворон, злобный пророк, между мирами.  
Рви же пространств мутную мглу в облачной ткани,  
Ветру отдай чёрную грусть, веший Мерани!...»

«Ветер надежды, юн и крылат — скачи, Мерани,  
Ворон хропит, пророчит ад: путь — перед нами.  
Лети, чтоб сердце вновь распахнуть, не знать предела,  
Бессмертный дух наш — бездомный путь смертного тела...»

---

*Шаповалов Вячеслав Иванович* — поэт, переводчик тюркской и европейской поэзии. Народный поэт Киргизии, лауреат Государственной премии Киргизии, лауреат Российской премии (2013), Заслуженный деятель культуры, профессор, доктор филологии. Постоянный автор «Дружбы народов». Живет в г. Бишкек.

«Друг мой, ровесник, в чёрную хмарь рвёшься, Мерани,  
 Ворон дорогу слазит нам, тварь — сдаст нас охране.  
 Век не слыхать ихних сирен тяжкого воя,  
 Тонет наш плен у этих стен в храпе конвоя...»

**Под карканье судьбы, стремлением объятый,  
 Когда не счастье в пути тревог и расстояний —  
 Скачи, мой дивный конь, надежды сон крылатый,  
 Бездомная мечта по имени Мерани!..**

## 2

«Бури и хляби пересекая, одолевая скалы и бездны,  
 Тягостных странствий время сжимая в жизни прекрасной, горькой и бедной,  
 Не опускай крыла перед горем, не уступай морозу и зною —  
 И не щади седока в этом беге над безотрадной сущей земною!..»

«В горло вцепилась тьма урагана, ждут нас, оскалясь, бездны и скалы,  
 В миге полёта — век ожиданья: как по эпохам нас разметало!  
 Крылья надломит злое ненастье — знать, за мечту такая расплата,  
 К гриве бессильно всадник склонился — знать, ненадолго сердце ослабло...»

«Сердце погладят жёсткие пальцы, ржавые рельсы сказку расскажут,  
 Думал, взлетишь — и жизнь распахнётся? Только зевни — о камни размажет.  
 Крылья раскинешь — пулю заманишь, нет в мире правды, нет и не надо,  
 Выдохся беглый — конный ли, пеший: тропа на волю — дорога ада...»

**Лети, презрев морей и скал смятенье злое,  
 Пусть путь длиною в жизнь — до мига сократится,  
 Не бойся ни судьбы, ни холода, ни зноя,  
 И твой седок с тобой, измученный, домчится.**

## 3

«Родины больше я не увижу, лица друзей утрачу во мгле я,  
 Сладостноустой, сладкоречивой милой — я взор позабуду, жалея,  
 Ночь ли, рассвет ли — всё мне чужбина, утра дождусь в могильном ковчеге,  
 Звездам далёким жизнь открывая, всю, без утайки, значит — навеки...»

«Прежде же — с прежней жизнью проститься и потерять ровесников милых,  
 Ту, чьё дыханье в лоне рассветном грело, забыть живущий не в силах,  
 Домом назвать безродную пустошь: с ночью ли встреча, с утром свиданье —  
 С чуждыми звездами горем делиться, благодарить их за молчанье...»

«Скольких здесь нас поцелуй промедола молча отправил в яму забвенья,  
 В сладкий побег, в сон без подъёма, без пробужденья, без сожаленья.  
 Мертвая пустошь — имя детдому, память точили — как нас учили,  
 В форточке звёзды, всё — по-другому, а уходили — не различили...»

**Пусть раньше суждено утратить дом, отчизну,  
Родных и сверстников — и встать лицом к изменам,  
К утратам привыкать, терпению учиться —  
И небесам глухим шептать о сокровенном.**

4

«Всё, что любил я, скроет волна пенная в граве  
И растворишь ты, дивный скаун, в вечном порыве,  
Рви же пространств мутную мглу в облачной ткани,  
Ветру отдай чёрную грусть, веющий Мерани!...»

«В зыби морской — трепет любви, сердца мерцанье.  
В выси твой бег — юный порыв к небу, Мерани! —  
Лети, чтобы сердце вновь распахнуть, не знать предела:  
Бессмертный дух наш — бездомный путь смертного тела...»

«Длинный разбег волны морской... Ты видел море?  
Там чаек крик, там Божий лик, там нету горя,  
Там не слыхать здешних сирен тяжкого воя,  
Тонет наш плен у этих стен в храпе конвоя...»

**Отречься от любви, ни в чм не виноватой,  
И пустоте дарить ненужное признанье! —  
Скачи, мой дивный конь, надежды сон крылатый,  
Бездомная мечта по имени Мерани!..**

5

«Пусть не найдётся страннику места с предками рядом лечь на кладбище,  
Пусть не оплачет та, что любила, жаркие слёзы глаз не отыщут,  
Серый стервятник выклюет очи — и на пустынном мёртвом погосте  
Ветры размечут прах безымянный, выбелит время бедные кости...»

«Что ж, коли так, пусть блудного сына не упокоят рядом с родными,  
Пусть и подруга слёз не уронит — не о ком плакать станет отныне.  
Мерзкие твари прах осквернят мой. Ветры, песок вонзая в глазницы,  
Бросят меня во тьме безымянной ждать наступленья чуждой денницы...»

«Детство забылось, сердце забилось! — даже и в этом каждый обманут,  
Если не высledили живого, то и в могиле шарить не станут,  
Да и не выбьет скорбно железо свежей утраты имя на камне —  
Только во сне родное подворье видеть придётся издалека мне...»

**Бродяге места нет на родовом погосте,  
Не слышит милой плач в чужой земле могила:  
Где упаду с коня, сыграют птицы в кости  
И, вс забыв, душа взлетит над всем, что жило.**

## 6

«В мёртвом сиротстве слёзы любимой — мутного неба стылая влага.  
Родичи плачут? — нет, это птицы, хищная радость вышнего мрака.  
Прянь, если можешь, дух мой крылатый, пересчитай судьбы нашей грани! —  
Нас не сломали прежние беды — не прекращай полёта, Мерани!..»

«Не с кем проститься: слёзы любимой? — хмурых небес бездушные росы.  
Близких стенанья? — коршунов крики там, где безмолвно прячутся грозы.  
Мчи, мой Мерани, ведь за пределом жизни и смерти, что мне открылся,  
Не покорюсь я бедам грядущим — если доселе не покорился!..»

«Там факелами чадит наша зона, ливень кислотный жизнь заливает,  
Там паханы цацки смывают, там вертухай кружки сдвигают,  
Птички поют вороньего цвета, вохра волыны чистят заранее.  
Если уходишь — забудь про это! Не останавливайся, Мерани!..»

**Взамен горячих слз — холодных рос осадок,  
Взамен молящихся — в пустынном небе птицы.  
Не уставай, Мерани! — одинокий всадник,  
Ни прежде, ни потом судьбе не покорится.**

## 7

«Пусть я судьбою буду сражён, грудь укрывая —  
Дерзостной веры не устрашит сталь роковая,  
Рви же пространств мутную мглу в облачной ткани,  
Ветру отдай чёрную грусть, вещий Мерани!..»

«Пусть нанесёт злая судьба молча удар свой —  
Всё я приму, лишь прошепчу гибели: здравствуй!  
Лети, чтоб сердце вновь распахнуть, не знать предела:  
Бессмертный дух наш — бездомный путь смертного тела...»

...Судьбе назло время пришло на всё решиться:  
Что суждено — пусть всё равно сразу свершится.  
Беги, пока нам не слыхать хриплой сирены,  
Пока судьбу прячут в гробу старые стены!..»

**Вопьтся в сердце сталь — мой рок, мой враг заклятый,  
Но устрашить меня — напрасное старанье,  
Скачи, мой дивный конь, надежды сон крылатый,  
Бездомная мечта по имени Мерани!..**

8

«Ведь не впустую всё, чем мы жили, что потеряли, все упованья —  
А сохранить бы память надежды, жертвенный путь наш, дух мой, Мерани? —  
Новый искатель с пламенной верой вновь устремится в сумерки рока:  
Пусть к нему будет всё же добре эта судьбина — эта дорога...»

«Мы же не зря во мгле бездорожья верили звёздам, сил не жалели,  
Нашим путём, ты слышишь, Мерани, ринется кто-то в пламени цели:  
Зря ли провижу в нашей вселенной будущий свет и голос собрата,  
Пусть же скакун, наследник дороги, скачет границей рая и ада!..»

«Да, мы на волю тропу торили — путь ненадёжный, трудный, кровавый! —  
Ты же, кто вслед нам в камере плакал, но не прельстился пулей и славой,  
Пусть тебе встретится добрая фея, из земляники варенья наварит,  
Утром разбудит, хлебом накормит, кровь отстирает, паспорт подарит...»

**Ведь вс-таки не зря душа на свет стремилась,  
И мы открыли путь, и это нам зачтся! —  
Даруй, судьба, собрату огненную милость:  
Пускай его скакун в дороге не споткнется.**

9

«Сон мой тревожный — мчишь без дорог, верный Мерани,  
Каркает ворон, злобный пророк, между мирами.  
Рви же пространств мутную мглу в облачной ткани,  
Ветру отдай чёрную грусть, веший Мерани!..»

«Ветер надежды, юн и крылат, скачи, Мерани,  
Ворон хрюпит, пророчит ад — путь перед нами.  
Лети, чтоб сердце вновь распахнуть, не знать предела:  
Бессмертный дух наш — бездомный путь смертного тела...»

«Друг мой, ровесник, в чёрную хмарь рвёшься, Мерани,  
Ворон дорогу сглазит нам, тварь — сдаст нас охране.  
Век не слыхать ихних сирен тяжкого воя,  
Тонет наш плен у этих стен в храпе конвоя...»

**Под карканье судьбы, стремлением объятый,  
Когда не счастье в пути тревог и расстояний —  
Скачи, мой дивный конь, надежды сон крылатый,  
Бездомная мечта по имени Мерани!..**

# Проза

*Александр Снегирёв*

## **Вера**

*Роман*

### **Пролог**

Все началось в декабре тысяча девятьсот тридцать седьмого года, когда Верин дед прочитал в «Правде» стихотворение Сулеймана Стальского и решил назвать первенца в честь великого лезгинского поэта.

Катерина, в те дни уже его законная, замуж не хотела. Бегала топиться, но бабка выудила и отконвоировала под венец. Мужик дурковатый, зато с избой.

Дело происходило в одной западной русской области, в деревне Ягодка, которая сегодня переживает возрождение. Дома отстроены заново с применением современных материалов, в русле актуальных санитарно-бытовых потребностей. Дорога, правда, по-прежнему неважная, но дорог в этой местности не было никогда: ни при барине, ни при колхозе, ни даже при немцах.

Коряги древних, притворяющихся плодоносящими яблонь кое-где еще торчат из газонов, точно старухи, присматривающие за детскими — новыми жителями. Сами газоны пока несовершены: или чересчур плоски или, напротив, изрыты кротами, однако само появление в Ягодке этой садовой прихоти уже столь необычно, что изъяны бросятся в глаза лишь недоброжелателю.

В конце деревни, ближе к лесу, расположен утыканный кувшинками пруд, с одного края которого — церковь, а с другого — пустырь. При внимательном изучении снимков со спутника пустырь обнаруживает правильные геометрические очертания, потому что является фундаментом барского жилого строения, сгоревшего когда-то по халатности мародерствующих.

Но в спутниковые фотографии никто не всматривается и новые обитатели Ягодки бывают очень удивлены, когда при сносе очередного сарая, под грудами незамысловатого инвентаря, обнаруживают то резную, в форме звериной лапы, мебельную ножку, то осколки изящного фарфора, то заплесневелый обрывок живописного холста.

---

*Снегирёв Александр* родился в 1980 году в Москве. Учился на художника, архитектора, политолога. Прозаик, автор книг «Как мы бомбили Америку» (М., 2007), «Русский размер» (М., 2007), «Нефтяная Венера» (М., 2008), «Моя малышка» (М., 2008), «Тщеславие» (М., 2010), «Чувство вины» (М., 2013). Лауреат премии «Дебют» (2005), премии Союза писателей Москвы и др. Книги переведены на английский, немецкий и шведский языки. Последняя публикация в «ДН» — рассказ «Строчка в октябре» (№ 11, 2014).

---

## Часть 1

\* \* \*

В начале самой страшной войны в истории человечества нелюбимого мужа Катерины призвали. Однако, не прошло и месяца, как он, дезертируя из госпиталя при отступлении, вернулся на костыле в еще не занятую неприятелем Ягодку. Катерина не успела понять рада она вновь обретенному супругу или не очень, как услышала тарахтение моторов улыбчивой мотопехоты пятьдесят седьмого германского корпуса. Председателя при всем народе повесили, а хромой папаша трехлетнего Сулеймана, единственный оставшийся в деревне взрослый и не старик, сопротивления не окажал и был назначен старостой.

Жизнь сделалась яснее. Новые власти поощряли за послушание, наказывали за самодеятельность. Связисты повсюду размотали цветные кабели, наладили телефонную связь между зданием бывшего сельсовета, сохранившим административные функции, обустроенным в церкви госпиталем и городом. Развесили вывески и согнали баб сровнять бугры на единственной улице, переименованной из «Ленина» в «Кайзерштрассе».

Самая страшная война в истории человечества быстро ушла на восток и напоминала о себе, пожалуй, только непрерывно работающим госпиталем, в который вскоре стали поступать бедолаги из-под Москвы, больше пострадавшие от непригодных климатических условий, чем от огня защитников столицы.

Сулик был типичным ребенком, росшим в оккупации: не тяготился, но ждал своих. А еще ему очень понравилась упорядоченность германского быта. С тех пор он сам упорядочивал все вокруг и делал это до тех пор, пока вера навсегда не ушла из его жизни.

Прочие жители испытывали нечто схожее — помохи новым хозяевам не оказывали, но и сопротивления тоже. Молодежь наверное бы рыпалась, но молодежи не было — парней мобилизовали в Красную армию, девки сплошь были малолетние, бабы помалкивали, а старики принимали все, как есть. Одна Лукерья, чьих сыновей-кулаков безвозвратно арестовала советская власть, Лукерья, которая тянула на себе внучку Зинку, не стеснялась проявлять позицию — крестила закатные небеса, когда воздушные армии запада прокладывали золотые лыжни в сторону востока.

За два с лишним года службы врагу муж Катерины ничего антинародного на своем посту не предпринял. Родилась дочка. Назвали без выкрутасов Раечкой, может, потому, что «Правда» в те годы была недоступна. Только однажды староста оступился — осенью сорок второго пленили партизан и настояли, чтобы он подписался под расстрельным листом.

И он свои корявые буковки вывел.

Тогда мальчишки подсмотрели, и Сулик был среди них.

И он увидел, как люди превращаются в тела.

В скропорящающиеся отходы.

Увидел, как легко это происходит.

А больше ничего отец не совершил. Он вообще был тихий. Еще молодым, когда церковь разоряли, он к батюшке подступил и пожарным багром слегка пихнул в брюхо. Мол, помогай, борода. И в зубы двинул для аргумента. Батюшка сначала привередничал, а потом вдруг покорился и, отплевываясь красным, будто брусничных пирогов наелся, схватил багор, и стал тыкать в росписи и дырявить разукрашенную штукатурку. Вскочив на алтарь, он вонзил острие в иконы и драл их крюком. Он опрокинул канун с остатками свечей и

оборвал лампады. Он шуровал с такой нервической яростью, так страшно бранился, что вызвал у активистов оторопь и даже испуг, и тогда принудитель его не без труда багор отобрал. С открытой брезгливостью к погромщику и с затаенной к себе.

Батюшку вскоре навсегда увезли компетентные товарищи, а побудитель его отступничества после того раза успокоился. Даже в партию вступать не стал, хоть и выдвигали, увлекся чтением и женился.

Его не оскорбляло, что остановившийся у них на постой германский офицер-фотолюбитель к Катерине благоволит. Танцевать зовет под патефон и без всякой брезгливости славянский стан обнимает.

На карточках, найденных годом позже в ранце этого самого, к тому времени уже бездыханного, фотографа есть и ее изображения. Босая, недоверчивый взгляд из-под косынки. Запечатлена за подобающим занятием — ворошит сено.

Болтали про них, а про кого не болтают.

А может, и не зря болтали.

У Катерины даже бумажка, припечатанная страшным круговым крестом, одну ночь хранилась. Фотолюбитель оформил дарственную, вручил Ягодку ей и потомкам. И рукой повел, будто всю Россию отписал.

Наутро Катерина бумажку сожгла.

Вступление освободительного войска осуществилось не только без боя, но и вообще без какого-либо присутствия противника. Солнце не светило ярче, погода не бунтовала.

Ягодка одинаково отдавалась каждому новому, не делая различия между пьющими ее воду, мнущими ее траву, оставляющими следы в ее пыли.

Дотошные военные оперативники, напротив, оказались настроены не столь философически и сразу принялись вычисывать изменников. Соседи в своей народной массе помалкивали, но кто-то выдал.

Четырнадцать заяв, круглыми женскими буквами писанных, следователь принял.

Это на семнадцать дворов.

Один сожженный партизанский, в другом безымянная слепая бабушка, в третьем старостино семейство.

Двоих светлых юношей в красивых синих фуражках пришли, когда Суликов папаша валенки подшивал.

Только ремень велели скинуть.

И похромал тихий староста, будущий Верин дед, на далекие лесозаготовки.

\* \* \*

Скоро маленькая Раечка померла от того же, от чего половина шестой армии фельдмаршала Паулюса.

Дизентерия.

Голодали сильно.

Братья Катерины, ступив на боевой путь в самом начале, так и пошли по нему до самой Валгаллы, которую, небось, у немчуры и оттяпали.

Соседи стали мать с сыном дразнить фашистами. Сулик начал киснуть, замкнулся, сжег дареный фотолюбителем противогаз, фляжку бросил в реку, но она не утонула, а поплыла, как не тонуло, выныривало, его одиночество, как не тонула тяга к порядку и цветным проводам.

Будучи мальчиком отверженным, он в редкие минуты деревенского досуга бродил по разгромленным, пахнущим медикаментами, помещениям церкви-госпиталя, неподалеку от которой, рядом со старым кладбищем, из земли выступали холмики умерших от ран. Сначала в них были натыканы аккуратные крестики, но их пожгли. И остались одни холмики, которые быстро застали.

Скоро пошел слух, что в гробах сокровища.

И стар и млад принялись холмики потрошить и косточки просеивать.

И нашли.

Сашка перстенек содрал вместе с ошметками и на внутренней стороне надпись разобрал — Edvin und Linda.

В райцентре сказали «серебро», и три буханки дали.

Сергевна сапоги почти неношеные с подгнившими конечностями стащила.

А Колька нашел наградной кортик, которым пощекотал Олежку.

Не до смерти, конечно.

Сулика отгоняли, кидали комьями. Ему доставались только обедки этой археологической вакханалии — без всякой надежды он осматривал гробы уже вскрытые.

Однажды внимание привлек разъехавшийся, недоукомплектованный скелет. Из четырех положенных конечностей он имел лишь одну, левую руку.

Пнув со злости, от скуки и просто забавы ради эти жалкие останки, Сулик увидел в серой трухе лицевых тканей блеск.

И упал коршуном.

Не тронутый санитаром, по невероятной случайности пропущенный односельчанами, пасть мертвеца озарял золотой, задний нижний зуб, именуемый дантистами моляром.

Доской Сулик вышиб находку, спрятал в артиллерийскую гильзу, запечатал глиной и, не сообщив матери, зарыл под задним венцом.

С тех пор каждый раз, когда представлялась возможность, он раскапывал жевательную принадлежность из драгмета и не мог насмотреться на мятый, льющийся, тяжеленький блеск.

\* \* \*

Когда сообщили, что Первый Председатель Совета министров скончался, Катерина велела Сулику надеть на себя все, что потеплее, и двигать за ней в сторону Колонного зала Дома Союзов.

Шли не торопясь, заночевали у стрелочницы и всего успели преодолеть километров тридцать, когда их настигло известие — бальзамирование завершилось, тело выложено в Мавзоле.

Облегченно вздохнув, Катерина повернула обратно.

В Ягодке самоволку оценили. Одна только Катерина проявила рвение такой силы, осмелилась без разрешения покинуть колхоз и отправиться пешком, проститься с любимым вождем. Измену родине и смутные отношения с врагом не забыли, но злобное шипение поутихло, лай превратился в тявканье.

По исполнении Сулику четырнадцати Катерина свезла его в интернат.

Верила государству в связи с недостатком корма.

Они и в самом деле недоедали, но не это подтолкнуло Катерину к решительному шагу. Она знала — после армии паспорт Сулика вернут в колхоз, что гарантирует ему неоплачиваемую занятость до конца дней, а интернатовским документы выдают на руки. Сулик сможет пойти на завод, поступить на

вечерний и Советский Союз распахнет перед ним все свои безграничные возможности.

Катерина была патриоткой, но сыну желала добра.

Годы в интернате пролетели и Сулика отправили служить на Камчатку, на радиолокационную станцию.

Аэрором — укатанное снежное поле, рота рядовых, офицеры и техники. Двухметровый забор заносило с горкой, и представители коренных народов Севера на собачьих упряжках срезали через территорию.

Когда советская ракета сбила американский самолет-разведчик, начальник занервничал.

Полковник, прошедший самую страшную войну, не был паникером, но бескрайние сугна, белые бури и три типа блюд из кеты, которыми в произвольной последовательности кормил повар, растроили его фантазию.

Услышав о плении летчика, полковник на некоторое время заперся у себя, а потом собрал весь личный состав на взлетно-посадочном снегу.

Был май, припекало так, что кинув поверх сугробов полушибок можно было закрыть глаза и представить Сочи. Но полковнику было не до солнечных ванн, он выступил с краткой речью.

Международная обстановка накалилась до предела. После потери самолета американцы обязательно нанесут ответный удар.

А по кому наносить, как не по нам?

От Аляски рукой подать.

Не сегодня завтра всплывет подлодка, благо лед встал, высадят десант и...

Тут полковник добавил, что получил секретные сведения.

Сведения и вправду были получены. И не как-нибудь, а по самому секретному из всех возможных каналов — голос Верховного Главнокомандующего, уже семь лет почивающего в Мавзолее, заговорил прямо в голове полковника. Прежде такого не случалось и ветеран решил прислушаться.

Усиленные патрули, составившие один большой хоровод, днем и ночью кружили вокруг нескольких построек станции. Отраженное от снега солнце нещадно слепило даже сквозь специальные темные очки, многие получили ожоги лиц.

Не дождавшись десанта, полковник через неделю отменил осадное положение и сник, а вскоре был отозван и сменен другим, точно таким же, только женатым.

\* \* \*

Неподалеку от станции располагался поселок сезонных женщин-работниц. Поселок состоял из жилого барака, цеха и магазина с неизменным армянским коньяком в ассортименте. Там произошел второй за годы Суликовой службы инцидент.

Продавщица держала курицу, а при бараке обитала кошка. Продуктовый вопрос перед кошкой не стоял, курица же требовала зерна, доставляемого с большой земли. Несколько, что подтолкнуло кошку к преступлению. Видимо, достаток и скука, когда чего-то хочется, а чего не знаешь. Хочется прыгать и размахивать, промчаться голой под громкую музыку в открытом экипаже, лизнуть на морозе железяку и не прилипнуть.

Обнаружив эти вполне человеческие, декадентские свойства, кошка украла курицу.

Продавщица сначала подумала на медведя, потом на приходящего майора.

Осознать несостоительность этих гипотез ей помогли сладко жмурающиеся глаза и усы в перьях.

Продавщица схватила несчастное существо и принялась трясти.

Сулик находился поблизости, было свободное время, он дышал свежим воздухом.

Сулик видел, как продавщица, перехватив воровку за хвост, стала колотить ею об угол барака, обитого для защиты от ветра распрымленными консервными банками, которых, как и рыбы, было в избытке.

Сулик даже научился резать из распрымленных консервных банок профили.

Очень похоже выходило.

В казарме над каждой койкой к стенке крепился, исполненный им, силуэт невесты. Даже новый полковник повесил на видное место свое и супруги жестяные изображения на манер знаменитых профилей герцога Урбинского и Баттисты Сфорца. Любой профиль неприятно напоминал полковнику фотографии из следственного дела, но супруга настояла и он уважил.

Ослепленный сверкающей жестянной чешуей, Сулик разом вспомнил курносые, носатые, лобастые, кадыкастые жестянки. Он видел — несчастную воровку умертвил первый удар. Продавщица молотила измочаленным лоскутком и никак не могла остановиться.

Вскоре в клубе произошел погром. Неизвестный изорвал бумажные шахматные доски и, что самое крамольное и вместе с тем удивительное, вручную располовинил толстые журналы политинформации.

Многие дивились не столько самому поступку таинственного психопата, сколько его физической силе. Разорвать плотной бумаги журнал по плечу не каждому атлету, а проделать это подряд с целой полкой и вовсе невозможно.

Под видом силовых соревнований пытались провернуть следственный эксперимент, выявить злоумышленника, а то и целый заговор. Кто разорвет пачку бумаги, тот и злодей. Однако простодушный план провалился.

\* \* \*

Тем временем Катерина писала Сулику, что отец год как вернулся из Пермского края и устроился в колхозе плотником.

Коллаборационизм ему не забывают, но мужиков-то нет, вот и взяли.

Отец тяжелый стал.

Раньше «Правду» читал, а теперь ничего не читает. Не попивает особо, но трудно с ним.

Демобилизовавшийся Сулик продал грузину на трех вокзалах бидон красной зернистой, приобрел матери пальто с цигейкой и поехал в Ягодку.

Пришел ночью, задами, чтобы не тревожить собак.

Шарик оказался еще живехонек: поднялся, звякая цепью, тяжкнул и заскулил.

Чиркая спичками, Сулик нашел место у заднего венца и раскопал.

Вытряхнул из гильзы на ладонь, опустил в карман и уже собрался уходить, когда его окликнули.

Накренившаяся хромая фигура. Висящие вдоль корпуса руки.

— Здравствуй, Сулейман. Закурить есть?

Интернатовское отчество и три года службы так и не приучили Сулика к табаку.

— Не курю, — ответил он, зная, что за такой ответ получают даже от родителя.

Они постояли, а затем сорокапятилетний стариk повернулся к сыну спиной и поковылял в сторону крыльца.

Сулик смотрел вслед, но отца не видел, а видел что-то смутное и неопределенное.

Зрение ему вернул скрип затворившейся двери.

Очнувшись, он положил на крыльце сверток с пальто, накрыл корытом, чтоб Шарик не развершил, и поторопился в сторону шоссе, пока местные не оторвали тяжелые головы от набитых соломой тюфяков.

\* \* \*

Сулик сунулся в несколько высших учебных заведений, но ни в одно принят не был.

Год работал подмастерьем на производстве. На следующих вступительных повезло. Утаив от анкеты деятельность отца в годы самой страшной войны в истории, Сулик поступил на химфак.

Увлекся электролизом, цветных проводов оказалось предостаточно. Его завораживало, как под воздействием электричества тот или иной металл покрывает предмет. Цинк ложится на сталь, медь на гипс, золото послушно окутывает любую форму.

Из затюканного деревенского мальчика Сулик превращался в видного молодого человека приятной славянской наружности, что в те годы уже становилась редкостью.

Матери писал к праздничным датам, отцу вовсе не писал.

Приобрел вкус к элегантному быту, на танцах познакомился с обладательницей пропорционального лица в обрамлении роскошных волос. Смотрела она желтыми, ярко очерченными глазами. Целовалась тонкими, но страстными губами, которые вместе с заметным подбородком выдавали волевые свойства натурь. Короткое платье обхватывало заметный бюст и вполне изящные бедра. Каблуки возносили ее мацушку к его носу.

Она оказалась старше Сулика на три с половиной года и жила с жалующейся на слепоту матерью, военной вдовой, в двух комнатах коммунальной квартиры в одном из кривых центральных переулков.

Стеснительностью подруга нашего героя не отличалась — после второго свидания в кафетерии пригласила терзаемого дерзкими помышлениями тихоню к себе.

Мать, носившая имя Эстер, временно обрела зрение и весьма острое.

Разглядев Сулика, крадущегося на цыпочках в одних черных сатиновых трусах из комнаты ее единственной, мимо буфета из массива ценной породы, прямиком в санузел, Эстер устроила скандал.

Отшвырнув влюбленного, она ворвалась к дочери, однако тут же была бесцеремонно выпровожена.

В самый разгар схватки мимо по коридору прошаркала с кастрюлькой обитательница третьей комнаты коммунального жилища.

Старушка-доходяга нрав молодой соседки не осуждала, не замечая вокруг себя ничего, кроме ежедневной пищи. Это свойство она, по слухам, приобрела в пору давнего и навечного ареста сына — врага народа.

\* \* \*

Любовная связь долго не продлилась и была разорвана по инициативе прелестницы.

Она была молода, хороша собой и хотела просто жить.

Если с первыми двумя фактами Сулик был целиком согласен, то третий принять не мог. «Просто жить» означало частые, порой совершенно непредсказуемые связи с мужчинами, многие из которых могли бы сверкать в коллекциях самых знаменитых любительниц этого дела.

Рыночные торговцы, руководящие работники, студенты Консерватории имени Петра Ильича Чайковского и даже дворник ближайшего детсада составляли эклектичный любовный список Суликовой избранницы.

Если бы она взимала плату, то разбогатела бы не хуже народной артистки, однако, будучи натурой увлеченной, барыша не извлекала.

Столкнувшись с фактами, Сулик возмутился, затем неожиданно для себя расплакался, из глаз полило, как будто на мотоцикле без очков, и он ушел, что называется, в сторону, оставив Эстер наедине с темпераментом единственной ненаглядной.

Учение Сулик закончил с отличием.

Его единственного распределили на столичное предприятие, выделили комнату в общежитии, записали в поликлинику, положили оклад.

В Ягодку он не ездил. На похоронах отца отсутствовал, работа не пустила.

Мать наведывалась редко, стеснялась своих калош и платка, надолго не задерживалась.

Когда задор первых трудовых лет в лаборатории полной цветных проводов, реактивов и стеклянных емкостей, прошел... Когда первые грамоты за трудовые успехи перестали греть честолюбие и были сложены в папку с другими рутинными бумагами... Именно в те дни подступающего беспричинного разочарования и случился в его жизни интересный поворот.

Гуляя в один из майских выходных по опустевшим мостовым, Сулик встретил ту самую, из кривого переулка.

Спросила — как дела?

Ответил — хорошо.

Не женился?

А она замужем.

Сообщив о своем семейном статусе, скорчила знакомую гримаску, означающую мимолетность и ее нынешнего брака, и вообще всего.

Кстати, не поможет ли он ей перевезти небольшой гардероб? Двусторчатый. Подруга разрешила забрать, здесь рядом, у нее и транспорт есть.

И она продемонстрировала двухколесную тележку для продуктовых покупок, у которой отсутствовала сумка, один только железный каркас на колесах.

Засомневавшись, что тележка увезет на себе целый шкаф, Сулик, однако, согласился и вот они уже стояли близко друг к другу на темной площадке третьего этажа незнакомого дома и она, хихикая, никак не могла попасть ключом в скважину. Он предложил помочь, она отказалась и между ними завязалась милая кутерьма, которая, впрочем, не помешала проникнуть в квартиру.

Его немного удивила неопрятность проживающей здесь девушки, которая так любезно решила отдать подруге шкаф. Постель была разобрана и даже на расстоянии поражала несвежестью, кухонный стол украшала переполненная

пепельница, на краях умывальника застыли брызги засохшей мыльной пены с темной шетиной. Окончательная ясность наступила, когда Сулик увидел, как его деятельная подруга выбрасывает прямо на пол содержимое гардероба — сплошь брюки, галстуки и пиджаки.

Редкие платья, одно из которых одно Сулик даже опознал, она запихивала в сумку.

Спустя минуту она уже корректировала направление, а он двигал опустошенный предмет мебели к выходу.

Когда одна из двух створок оказалась за порогом, а Сулик, находясь в квартире, выталкивал наружу вторую, послышался шум лифта и голоса — ее и незнакомый мужской.

Не будем приводить здесь тот словесный сумбур, который происходит между рассорившимися супругами, один из которых, а точнее, она, тайно съезжает с квартиры, похищая при этом шкаф. Заметим лишь, что Сулик, оказавшись задвинутым чужим шкафом, немного развелся. Он не был нюней, но и наглецом его тоже никак нельзя было назвать. Ситуация меж тем сложилась деликатная. Сулик попробовал было дернуть шкаф обратно в тесный коридорчик, освободить себе выход и объясняться с невидимым противником, но она громогласно запретила это делать. Напротив, потребовала продолжить вынос. Тогда Сулик толкнул шкаф вон из квартиры, но встретил сопротивление хозяина, который, видимо, уперся плечом с противоположной стороны.

Неизвестно, сколько бы продолжалось это противостояние, если бы не сообразительность затеявшей авантюру красотки. Отчетливо выговаривая слова, с верной долей дрожи в голосе, не слишком громко и не шепотом, она сообщила мужу, что беременна. И отец ребенка не он, а тот, который зажат теперь в коридорчике и может там умереть так и не увидев своего сына или дочь.

Удивительное действие оказывают на мужчин эти женские выдумки. Какие бы умные и хитрые мужчины ни были, слезы, беременность и прочее подобное, пусть не существующее на самом деле, лишь упомянутое, отменяет любые аргументы разума. А если польстить мужчине, намекнуть на его благородство и к этому благородству легонько подтолкнуть, то самые, казалось бы, невероятные мечты претворяются в жизнь.

На недолгое время воцарилась тишина, которую нарушил ее деликатный призыв.

— Двигай, — сказала она голосом даже немного жертвенным и Сулик подчинился.

У окна лестничного пролета, живописно облокотившись о перила, стоял импозантный брюнет в импортном кожаном пиджаке. Сразу было ясно — брюнет считает себя красивым мужчиной и совершенно, надо заметить, заслуженно. Большое, гладко выбритое лицо походило на лица, выбитые на античных монетах из музея. Густые итальянские волосы блестели. Сигарета, крепко сидевшая между крупными пальцами, то и дело отправлялась в брезгливо надувшиеся красные губы.

Сулик едва заметно кивнул.

Курящий отвернулся.

Шкаф вдруг сделался тяжелее, стал цепляться за неровности пола и никак не хотел помещаться в то и дело захлопывающемся лифте.

Сулик потел, испытывая стыд и унижение, но одновременно ощущал себя победителем. Торопясь вниз по лестнице вслед за унесшим груз лифтом, он с каждой ступенью наполнялся уверенностью, что все сложится. И ее рука,

которой она, бегущая рядом, сжимала его руку, ее смех укрепляли эту уверенность.

Вопреки его опасениям, шкаф устойчиво поместился на тележке. Сгорбившись под ним, Сулик покатил прочь и не увидел, как она в последний раз посмотрела на окно лестничного пролета, от которого в этот момент отвернулся, выпустивший последнее облачко, монетный брюнет.

И вот Сулик, ставший за несколько лет куда меньшим идеалистом и теперь вступивший в права, уже не крался, а вальяжно шагал по коридору вовсе без всяких трусов, как шагают мужчины не безосновательно в себе уверенные.

В полумраке по-прежнему мерцал гранями избыточной резьбы буфет, старушка-соседка не показывалась, Эстер молча поворачивала ему вслед выкрашенный хной череп. Годы брали свое, и если ее слепые глаза оставались по-прежнему зоркими, то силы были уже не те.

Новая страсть разгорелась не на шутку. Ее брак в отличие от беременности оказался вполне реальным и потребовал расторжения, которое и было незамедлительно осуществлено. И вскоре в законном статусе в квартиру в кривом переулке заселился Сулик.

На свадьбе приехавшая накануне Катерина, с зачесанной назад сединой, в тесных, только купленных в ГУМе, туфлях, сидела прямо, ничего не пила, не ела и на следующий день укатила обратно.

Даже в Третьяковку не сходила.

А что ей с офицерской вдовой обсуждать — у той траурная подушечка вся в его орденах, а у нее от мужа только ложка деревянная лагерная.

Когда Сулик сообщил, что женится, она одобрила.

Когда узнала, что на полукровке, сказала, что он уже взрослый и вправе жениться хоть на кошке. Лишь бы по любви.

Самый ценный подарок новобрачным преподнесла соседка — померла.

Ревность ума молодой жены позволила оперативно подать заявление и скоро в квартире в кривом переулке отмечали вступление в права на третью, освободившуюся комнату.

\* \* \*

Эстер, в отличие от своей решительной и дальновидной библейской тезки, просуществовала жизнь без умысла и расчета, едва поспевая за эпохой.

Девочкой, когда бойцы одной из множества армий гражданской войны суетливо прикончили ее родителей, она спряталась в чан, в котором ее отец-сапожник варил деготь.

Во времена коллективизации в составе студенческих агитбригад призывала вступать в колхозы, желая земледельцам и животноводам лучшей жизни.

Никогда она столько не ела — селяне задабривали агитаторов, чуя, что все равно пропадет. Наутро студенты покидали населенные пункты и, оборачиваясь, она видела, как следом идут армейские отряды, чтобы окончательно закрепить обобществление имущества.

Слыши удаляющийся гвалт, она изо всех сил убеждала себя, что все правильно, что она сама бы отдала стране все.

И муку, и кур, и корову.

Если бы могла.

Но у нее ничего кроме светленького платьица не было.

Вскоре встретила на танцах молодого военного. Он ее в столовую пригласил, а кость потом ничейной собаке отдал. И она за него пошла.

Прилепилась.

Дочку произвела.

А он пошел вверх по освобожденной репрессиями карьерной лестнице.

Не разоблачал, в исполнение не приводил, просто с рабоче-крестьянским происхождением повезло и нервы крепкие.

Туркменистан, Халхин-Гол, в сентябре тридцать девятого оперативно встали на защиту интересов жителей восточной Польши.

Окрыленный доверчивостью сдавшихся поляков и легко доставшимся королевским городом, он однажды разомлел после ужина и сболтнул.

Мол, впереди такое — учебники истории позавидуют.

Еще годика два-три и мы рванем.

Ширину нового танка аккурат под европейские дороги подгадали. Гитлер-то дурак, дорог настроил. Недели не пройдет, как мы на Париж наши семидесятишестимиллиметровые наведем. Доставим мировую революцию в буржуйско-фашистское логово.

А когда понял, что лишнее брякнул, схватил ее за немного поношенное зеленое платье, которое сам подарил, когда сюда перевели, аж шов под мышкой треснул.

Попробуй только кому-нибудь.

Оба пойдем.

И она.

И в малышку спящую ткнул.

Никогда его таким не видела. Да и вообще за четыре последующих года два неполных дня его наблюдала, когда он после госпиталя к ней на Урал в отпуск явился.

Вначале ему, конечно, трудновато приходилось. Гитлер, может, и дурак, но мужа Эстер опередил. Через полтора месяца после вторжения немцы загнали остатки их части в болото.

Они держали какой-то пункт, пока боекомплекты не иссякли, потом он, старший по званию из выживших, принял решение.

А карт нет.

Вот и увязли.

Немцы орудия навели, а ответить нечем.

И тогда он выбрался из люка и неловко спрыгнул на мх.

Минувшей весной Эстер затащила его в театр во Львове, актеры громко кричали фразы, принимали позы и делали лица, и когда она в антракте спросила, как ему, он смущился, сказал, неулюто.

Она тогда посмеялась. Мол, завидуешь, что не ты на сцене, не тебе цветущие охапки бросают.

И вот пришел его черед оказаться в центре внимания — животные обитатели леса таращились из зарослей, три неполных экипажа и его механик глядели в спину, а фашистские оккупанты через смотровые прорези — в лоб.

Последние годы он каждый день ждал будущее, а за эти полтора месяца устал ждать. Он рванул будущее к себе, прижал, как тогда Эстер, и стал гнуть будущее под себя.

Он не щурил глаза, не закуривал и не сплевывал, как пристало перед подвигом. Он не хотел повышать голос, уже догадавшись, что война вроде того театра — большая пошлость, и тихо, одними губами, сказал «ура».

И загреб перчаткой, обернувшись.

Будто деток за собой звал.

Мол, покажу кое-чего.

Разминая комбинезонные ноги, он пошел в сторону дрожащих в дизельном мареве германских коробок. И подчиненные, которые сначала решили, что молодой трухнул и собрался руки в гору сделать, прониклись его абсурдным задором, повылезали из машин и пошли за ним — если уж умирать, то не от холодных пуль, а от теплых, пускай вражеских рук.

Немцы хотели сработать из пулеметов, но их командир приказал отставить.

Германского командира захватило. Несвойственный его народу авантюризм, любопытство, скуча, которая приходит неотвратимо, если половину лета вместо отпуска дырявишь спины варваров.

Он прятал от подчиненных карту страны, в которую они сунулись. Не хотел, чтобы они видели, сколь ничтожны стрелочки их победных маршей по сравнению с общими размерами тела, которым они пытаются овладеть. Он знал, у них уже появился страх, вызванный необытностью окружающего пространства. Он хотел вернуть подчиненным осознание жизни и смерти, и этот русский годился в подельники.

И этот подданный панцерваффе взял на себя риск, дал команду, и его люди нетерпеливо повыпрыгивали из родных и постылых железных чрев.

Муж Эстер быстро, не целясь, выпустил все пистолетные заряды, не оставив себе последний, и жал еще на спусковой, издавая губами «бдыщь-бдыщь». Через годы он увидел, как чужие дети, играя, делают точно так же, и очень удивился, откуда дети узнали.

Он бежал вперед, бурча под нос горячие, самые главные, какие знал, слова. Нецензурные названия женских и мужских половых органов. Нецензурные названия любовного соития и гуляющей женщины. Вспомнил смешное слово «куроушп», которым мать обзвывала бабников. Вспомнил и засмеялся.

Он упал и увидел галочки прошлогодней хвои, изогнутые, как ноги вихлястых танцоров. Увидел исчерченный линиями пальый лист. Где-то он уже видел такие линии. Вспомнил, как Эстер водила пальцем по его ладони, сулила счастье и свершения. Он развернул к себе ладонь, сличил с листом и вскочил на ноги.

В те первые месяцы он еще не научился убивать, действовал устрашающее, но неловко, хорохорился, но торопился скрыться, чтобы избавить и себя и противника от смерти.

Впрочем, один герой среди них нашелся. Застенчивый башнер. Он тогда подумал, что было бы здорово, если бы его увидела Зойка-соседка или даже сам товарищ главнокомандующий.

И башнер действовал с некоторым пижонством, будто позирия несуществующему художнику и продолжал мечтать даже после того, как неприятельское лезвие навсегда нарушило работу одного из его жизненно важных органов.

А муж Эстер и еще четверо сбежали, прорвались, скрылись.

Их не преследовали, победители осматривали трофейные механизмы, а командир, которому так и не удалось сцепиться с предводителем красных, сочинял рапорт.

Да и к чему гоняться за столь незначительной добычей? Не преследует же рыбак выскользнувшую из рук мелюзгу.

Не преследует, потому что знает, там, на дне, она не отлежится, не наберет вес, не отрастит клыки, чтобы потом выбраться на берег и разодранной его крючком пастью пожрать и его самого, и его семейство, и дом.

Предполагал ли азартный германец, что этот необычный спешившийся противник умрет на больничной койке спустя годы, а его собственный

панцерваген уже в ноябре остановит снаряд? Всего в десятке километров от едва бьющегося, но недосыпаемого сердца географической туси, которую он себе на погибель растормошил.

А по Европе муж Эстер все-таки прокатился. Париж повидать не пришлось, зато Германию рогом Первого Украинского фронта он хорошенъко боднул.

Поначалу он любил свою механическую мощь. Любил давить гусеницами, бабахать орудием, дробить пулеметом, добивать личным оружием. Любил разрушать, превращать человеческое обратно в природу. А ближе к занавесу, когда ему наперерез бежали дети с фаустпатронами, его, краснолицего, уже не пронимало. Разве что один полдень запомнился. Надо было остатки очередной дивизии с громким названием отсечь. Торопились очень, а впереди гора.

Красивые у них там виды — открытка.

А в горе туннель, битком набитый гражданскими.

И куда эти немцы перлись с чемоданами и патефонами?

Хоть бы тунNELи пошире строили, уж больно практические. Не стоять же из-за них.

А дивизия та потом сдалась разом. Организованная нация, капитуляцию подписали и никакой самодеятельности.

Потом хотелось, конечно, поговорить, обсудить.

А дома бабы одни, а во дворе ветераны, дружки шахматные, у которых у самих на дне такое, лучше не баламутить. И военный пенсионер бродил по дворам, собирая с помоек вполне пригодное добро, мебелишку, от которой тогда массово избавлялись жители выселяемых под снос домов.

Только однажды лишнюю рюмку себе позволил и про туннель начал при Эстер.

А она сказала, что вечно он за столом о всяких гадостях начинает, тарелки убрала и фигурное катание по центральному телевидению включила.

А больше он никому не рассказывал.

Даже сестре в больнице, где прицепленный к поплавку капельницы, доверчиво дожидался последнего призыва.

А Эстер жила, выдумав слепоту.

Насмотрелась, хватит.

Еще бы от звуков избавиться.

И память обнулить.

Не надо было тогда на деревни оборачиваться, да что уж теперь.

Смотри, слушай, запоминай и живи.

Со временем покойный супруг стал наносить ей визиты и она впервые за годы брака и вдовства вела с ним долгие разговоры, скрывая, впрочем, эти встречи от дочери и районного врача.

\* \* \*

Тем временем молодая семья делала первые шаги на извилистом пути совместной жизни.

Потомством обзаводиться не спешили.

Проявив усидчивость, талант и невесть откуда взявшуюся аппаратную ловкость, Сулик вступил в партию, защитил докторскую, был обласкан научными и профсоюзовыми руководителями. Поговаривали, что если не оступится, то со временем вполне может организацию возглавить.

Теперь уже не Сулик, а Сулейман Федорович обзавелся личным автомобилем, дубленкой, а изъятый у предшественника гардероб наполнился его импор-

тными вещицами. Кроме того у него имелся пускай короткий, но постоянно обновляемый список любовниц.

Успехи кружили голову и он бесстрашно знакомился в столовых, кафе-риях и даже на международных конференциях.

Тут супруга и забеременела.

На третьем месяце процесс, однако, прервался.

Она настояла и в поликлинику явились вместе.

Доктор спросил проabortы.

Не дрогнув своим туманным персидским глазом, благоверная Сулеймана Федоровича назвала круглую цифру двадцать.

Доктор постучал по столу самопищущей ручкой, закрыл медицинскую карту пациентки и посоветовал не оставлять попыток.

Сулейман Федорович понял, что не знает о своей жене ничего.

Знает имя, тело, с биографией вроде знаком. Характер ее был ему известен и в целом предсказуем, но эти двадцать abortов перечеркнули все.

Весь его собственно нажитый и полученный в приданое наложенный быт с машиной, дубленкой, масляной живописью на стенах, буфетом в коридоре, и Эстер в комнате осыпался от одного только слова «двадцать».

«Это всё до меня? Или уже при мне? Или при мне только десять? Она что, мне изменяла»?! — удивился Сулейман.

Осознание жениной неверности ударило так же ярко, ослепило на миг, как когда-то ослепил блеск германского зуба, как блеск жести на углу барака.

И все в Сулеймане прекратилось.

Обеденный перерыв, которым они оба воспользовались для визита к врачу, закончился.

Она вернулась на службу, он пошел домой.

Пройдя мимо двери тещи, за которой та, как обычно, вела разговор с невидимым собеседником, Сулейман взялся за дело.

Все у нее подсчитано.

Сколько, с кем.

Наверняка письма хранит, записочки.

А чего он хотел? Будто не ясно было, с кем связывается.

Сначала он вынимал и складывал аккуратно, потом принялся бросать как попало.

Духи, блузки, чулки кружевные, лифчик розовый игривый с прозрачными чашечками.

Так это он сам ей и купил по случаю.

Разворочив шкафы, рассыпав на кухне крупу, скинув с полок книги, разбушевавшийся Сулейман ничего бросающего тень не обнаружил. Только Эстер напугал — она, приняв происходящее за давний обыск, погубивший родителей, принялась издавать истощные звуки.

Когда ключ жены повернулся в замке, муж сидел на полу, обхватив голову руками, не зная, куда деться от воя старухи.

— Что здесь происходит? — поинтересовалась вошедшая голосом психиатра.

— С кем? — спросил Сулейман, непоправимо страдая от ее подлинного, выдержанного в бочке семи лет семейной жизни, спокойствия и собственного, бултыхающегося внутри, бешенства.

Один с работы.

На вечере у Ларисы с ее знакомым.

Игорь из твоей лаборатории.

В санатории с двумя военными...

Она охотно загибала перчаточные фаланги, заведя по-детски глаза к потолку. Коричневая кожа тихонько похрустывала.

— А ребенка я сама убрала. Чтобы тебя не обманывать. Чтобы ты чужого не растил.

В ее недрогнувшем голосе, в спокойствии не было гнева, мстительности, истерики, от нее исходило пережитое, продуманное и это Сулеймана изничтожало.

— Ты, сука! — крикнул он патетически, осознавая нелепость и своих слов, и своей злобы, и всего себя целиком.

Она стянула перчатки, похлопала ими о ладонь и сказала, что сама наведет порядок, а он пусть котлеты ставит — ужинать пора.

И пока Сулейман, погрузившись в полу забытье, переворачивал то и дело подгорающие мясные комки... Пока хрустел тапками по рассыпанной гречке... Пока она собирала с паркета шерсть, шелк и крепдешин... С ним случилось не озарение, нет, но что-то на него снизошло.

Что часто снисходит на людей, ищущих и живых, когда возраст катится к сорока.

Сулейман Федорович понял — он неправильно живет жизнь.

На следующий день это не покинуло Сулеймана Федоровича, а, напротив, окрепло.

Он стал молчалив, любовниц забросил, на работе сделался рассеян, разноцветные провода и научные достижения больше не тешили его.

Он увидел всю беспорядочную карьерно-стяжательную суету, в которую сам себя вверг, и зрелище это его поразило.

Вскоре, продвигаясь по маршруту работа-дом, он остановился у церкви.

Запах лекарств, прохлада и пустота.

Ступая под разрисованными сводами, от свечницы до солеи и обратно, он что-то припоминал и бубнил сам себе.

Хаотично мечущиеся в голове мысли образовали отчетливый узор. Он решил произвести генеральную уборку, расставить все по местам, а в помощники призвал Бога — в отдаленном от центрального района храме Сулейман Федорович принял крещение и обрел имя в честь святителя Василия Кесарийского.

Факт крещения, осуществленного согласно закону по предъявлении паспорта, в скором времени стал известен в первом отделе.

Одно дело здоровый карьеризм и краткосрочные романчики, другое — православный господь.

Заодно и папаша-предатель с анкетного дна всплыл.

И новый христианин подвергся гонениям — его исключили из партии, а затем уволили. Впрочем, именно за такую последовательность этих двух карательных мер никто не поручится. Может, сначала уволили, а потом исключили. А вернее, что одновременно.

Могли бы, кстати, заодно и с очереди на квартиру снять, если бы Сулейман Федорович в таковой состоял.

Тогда он открылся жене.

Не из страха перед неясными перспективами дальнейшей жизни и заработка, хотя и поэтому тоже, а ради возможной для них двоих новой духовной жизни.

Жена, с которой жили рядом, но как бы на бесконечно далеком расстоянии, бок о бок, но избегая прикосновений, даже не очень удивилась. Будучи

внимательным наблюдателем, она давно заметила в муже накопление критической массы и выбор его приняла. Да и вообще, она за него в свое время пошла не потому, что шкаф помог приволочь, а потому что предчувствовала — с этим не соскучишься, что-нибудь да выкинет. А еще потому что хрен здоровый.

Преображеный Сулейман принял подрабатывать: подвозил поздних гуляк, ремонтировал радиоаппаратуру, мог и позолотить, если надо, любой предмет, хоть ложку, хоть браслетик.

Соорудив дома простое устройство, он путем электролиза вполне удовлетворял частные потребности в позолоте.

Жили этим и ее зарплатой, которая, впрочем, скоро прекратилась — жена последовала примеру мужа, приняла крещение и лишилась места.

Освободившееся время она теперь уделяла престарелой матери и домашнему уюту.

Строго соблюдала посты, в чем контролировала и Сулеймана-Василия.

Склонный к хаотичному разговорению, он вполне мог налопаться «докторской» прямо перед сочельником.

\* \* \*

В одиночестве новообращенная пара не осталась — многие тогда начинали почитывать Евангелие, похаживать в церковь и помаливаться богу. Тайные кружки обеспечивали досуг. На собраниях читали вслух Писание, смотрели слайды из жизни Спасителя, пели псалмы и обменивались фотографиями семьи последнего императора. В те бедные глянцевыми фотосессиями времена эти благообразные лица вызывали светлое умиление.

Обретенная вера не мешала супругам продолжать попытки, одна из которых завершилась зачатием. Будущей матери шел пятый десяток.

Доктора констатировали благополучное вынашивание, но роды обещали нервные — возраст, а кроме того двойня.

Прогнозы сбылись — во время схваток акушер сообщил покрытой испариной, хрипящей проклятия и молитвы роженице, что обоих спасти не удастся и предложил выбрать.

Видимо, он испытывал несвойственное волнение и не подумал о нереализуемости своего предложения и некотором даже издевательском его тоне.

Хапая воздух ртом, она передала право выбора ему и он оставил девочку, хотя вторая тоже была девочкой, но она ему не приглянулась, впрочем, он и не взглядался.

Вернувшись со смены рано утром, акушер выпил не обычную свою рюмку, а все оставшиеся в бутылке полтора граненых, и сын, поднявшийся в школу, его застукал. В конечном счете, он никого не выбирал, просто пуповины перепутались и сестренка задушила сестренку, а он только извлек трехкилограммовую победительницу утробного противостояния.

Назвали Верой.

После родов мать прежнюю форму так и не обрела.

Не телом, но душой.

С телом все было в порядке, а вот непрошибаемый, казалось, рассудок пощатнулся.

Она винила новорожденную в гибели сестрички, не брала на руки, отказывалась даже видеть, не то что давать прикладываться к одной из своих прелестных грудей.

В роддоме Вера питалась родовитой таджичкой с неправильным положени-

ем плода, которую муж привез рожать под присмотром центровых врачей, чья беременность в итоге разрешилась благополучно.

Та молоком исходила и с радостью сцеживала излишки в орущую Верину глотку.

Жена Сулаймана-Василия была твердо уверена — перед ней маленькая убийца, лишившая ее дочери, которая, наверняка была бы красивее, ласковее, умнее. Как только ни пытался молодой отец убедить ее в несостоятельности претензий, каких только евангельских притч ни приводил.

После нескольких лет нервной жизни Сулайман-Василий не придумал ничего лучше, чем предпринять еще одну попытку.

Новый ребенок должен был избавить жену от душевных страданий, а дочь от несправедливых нападок.

Поистине животная, от праматери Сары доставшаяся фертильность, позволила слабо сопротивляющейся супруге зачать года за четыре до полувекового юбилея.

Вере уже исполнилось пять и появление у мамы живота волновало.

Мама перестала терзать нападками и неприязнью.

Мама как бы заснула.

Однажды живот совсем вырос, мама ахнула и сосредоточилась.

А папа забегал.

И стал звонить по телефону.

Потом они уехали, попросив соседку присмотреть за Эстер и Верой.

В ту ночь Вера спала урывками. Задремывала и просыпалась от непривычной духоты.

Отец вернулся рано, Вера вскочила с кровати и выбежала в коридор. Отец был какой-то новый, с размазанным лицом. Выглядел он так, будто на него взвалили рояль. В прошлом году на третий этаж привезли старый «беккер», Вера видела, как мужики на лестнице корячились.

Соседка поинтересовалась, хотя и без всяких вопросов было ясно.

Мама отсутствовала до воскресенья, а когда вернулась, лицо ее тоже было размазанное, а живот пропал.

Подружка в детском саду стала расспрашивать.

Вера сказала, что все хорошо.

Как назвали?

Верочки.

Так не бывает.

Бывает.

Подружка наядебничала воспитательнице. Вера врет.

Вера продолжала настаивать, что новорожденную зовут так же, как и ее саму, и от нее отстали.

Воспитательница не видела причин сомневаться в словах девочки. Кто их знает, этих религиозных. Вера сама поверила в сестру, переименовала в ее честь куклу.

Детсад располагался во дворе, Вера ходила туда одна. Недели через две, вечером, после смены, когда она, зашнуровав ботиночки, надела пальтишко и поздоровавшись с умиленными ее самостоятельностью чужими взрослыми, потянула дверь, та вдруг сильно подалась на нее, обнаружив за собой мать, неожиданно решившую встретить дочурку.

Вера хотела было поскорее мать увести, но воспитательница прицепилась с доброжелательными назойливыми расспросами.

Что да как. Поздравляю. Как самочувствие маленькой?

Не поняв сначала и осознав, наконец, суть подлога, мать принялась хлестать Веру по лицу теми самыми перчатками. Поволокла ревущую дочь за собой, толкнула дорогой в сугроб и предъявила дома едва живой.

Сулейман-Василий выслушал бессвязные вопли супруги, заглушаемые ревом дочери, и попытался успокоить обеих валерьянкой и словами о прощении и милосердии.

Вскоре пришлось прибегнуть к регулярному подмешиванию в еду и напитки жены сильного успокоительного, выписанного знакомым врачом из числа тайных христиан.

\* \* \*

Вопреки седативному действию препарата те сонные черно-белые времена проходили для Веры нервно.

Если раньше мать винила ее в смерти, едва ли не в убийстве сестры, то теперь вся ее апатия и тоска переработалась в невиданную злобу. Вера оказалась не только убийцей, но и больной, неуравновешенной, требующей лечения, мерзавкой и лгуньей.

Осенью, когда она вернулась из Ягодки, где проводила лето под присмотром состарившейся Катерины, матери втемяшилось, что дочь выбелила волосы. Сколько бы та ни уверяла, что кудряшки выгорели на солнце, мать не унималась.

Разразился скандал, в котором невольно принял участие и Сулейман-Василий.

Как любой, по природе спокойный, выдержаный мужчина, он неожиданно проявил себя сумбурным разрушителем — схватил Веру за косички, и под назидательное одобрение вконец обезумевшей супруги откромсал под корень.

О своих действиях он тотчас пожалел и вспоминал позже с отвращением. А Вера с того дня стала очень бояться отцовского гнева и вместе с тем, сама того не понимая, нуждалась в нем. Впервые ей явился Бог — беспощадный, иррациональный, настоящий.

Несколько последующих годов, под предлогом спасения малышки от пагубного украшательства самой себя, а заодно предупреждая опасность завшиветь, мать перед наступлением лета остригала Веру под ежика.

А волосы продавала на парики.

В такие дни приходила краснощекая жирная баба, сгребала пряди в мешочек и приговаривала:

— Хорошие волосы.

Волосы и в самом деле были хороши, обладали цветом перезревших зерновых, подернутых дымом осенних костров. У матери такие же были, но с первыми родами потемнели. Забрала Вера у матери цвет.

В редкие моменты пробуждения инстинкта мать укладывала Веру спать, рассказывая сказки.

Они имели сюжет весьма произвольный, но обладали одной неотъемлемой деталью — за стенами проложены тайные ходы и целые комнаты, в которых прячутся соглядатаи, которые и днем и ночью блудят, дурное пресекают, а за добродорядочных граждан вступаются.

В вопросах веры мать проявляла поистине иудейский фанатизм. Октябрятский значок, знак сатаны, носить запрещала. Вступить в детскую организацию

дочери не позволила, но Вера, скопив копеечки, купила себе звездочку и тайно надевала, снося насмешки одноклассников.

Звезду с вьетнамской целебной мази, приобретшей в те годы большую популярность, мать тоже не терпела и сокребала, хоть та была и желтой. Крестообразную решетку слива в ванной выпилила, точнее заставила мужа выпилить. Чтобы мыльная вода не оскверняла крест.

Сулейман-Василий, напротив, отличался мягкостью нрава и к маниакальному следованию догмам склонен не был. Если Вера уставала стоять службу, вел ее гулять, благо никто не препятствовал — супруга, ссылаясь на духоту, богослужения посещала редко. Это не мешало ей требовать отказа от празднования Нового года. К счастью, удалось найти компромисс — елку ставили к Рождеству, заполучая совершенно бесплатно. Сразу после первого числа Сулейман-Василий с Верой обходили ближайшие помойки, куда самые торопливые отпраздновавшие выносили попользованных, но все еще пригодных, лесных красавиц.

В их церковь тогда часто вторгалась обмотанная многими слоями, вонючая баба, которая громко пророчествовала, сулила неурожай, мор, болезни. Ее не трогали, вдруг святая. Вера боялась кликушу, ее воя, вони, а особенно лица, которого ни разу не видела.

Несмотря на столь экстравагантную окружающую атмосферу, Вера росла девочкой бойкой и любознательной. Маленькой любила вскочить на какого-нибудь дядю и требовать катания. Воцерковленные университетские умники, члены художественных союзов, докладчики и священники из далеких уголов империи, немногочисленные, сбившиеся в кучу подпольные верующие того времени, воссоединяющиеся на тайных собраниях, не отказывали Вере. Они напяливали ее на свои жирные и тощие шеи и послушно скакали, предусмотрительно огибая люстры, чтобы не снести плафоном прелестную белобрысую головку.

Эта белобрысость пленила и подкупала. Чернавок вокруг хватало, а вот деток-ангелков становилось все меньше. Саму же Веру тянуло к противоположностям. Негры с головами-одуванами, бровастые грузины, высывающие носы из-за плодовоощных рыночных груд. Эти обязательно преподносили фруктик и мать, хоть со странностями, всегда брала дочку на рынок, что позволяло отовариться почти не раскрывая кошелька.

Вера картавила.

Как тебя зовут?

Велочка.

Долго и безуспешно водили к логопеду.

«Л-л-л-л, л-л-л-л», — рычала Вера.

С тех пор во всем русском языке больше всего слов она знала из тех, что содержат рык.

Когда специалист уже готов был махнуть рукой, Вера, обнаружившая в ходе занятий недетское вовсе упорство, вдруг издала громовое рычание.

Логопед, задремавший было, очнулся и потребовал повторить.

И Вера в самое его дипломированное лицо зарычала и еще долго рычала на все лады, пока не вышло положенное время.

Логопед так рад был этой, нежданной уже, победе, что позволил себе впервые за тридцать с лишним лет практики, шалость — подговорил ребенка не рассказывать сразу маме, а вечером устроить обоим родителям сюрприз, произнеся громко за столом:

— Сюрприз!

Вера, однако, за ужином тайну не раскрыла. Дождавшись, когда родители заснут, пробралась мимо видавшего виды буфета в их комнату, прислушалась к дыханию и громко завопила: «Сюр-р-р-пл-л-л-из!»

Супруги вскочили в ужасе и, узнав, что ничего особенного не случилось, кроме того что восемнадцатая буква алфавита наконец покорена, успокоились и даже не очень удивились, чем немного Веру разочаровали.

Она еще долго не могла уснуть, слыша доносящуюся через стенку смутную возню, которую старики на радостях затеяли. Сюрприз взбудоражил инстинкты и только комочек, нашупанный мужем на левой груди жены, омрачил ночь.

Вскоре подтвердилось, что неуемная в чувствах дочь Эстер и танкиста смертна. И года не прошло, как ее похоронили, причем только с одной, а именно с правой, из двух вызывавших некогда многочисленные восторги, округлостей.

\* \* \*

Бойкие особы под предлогом помочи по хозяйству стали стремиться в дом овдовевшего Сулеймана-Василия. Помогали с Эстер, подлизывались к Вере.

Он поползновения распознавал и пресекал. Мягко, но безоговорочно. Ссыпался на неостывшее тело жены и ее светлую память, которая с каждой новой претенденткой делалась светлее.

Насытившись семейной жизнью вдоволь, он решил посвятить себя дочери и духовному росту.

Замершее благополучие эпохи проломилось под колесом времени, которое быстро прокрутило двух престарелых правителей и стало вертеться все быстрее, перемалывая отдельных людей и целые народы, разрушая государства и планы на отдых.

Устои расшатались и многие, весьма крамольные еще недавно вещи, сделались повседневными и даже рутинными.

Сулейман-Василий помогал в нескольких церквях по хозяйству, а в одной четырехглавой, запутавшейся в узоре китайгородских переулков, даже прислуживал алтарником.

На добровольной основе он распространял литературу, проявив себя талантливым агитатором. Многие потухшие атеистические сердца запылали жаром веры. А скольких инородцев обратил, скольких сынов Авраама и Якова, скольких дочерей Юдифи, кроме своей зарегистрированной, на истинный путь направил, отвлек от дезертирства на землю далеких предков. Сколькие, которые во тьме могли бы плутать, через него к вере пришли. Для скольких душ его трудами врата небесные разверзлись.

Он стал чаще бывать в Ягодке.

Катерина усохла, изба просела, как остывший пирог.

Он ходил по местности, здороваясь с редкими старухами, чьи потомки разъехались по крупным и комфортным населенным пунктам и даже в отпуск не являлись.

В годы застойных социалистических времен в Ягодке затеяли возводить ферму для крупного рогатого. Колокольню приспособили под водокачку и теперь она целилась в небеса дулом надстроенного бетонного цилиндра.

Финансирование сначала сделалось пунктирным, а затем прекратилось вовсе. Строительство бросили, ангары для буренок так и остались незаселенными, а водокачку успели запустить и на огородах появилась невиданная вещь —

шланги для полива. Провести водопровод прямо в избу никто не решался, одна только Катерина потребовала. Ее подвергли общественному осуждению за попрание устоев, но скоро появились смельчаки, последовавшие ее примеру и струйки, полившиеся из кранов, смыли старину.

Мотор тянул исправно, но трубы уже нуждались в ремонте. Колокольня вся сочилась. Летом окружала себя болотцем, зимой — ледяными буграми.

Кладбище расширилось, переманив многих, кто не успел съехать в город. Последнее пополнение оно получило за счет двух местных срочников, вернувшихся из Афганистана в герметично запаянных пеналах.

Вместо сестренки Раечки и папаши торчал сварной голубой крестик. На месте ямы, куда свалили партизан — железяка со звездочкой. Германские похоронные следы стерлись и не определялись даже внимательным взглядом опытного аборигена. Один точеный каменный ферзь, поставленный в тысяча восемьсот сорок восьмом году на грудь строителю церкви, надворному советнику, стоял незыблально.

Сулейман-Василий подолгу находился в церкви, которая стала совсем как выброшенный на берег, выеденный чайками, кит.

Остов и оконные дыры.

Замазанные, проглядывающие из-под облезающих слоев, скорее дорисованные воображением, чем существующие взаправду, фрагменты евангельских черт проступали на сводах. Апостол Матфей пророс угнездившимся на крыше деревцем, мочалки корней свисали из его рта и носогубных складок. В цветастом, старинной плиткой выложенном полу зияли пробоины — результаты кладоискательства. В углах чернели следы костров. Стены покрывали любовно-оскорбительные надписи. Ласточки рассекали кубометры пространства, ныряя в окна и прорехи. Клочковатая собака с мордой, точно в чернила окунутой, с похотливой настойчивостью терлась о ногу.

После самой страшной войны церковь некоторое время стояла заброшенной, потом в ней обустроили клуб и даже показывали кино, но дело самой собой заглохло, кто-то однажды сорвал замок и с тех пор культовое сооружение служило пристанищем ночным гулякам. Сулейману-Василию не было обидно за оскверненный храм. Он даже радовался за молодежь, осуществляющую свидания в романтических руинах. Но стремление к порядку не давало покоя.

Кроме того он испытывал перед Ягодкой что-то вроде вины, которую порой испытывают думающие русские горожане перед всей остальной необустроенной Россией. У него вон горячая вода и поликлиника под боком, а здесь дома гниют, жители разъехались, церковь доживает. Он ощутил прилив сил и тягу к пусть умеренному, но самопожертвованию.

Испросив разрешение у задобренного единоразовым взносом главы сельсовета, выбив благословение епархии, Сулейман-Василий купил у военкома списанный «козлик» и стал раскатывать по окрестностям.

Призывал к пожертвованиям немногих местных кооператоров, ларечников, редких фермеров, сельских ракетиров и чиновников.

Чтобы воздействовать на несимпатичных с виду, но почти наверняка прекрасных где-то глубоко внутри деловых людей, Сулейман-Василий возил с собой дочь.

Вера была очень хороша в своей юности. Она быстро вымахала, в классе считалась дылдой, взрослые заглядывались на ее ноги. Возвышенное сочеталось в ней с натуральным, кудри, которые теперь некому было обкорнать, лежали пышным стогом, а глаза были вовсе особенными. Очертаниями матушкины —

ближневосточные, а цветом то серебряные, как ивовая листва, то черные, как гладь с кувшинками, и догадаться, что там бродит, совершенно невозможно.

Пожертвования потекли мелеющим, звякающим мелкими монетками, ручейком. Новые купцы, даже те, которые долго потом покачивали головами и причмокивали, вспоминая дочку реставратора, щедростью не отличались. Рассставались с наличными неохотно, не упуская случая поучить просителя жизни. Шутили, как бы он их грошики не подтырил и проявляли неприятную хамоватость, свойственную совершившим благое дело.

Дети сторонились, бабы шептались, две старухи, которые все прочее время спорили, которая была лучшей дояркой, жевали вслед:

— Полицая сын. Сулик. Неймется ему.

Единственный мужик, бывший председатель Брыкин, когда-то прославивший Ягодку появлением своего портрета в районной газете на полосе пьяниц, увидев Сулеймана-Василия с лопатой, посоветовал копать глубже. Говорят, где-то тут барин зарыл клад.

Сулейман-Василий скоро ощутил себя очередным оккупантом — вроде сопротивления особого не встречаешь, но и поддержки никакой, одно бездурожье, воровство и тугодумие.

И он стал выносить из дома вещи.

Точнее говоря, продал две чрезвычайно темные картины, вывезенные еще танкистом из Лейпцига в качестве reparations.

Разглядеть на них все равно ничего было невозможно. Танкист потому и взял — с одной стороны живопись, с другой — что нарисовано непонятно и глаз не устает.

В свое время Эстер эти картины берегла. Одну в их с мужем комнате повесила, а две другие у дочери по сторонам пустого книжного шкафа, который скоро заполнили наштампованными в те годы томами. Вера, когда склонность к чтению ощущала и полезла в шкаф, с удивлением обнаружила, что страницы с типографских времен не разрезаны. Никто книг прежде не касался и они распахивались, хрустя и распространяя надрывный аромат типографского клея и передержанной прелести. Книги были стары и нетронуты, как бутоны нераспустившихся цветов, которые давным-давно забыли полить. Вера помыла руки с мылом и больше шкаф не открывала.

Одно из трех живописных полотен, висевшее по левую сторону книжного гарема, потерялось из виду давно. Это было самое светлое произведение из трех. Степень его светлоты была такова, что внимательный осмотр при включенной люстре позволял угадать в пятнах и очертаниях коленопреклоненного монаха, видимо святого, воздающего молитву кому-то, расположенному в правом верхнем углу, как будто на дереве.

Впрочем, наличие дерева ни раньше, ни тем более теперь, когда рассмотреть картину уже нет никакой возможности, подтвердить нельзя. Что бы ни поддерживало того, кто находился в правом верхнем углу, это был святой явно поважнее монаха. Может, даже женщина. Возможно, сама Мария, которую вознесла на ветви сила Святого Духа.

Много лет назад, когда овдовевшая Эстер впервые объявила, что плохо видит и просит еду в постель, дочь уважила и принялась ухаживать, однако, заметив вскоре, что кроме просмотров по телевизору фигурного катания мать еще и кроссворды разгадывает, заботу прекратила.

Вымыщенную же слепоту дочь решила монетизировать — стала таскать из квартиры ценные предметы.

Путь в комиссионку проторила сломанная лампа в виде неудобно изогнувшейся девушки, а вскоре исчезла и картина с коленопреклоненным монахом и таинственной особой в кроне.

Пропажу Эстер отметила скандалом. Сначала она подумала на соседку-доходягу, потом на сантехника, а потом все поняла.

Требовала вернуть, грозила участковым. Когда, немного остынув, спросила на что дочери такие деньги, она была уверена, что за картину и лампу можно выручить тысячи, что, кстати, оказалось сущей правдой, ответ поразил простотой.

— На мужиков, — отрезала юная красавица. — На Ялту, на шампанское и на хороших мужиков.

Другая бы устраивала так, чтобы за нее платили, но этой была свойственна самостоятельность и даже некоторая склонность к меценатству.

Не испытывая угрозений, будущая мать Веры отправилась спускать вырученное, купив заодно для мамы валерьянки и «Наполеон».

С тех пор вдова в дела квартирной собственности не вмешивалась. Наследница же, несмотря на свою дерзость и прыть, обороты сбивала и больше собственный дом не расхищала.

Теперь Сулейман-Василий после долгих размышлений испросил разрешения у Эстер. Она в момент его вопроса беседовала с комодом, но зять был педант. Впрочем, она не протестовала.

Он обсудил с Верой, та кивнула, не отрываясь от телефонного разговора с подружкой.

И он отнес два сохранившихся холста антиквару.

Перекупщик долго всматривался в живописный мрак, за последние годы только стущившийся. Сулейману даже показалось, что холсты приняли в себя грехи всех своих владельцев.

Пожевав бороду, антиквар выложил довольно приличную сумму, сам до конца не понимая, зачем ему это без всяких сомнений подлинное, но совершенно бессмысленное приобретение.

Вырученного должно было хватить на крышу, закладку проломов и застекление окон. Накупив материалов, Сулейман-Василий взялся за дело. Своим порывом он собирался заразить дремлющих до поры подвижников, в первую очередь Брыкина.

То было счастливое время, летом вся семья: мать, теща и дочь жили в его родной избе. Сулейман-Василий мечтал, что однажды наступит день и он навсегда вернется в Ягодку. Очистит и нарядит церковь, подышет ей батюшку, как жениха для дочери подыскивают, и тот станет приобщать доживающих старух и Брыкина, а через них наезжающих родственников. И так вся Россия, деревня за деревней, церковь за церковью.

Вера испытывала другое. Томимая подростковыми переживаниями она бродила среди трав и стволов. Катерина, привыкшая к одиночеству и не особо жаловавшая гостей, занималась огородом, а Эстер подолгу лежала на кровати, тяжело вздыхала и громко пукала. К тому времени она окончательно переселилась во внутренний мир, Веру и зятя принимала то за мужа и дочь, то еще за кого-то, им неизвестного, времена и люди смешались и одно лишь не изменило ей — зрение.

Именно благодаря зれнию она, не бравшая в жизни чужого, обкрадываемая собственной дочерью, а по ее следам, пусть в благих целях, еще и зятем, совершила воровство — похитила первый созревший помидор.

Урожай был хороший, ветки прогибались под весом плодов, но первый, набирающий цвет помидор волновал особенно.

Вера, Катерина и даже Сулейман-Василий каждое утро проводили парник, где любовались наливающимися красными боками и каково же было удивление этих терпеливых созерцателей, когда в одно прекрасное утро помидор исчез.

Чуть в стороне смотрела вдаль дожевывающая Эстер.

\* \* \*

Зимой, в один из дней вскоре после Сретения Сулейман-Василий получил телеграмму, известившую о Катерининой кончине.

Никаких свойственных горожанам параличей, продолжительных, требующих госпитализации и сложных процедур, недугов. Умерла по-деревенски: вымыла полы, сходила в баню, оделась в чистое, легла и до свидания.

Два дня дым из трубы не валил, соседка заметила, удостоверилась и Сулеймана известила.

Непоэтичное дело зимние похороны. Никаких поросших ватильками пригорков и пения птах. Топчешься на краю земляной дыры, смотришь на срез — плодородный слой, осколки, пучки корней, красная глина, утираешь помороженный нос и думаешь, как бы не поскользнуться на утоптанном снегу и вслед за покойником не сверзиться. Русская зимняя природа не оставляет места для фантазий. Вот она яма и вот, собственно, все.

Не пожелавшая отставать Эстер вскоре последовала за родственницей. Склонный к обобщениям мыслитель сказал бы, что уходит поколение.

Летом Сулейман-Василий продолжил работы в церкви, в которых поартавшись, постоянно сквернословя и поминая свой атеизм, согласился участвовать за плату и Брыкин. Вера была рядом.

По причине каникул в Ягодке собралась молодежь. Девки и парни слонялись по бывшей Кайзер-штрассе, нынешней Ленина, от поля до церкви и обратно. Шаркали большими, не по размеру, сапогами, роняя семечковую шелуху и опустошенную винную тару, накинув на плечи телогрейки, которые в те годы не только в городах-миллионниках, но и в сельской местности сделались символом нонконформизма и раскрепощенности.

Несколько раз Вера встречалась глазами с видным пацаном Мишкой, когда тот подволакивал мимо нее свои кирзачи. Мишкино лицо не носило следов низких душевных свойств, как у многих, и одновременно черт вымороченных, свойственных городскому молодняку. Он был похож на пластмассовый манекен из витрины спортивного магазина. На него заглядывались, он гулял с Танькой, но в последнее время связь их шла на убыль.

В ту пору Вера увлеклась изобразительным искусством и, оказавшись в Ягодке, бродила по окрестностям с ящиком, набитым красками. Леса, поля и дали представляли перед ней во всей красе и она запечатлевала их со страстью. Местные кружили поблизости, но заглянуть бесцеремонно и начать обсуждать похоже или не похоже, не решались.

Однажды, возвращаясь с пленэра, Вера столкнулась со стайкой пацанов. Она поглядела на них своими, в оторочке рыжих ресниц глазами и у парней дыхание прервалось совершенно, и девахи их привычные разом забылись. И если бы Вера еще им внимание уделила, то девахи бы и вовсе выветрились и

навсегда остались бы без тычков, плевков и мимолетных, со стянутыми трениками, перепихонов.

— Нарисовала чего? — громковато спросил Мишка, когда она уже прошла мимо.

— Нарисовала.

Мишка, конечно, трусил, как все трусят, но не все свой страх выказывают, отчего может показаться, что есть в этом деле смельчаки.

Вера стащила с плеча лямку, откинула крышку этюдника и осторожно, пальцами за края, чтобы не размазать свежую лоснящуюся живопись, достала из зажимов картонку с небом, избами, раздвинутыми циркулями телеграфных столбов и церковью.

— И охота мазокать, — высказался который собирался в десант.

— Тебя не спросила, — ответила Вера.

— Бабкин дом! Могла бы и покрасивее, — заметил который откосил по почкам.

— Пальцем не тычь, не высохло.

Добавить было нечего и Мишка решился — спросил может ли она его, так, чтоб похоже. И схватил зачем-то за локоть.

Уже несколько дней, проходя мимо пацанов, по замирающему хрусту семечек, по сочным плевкам, Вера понимала — со дня на день случится. Теперь он сжимал ее локоть и она потеряла концентрацию, как боксер в нокдауне. Ей даже показалось, что она стала оплывать свечой и сейчас совсем стечет на землю к его стоптанным кирзачам.

Осадок заката стремительно растворялся в черно-голубом небе с розоватыми хлопьями кучевых и перистых. Она ответила: «Могу» и не рухнула, когда Мишка разжал хватку.

Она собрала этюдник и пошла не на своих ногах к избе, где ее ждал отец, погруженный в радость своей миссии, не заметивший случившейся в дочери перемены.

С того дня Мишка сопровождал Вера по окрестностям и катал на мотоцикле, собранном им самим из разрозненных деталей. Поездки сопровождались лаем кудлатого бобика, преследовавшего Мишкину тарахтелку.

Она рассказывала ему о художниках, даже подсунула книжку сrepidукциями Лотрека, справедливо полагая, что наивернейший путь мужчины к живописи идет через уличных девиц.

От образования Мишка отказался, сказав, что он для этого слишком энергичный, на месте сидеть не может, лучше поотжимается, или на мотике погоняет, или вон ее, Верку, вдоль всей улицы на руках туда-обратно десять раз бегом.

Когда они задерживались допоздна, Мишка, чтобы не шуметь, провожал Вера до задней калитки и они подолгу прощались, разговаривая через сетку и железные соты тяжелели их чувствами.

Вера боялась отца, но тот был слишком увлечен церковным зданием. Он вообще Вера не донимал, только однажды, еще весной, наткнувшись в грязном белье на трусы с малюсеньким, но сразу бросившимся в глаза пятнышком, взбеленился вдруг. Как она смеет разбрасываться грязными трусами и почему он должен видеть эту мерзость. Из него хлестало, как из пробитой трубы и он не замолк, пока последнее хриплое «да как ты смеешь» не вытекло изо рта.

Ее взросление он тогда посчитал предательством, понимал, что глупо, но ничего поделать с собой не мог. Вспоминал, как обнимала его, называла

папочкой, уверяла, что они всегда будут вместе, что она от него никуда и никто им больше не нужен. Только она и папочка. Знал, что будет иначе, но не спорил и ничего ей не запрещал, мальчиков не отваживал, и только крохотное пятнышко, ему не предназначавшееся, ненароком подсмотренное, его взорвало.

Тогда Вера впервые сбежала. На электричках покатила в сторону Ягодки, засветло не успела, заночевала в подъезде у вокзала, продрогла, едва увернулась от по-вратарски растопыревшего руки пьянчуги, и на следующий день предстала перед измученным раскаянием и тревогой отцом. Но то случилось раньше, ничего подобного он себе больше не позволял, предоставляя дочери свободу, которую она порой принимала за его к ней безразличие.

Портрет уже успел просохнуть и украшал Мишкину комнату. Бабка ворчала про баловство, но он поставил портрет на самое видное место, на старый телек на тонких ножках, и не без самодовольства собственное изображение рассматривал. Победа близилась.

Однажды поздним вечером, когда все одушевленные, убаюканные ужином и самогонкой, уснули, Вера и Мишка привычно сидели на поваленной иве возле пруда. Вера задрала голову и увидела, как далекий самолет белым стежком скрепляет облачную прореху, из которой бесстыдно светит зафутболенная на самую верхотуру луна.

Когда шли мимо церкви, Мишка предложил внутрь и завалился на Веру, поцелуем преградив путь к сопротивлению.

Он втолкнул ее под своды и опрокинул на пол. И стал хватать вожделенные части ее тела. Принялся стаскивать и пробрался.

В ее ноздрях мелькнул запах гнили, лунный свет выявлял на облупленных стенах человечков с золотыми кругами вокруг голов. Точно такой круг ей когда-то сделали к Новому году в детском саду.

Желтый, картонный, был обширен мишурой.

Крепился резинкой к подбородку.

Неприятные ощущения сдули истому, Вера стала защищать то, что принято называть честью — дрыгала ногами и даже ухитрилась применить прием самообороны, которому научила одноклассница.

Мишка воспринял без юмора и ответил кулаком.

Голова ее мотнулась бровью о кирпич.

Кровь полилась изрядно, но он так увлекся, что не заметил.

Потом, когда кончилось, стал приговаривать, что сама виновата.

Она подтянула штаны и сказала, чтобы он за нее не волновался, с ней все в порядке, а завтрашняя прогулка отменяется.

Перед тем, как войти в избу, Вера снова посмотрела наверх. Облака рассеялись и осталась только искалota, вся в дырках звезд, тьма и неприкрытое, безупречно круглое очко луны.

Отец не заметил повреждения на Верином лице, чем с одной стороны уязвил, с другой избавил от утомительных расспросов. Лето, а заодно и средства подходили к концу. Поступив в следующем июне в высшее учебное заведение, Вера в Ягодку больше не поехала.

\* \* \*

В те времена шкура отечества начала трещать по линиям рек и, особенно, гор. Ее подгрызала национальная гордость некогда братских народов, давние обиды и годами смиряемые амбиции.

Многие покидали вчера незыблемую, а ныне ходящую под ногами почву, ища не то чтобы рай на земле, но свежего ветра, морских берегов, круизных лайнерах, зеленых коктейлей, вечерних платьев, белых смокингов и всего того, что здесь традиционно или не сыщешь, или дурно скроено.

Одним ягодинским летом Вера нашла птенца ястреба и два дня его выхаживала. На третий день птенец разинул клюв и больше не закрывал. Держа его, еще живого, Вера увидела, как по руке ползет блоха-пероед. Блоха оставляла птенца, чуя его скорую кончину. Так и граждане, предчувствуя гибель государства, бежали кто куда. В числе таких оказалась и сама Вера, не закончив учебу, она отбыла за океан и порядочно задержалась, просрочив визовые сроки.

В младшие школьные годы из соседнего дома эмигрировала целая семья. Тамошний мальчик, готовясь начать совершенно иную жизнь, в последние дни перед отъездом раздавал игрушки. Он излагал планы будущего быта развесившим уши дворовым, которых одарил юлой, мячом, велосипедным насосом или еще каким детским предметом.

Говорил он точно заказчик, отправляющийся принимать работу прораба, устраивающего человеческие жизни.

Веру, наделенную тогда пирамидкой для малышей от трех до пяти, которая заключалась в пластмассовом штыре и нескольких цветных, уменьшающихся диаметром, бубликах, из которых одного не хватало, так вот, Веру особенно поразила его затея с лифтом в шкафу. Отезжающий мальчик обещал, что непременно заведет себе такой лифт.

Заходишь в комнату, там обычная обстановка и, разумеется, шкаф. Только шкаф непростой, а с тайником. Задняя стенка отодвигается, а за ней лифт, способный обеспечить тайное исчезновение или, наоборот, появление хозяина.

Вера отнесла никчемную пирамидку на помойку, а от чужой мечты о лифте в шкафу избавиться не смогла. Глядя на старый, когда-то принадлежавший монетному красавцу, гардероб, она фантазировала, как дверцы распахнутся и откроется таинственный путь.

Возносясь вместе с ревущим «ИЛ»-ом от исчирканного черным бетона отчизны, Вера полнилась мыслями о чудесном мире, который открывается ей в одном из шкафов далекой земли. Спустя недолгие месяцы, таская грязную посуду, убираясь в чужих квартирах, выгуливая домашних питомцев, она часто думала о том, сколь нелепа была мечта взбудораженного отъездом мальчишки. Ничего, конечно, не осуществилось и живет он, наверняка, в одном из малоэтажных сооружений дальнего Бруклина, где не то что тайных, а вообще никаких лифтов в помине нет.

С периодом жизни за океаном связана одна, задержавшаяся в памяти история. Вера кое-как устроилась, даже обзавелась итalo-ирландским почтителем, он-то и пригласил отметить День Благодарения со своими стариками.

Разграфленный на квадраты пригород. Одноэтажный дом, распределенный комнатами по плоскости участка. Огоньки на крылечке, на пороге мать — подвыпившая женщина, доброжелательная и громкая, и отец, потише и потрезвеев, похожий своим техасским лицом на большой кусок маринованного тофу.

Стол был сервирован для великанов. Его загромождали тарелки величиной с телевизионную антенну, ножи и вилки напоминали охотничье оружие, бутылки походили на огнетушители.

Основным свойством всех сплошь предметов этой страны была величина — все было в два раза больше, чем в остальном мире. Автомобили длиннее, жилплощади просторнее, порции двойные.

Всего больше, чем требуется. Особенno еды. Белки и углеводы. Все только и делают, что переедают, чтобы затем сбрасывать вес.

Пока хозяйка смешивала для Веры коктейль, ссыпая кирпичи льда в ведро стакана, ее сын, Верин бой-френд, вместе с отцом умело трудился над индейкой. Профессией мужчин этой семьи была кулинария. Отец и сын работали поварами. Вера и познакомилась с ним в ресторане, где он поваром, она официанткой.

Отхлебывая цветастое пойло, Вера наблюдала.

Скрюченными, словно гвозди вывороченной доски пальцами отец держал громадное, податливое, розовое индюшье тело, а сын шарил между ее ножек своей волосатой лапой.

Фаршировал и начинял.

Мать в который раз поинтересовалась, у власти ли тот парень с пятном на лбу и есть ли в России «Макдональдс».

Отец посетовал, что раньше было лучше. Машины большие, девки веселее, снега наметало так, что дверь не откроешь. А сейчас одни черномазые и гомики.

Тем временем индейка покрылась корочкой и была воздвигнута в центре стола как храм и священная жертва. Мать подливала, отец подкладывал и скоро Вера совершенно обездвижилась от употребленного.

Все в той стране устроено так, чтобы быть употребленным.

Животные улыбаются с витрин мясных лавок. С рождения они знают, что предназначены на заклание едокам, нагуливают жиры, ожидая своего часа со сладостным предвкушением. Одушевленные и неодушевленные предметы так и прыгают в рот. Чтобы получить право употреблять других, люди готовы отдать в употребление самих себя. Всеобщее взаимное употребление вообще свойственно человечеству, но нигде оно не устроено таким привлекательным, конвойерным способом.

Захваченные вожделением, мать, отец и Верин ненаглядный потянулись к индейке. Мать вцепилась зубами в ножку, будто в той крылся секрет омоложения, отец царапал грудку, сын грыз крыло. За изгородью надрывались соседские доберманы.

\* \* \*

Знакомые Сулаймана-Василия ее отъезд осуждали. Видели в нем результат отцовской мягкости и потакания.

Вот что значит закрывать глаза на блуд и вольномыслие.

А все потому, что жена из этих. Генетика.

Подсыпают к нашим мужикам своих, чтобы влияние поганое осуществлять, а наши мужики потом места себе не находят. И дети мечутся неприкаянные.

Они вон и Союз подточили. Есть один высокий дом в заокеанском Вавилоне, в доме комнаты, в комнате той собираются гнусные карлики, подлые кукловоды, тайное мировое правительство. В эту комнату все нити и ведут. Разрубить бы их разом, да с силами никак не собраться.

Разговоров таких в то время велось много и редкие сохраняли рассудок, понимая, что никакой комнаты нет, а если и есть, то сидят там такие же, как и в прочих комнатах, точно так же испытывают голод, боятся смертельных диагнозов и возможно даже верят в то, что дергают за мировые нити. Эти самые нити, может, куда-то и тянутся, да только рвутся часто, а по пути их тормошат все кому не лень, и детки на этих нитях виснут и белье треплется, так что преувеличивать значение этих нитей и, тем более, кукловодов, ни в коем случае не стоит.

Сулейман-Василий высокомерием и мнительностью рьяных верующих не отличался, право судить и миловать не присваивал, поучениями дочь не изводил, геенной не грозился. Из-за этого многие, понимающие религию как принуждение и кару, почитали его за нюю и половинчатого.

Не одна дочь оставила Сулеймана-Василия. Брыкин, неутомимо ругающий новые порядки и разграбление страны, перестал помогать в церкви и начал собирать металлом. Первым делом он обезжелезил недостроенные коровники, сдернул лебедкой фермы кровельных перекрытий, поотрывал петли с ворот, даже гвозди собрал. Вырученное быстро кончилось и Брыкин сунулся в соседние поселения, но встретил отпор конкурентов. Тогда он срезал порядочный кусок кабеля с линии, снабжившей Ягодку электричеством. Делу хода не дали, но Брыкина порядочно исколотили. Отлежавшись, он тщетно пытался похитить у соседки алюминиевый таз, зимой прикорнул в сугробе после баньки, а весной не проснулся.

Другие Сулейману-Василию не помогали. И вообще народ стал обособленным. Общаться стали меньше, даже у приезжающей раз в неделю автолавки. А чего зря языком трепать — у каждого свой телевизор. Реставрацию расценивали как повод для наживы. Услышав, что работы ведутся на средства, вырученные от продажи ценных домашних предметов, а пожертвований хватает только на корм иждивенкам-кошкам, ягодкинцы понимающе улыбались. Так мы и поверили. На свои да без выгоды. Кому нынче надо свои в рухлядь вбухивать? Получил небось от московских попов кусок, а половину в карман, если не все две трети.

Про две трети предположила Валентина, успевшая поработать в колхозе счетчицей.

Иногда Сулейману-Василию вредили.

Не умышленно.

Просто церковный кирпич обладал неплохими эксплуатационными качествами — отлично укладывался в ремонтируемые фундаменты и садовые дорожки.

Стоило Сулейману-Василию уехать ненадолго, как в стенах церковного здания образовывались выбрызы — несостоявшаяся паства выламывала не стесняясь.

Сложеные на просушку доски в одну ночь расташили. Оконные рамы, вставленные на пару с Брыкиным, внук Сергеевны приспособил под теплицу.

Наш энтузиаст все чаще обнаруживал себя будто во сне, когда окружающая вязкая среда смягчает, замедляет и тормозит движения, гасит порывы, сводит на нет инициативу. Лишь однажды он получил ощутимую и совершенно безвозмездную помощь.

Несколько дней вокруг церкви бродил пожилой дачник из местных уроженцев, смутно знакомый по малолетству. Он молча курил, когда же Сулейман-Василий приветствовал его, уходил не отвечая.

Вскоре этот застенчивый наблюдатель решился на контакт — неожиданно сунул в руки литровый бидон, оказавшийся настолько тяжелым, что Верин отец согнулся до земли.

Незнакомец пояснил, что всю жизнь складывал и вот, а семьи не нажил.

Жена и та от водки весной померла.

Так что пускай на дело пойдет.

А работал он в морге и за годы трудового стажа бидончик насобирал.

Тара под самую крышку была полна переливающимся золотом зубных коронок.

Вспомнив метод, который его учеными степенями обеспечил, Сулейман-Василий с помощью цветных проводов и старой ванны позолотил изготовленный у жестянщика новый купол с крестом и с помощью армянских работяг из беженцев взгромоздил его на церковный барабан.

Потенциальные прихожане сбились поглазеть, лузгали и лениво роптали — нерусские крест поднимают.

А Сулейман-Василий радовался за того обрубка, из чьей мертвый челюсти выломал золотой моляр — германское, найденное им в детстве золото, смешавшись со славянскими, татарскими, еврейскими и кавказскими зубами, сверкало теперь в лучах светила.

Впрочем, страсти продолжали кипеть и в круtyх купольных боках — в коллекции патологоанатома по удивительному совпадению оказались и два резца ветерана-минометчика, чей выстрел в свое время лишил Суликова найденыша конечностей. Золото былых противников слилось и бурлило, придавая блеска наконечнику православного блокпоста.

Заново закупленные и вставленные с помощью тех же армян оконные рамы вернули церкви уют. Сквозняки перестали беспокоить и только ласточка, влетевшая в интерьер по старой памяти, билась о прозрачную преграду.

Как только Сулейман-Василий ни подзывал ее, показывая путь через дверь. Ласточка не слушала и металась.

По шаткой лестнице он взобрался к обессилевшей птичке под свод. Попробовал набросить на нее рубаху, но не поймал, а в следующий миг ласточка, совершив несколько воздушных конвульсий, упала вниз.

В углу стояла необычно украшенная доска — Дева и приложившийся к ней Сын, вырезанные Сулейманом-Василем из распятленного консервного металла.

Лики из белых джин-тониковых изнанок, нимбы тушеноочного золота, оклад — кока-кольные кружева.

Стоя над умершой ласточкой, Сулейман-Василий понял, что ему никогда не позволят разместить подобное в церкви.

И он вдруг ясно увидел, что своей реставрацией задушил церковь, законопатил. Превратил в толстозадую утеплившуюся бабу.

Когда он завершит работы, епархия назначит настоятеля.

Стены увещают блестящими вещицами и лакированными картинками.

Повсюду станет ладан, шепот и причитания.

Обильное летом, скучное зимой поползет, обретшее богообязнь, население, которое недавно, в одиночку и сообща, крушило кладку на собственные нужды.

Подъедут хозяйственники, благодетели из администрации, которые для Спасителя строят, как для себя.

Выровняют, зашпаклюют, облицуют, разрисуют.

И сделается его церковь офисом самой уважаемой добывающей конторы, ресурс которой, в отличие от нефтяных и газовых, неисчерпаем.

И пойдет молельная гульба.

И начнут прихожане осенять свои тела щепотками крестных знамений.

И потекут доходы налогами не облагаемые.

Вспомнился виденный когда-то в музее египетский гроб. Нарядный и обделанный, разукрашенный изнутри узорами и заклинаниями.

И самого себя Сулейман-Василий ощущал мумией.

Сам себя в гроб поместил, бинтами обмотал и поверх бинтов, поверх своего живого лица кукольное, застывшее нарисовал.

С ним случилось нечто вроде обонятельной галлюцинации, мерзость ударила в ноздри, кислород иссяк.

Стало тесно.

Закупоренность и пристойность душили.

Вхолостую хватая ртом, он вывалился во двор и, оказавшись вне стен божьего ПМЖ, долго не мог надышаться. А когда надышался, вера тотчас ушла из его жизни.

Это он тогда разорвал журналы политинформации и настольные игры.

Он вошел в церковь и подручными предметами принялся колотить окошки.

Вера нужна сомневающимся, а он больше не сомневался.

Он впускал в церковь простор и вера уходила из его жизни.

Явились дети, проснулись работяги-армяне, приплелся отставной сотрудник мorgа.

Они смотрели на него, не догадываясь, что после годов исканий и служения, ревности и борьбы Сулейман-Василий наконец осознал, что никакого Бога ни на земле, ни на небе нет и в тот самый миг узрел Его.

\* \* \*

Даты сменялись быстро, Сулейман Федорович так в гости к дочери и не собрался. Старые знакомые, не желая знать с идейным расстригой, отдалились.

Хорош, на старости лет церковь погромил, от истинного Бога отказался. Всегда, небось, сомнения в душе таил. И когда алтарником прислуживал, и когда исповедовался, и на Святом Причастии. Дело бы следовало завести, чтоб неповадно было.

Превратившись в обычного одинокого пенсионера, оставшись один на один с повседневностью, Сулейман Федорович полюбил захаживать на рынок.

В рыбных рядах лежали оковалки разрубленных семг, громадные блямбы камбал, стальные кладки форелей.

Мясной ряд был точно кремлевская стена, красно-белым — гранит говядины и мрамор сала. Младенческие тела поросят, арфы ребер на крючьях, рогатые освежеванные головы с бильярдными шарами глаз, исполинские слизняки языков, кукиши мозгов, рогатки куриных лапок и куриные эпилированные тела сообщали, что милосердие если и существует, то не на пустой желудок.

Пресыщенные пни с вонзенными топорами набухли кровью.

Молочный отдел был настоящим островом мира в океане смерти. Повсюду марля и бумага. Все белым-бело и опрятная старушка, на переднике ни пятнышка, moet сито под струйкой.

Вегетарианские прилавки накатывали с обеих сторон разноцветными валами. Раскроенные и целые арбузы, мешки с сокровищами сухофруктов, плетеные шкатулки ягод. Эллипсоиды дынь, опухоли астраханских помидор, россыпи винограда.

Рынок в те бедноватые времена был очагом настоящего продовольственно-го разгула и неудивительно, что именно там Сулейман Федорович нашел ответ на все свои вопросы. В цветастом мире фруктов и овощей оставленный дочерью отступник обрел новое вдохновение.

События развивались так, как они обычно развиваются в подобной

ситуации долгие века и будут, видимо, развиваться и дальше, даже когда многие человеческие органы заменят на искусственные. Завсегдатай рынка сблизился с торговкой фруктами, которая вот уже некоторое время дальновидно одаривала его то пушистым персиком, то пористым мандарином, в зависимости от сезона, и была ничуть не менее свежа, чем спелый, округлый, упругий товар, в избытке разложенный на мраморной доске. Все открытые взору фрагменты ее тела вздымались и светились подобно косточковым, созревшим на тропической ветке, достигшим товарного апогея во тьме трюма и теперь расположенным в умопомрачительной доступности.

Фруктов помолодевший помыслами Сулейман Федорович не любил и отоваривался у ее соседки, предлагающей маринованные томаты и черемшу. Но та была моложе него только на двенадцать лет и никак не могла надеяться на благосклонность.

Получив как-то раз от фруктовницы очередной плод, Сулейман Федорович завел с ней один из тех пространных разговоров об одиночестве, о редких звонках дочери, о невымытости полов и окон, короче, тот разговор, который с одной стороны ни к чему не ведя, ведет одновременно к самому главному.

В тот же вечер фруктовница намывала паркет любителя маринадов и поза, в которой она это делала, подтолкнула сюжет к дальнейшему развитию.

Бескорыстность, с которой молодая торговка бросилась помогать пожилому вдовцу, развеялась в первый же вечер — ей потребовалась постоянная регистрация, чтобы алчные сотрудники миграционного ведомства не смогли разлучить влюбленных.

Документ был оформлен одновременно с браком.

На торжестве, когда гости со стороны невесты горланили здравицы, она кокетливо сообщала, что вышла замуж по любви, а не по залету.

Новая хозяйка поначалу вела себя осторожно, как собирательница, только ступившая на клюквенное болото. Однако быстро освоилась, начала переставлять и выкидывать, а ошелевшего от непривычной домашней активности собственника пичкала копченым и жирным, еще сорок лет назад при военкоматской диспансеризации не рекомендованным.

На ласки она не скучилась, отчасти по инерции, отчасти из чувства справедливости, по которому папаше причиталось. От всей души применяла снисходительную любовь, свойственную медсестрам и сиделкам.

Надо ли удивляться, что при таком режиме менее чем через год разгоряченного и раскормленного молодожена свалил первый удар.

Фруктовница охала, страдала и даже один раз опрокинулась в обморок, но додумавшись, что ненатурально да и не перед кем, больше падений не повторяла.

Вера приехать не могла, границы заокеанского материка навсегда были закрыты перед ней, а чахлая надежда на тамошнее счастливое будущее все еще не отпускала. Она отсыпала заработанное и скопленное, регулярно звонила. То разражалась скандалами, то умоляла сделать все возможное, ее возвращение не за горами, только легализации дождется, адвокаты сулят, уже вот-вот.

Фруктовница, надо отдать должное, присваивала отнюдь не все присылаемые средства. Наняла сиделку из родственников, приобрела лекарства и вскоре Сулейман Федорович самостоятельно стал передвигаться, подволакивая левую ножку, и произносил слова разъезжающимся ртом.

Первое им содеянное было завещание.

Бенефициаром вышла фруктовница, ставшая полноправной хозяйкой квартиры в кривом переулке и дома в Ягодке.

Нотариус и судья, растопленные убедительным денежно-продуктовым предложением, назначили молодую жену единственной наследницей, обозначив Веру гражданкой, нарушившей правила пользования жилым помещением, связь с которой утрачена.

Сулейман Федорович радовался своему ответственному отношению к собственности и в детали не вникал.

Его не следует осуждать за попрание интересов дочери, за измену идеалам семьи. Он хоть и менял жизненное направление весьма радикально, но никогда не обманывал самого себя, поступал, как велело то, что принято называть душой и сердцем.

Он не впал в слабоумие и видел все отчетливо. Связь с фруктовницей стала бунтом против канонов совестливой обыденности, разрывом пут из цветной электропроводки, которыми доброжелательные оккупанты то и дело пытаются русскую метель опутать и в сундук свой бюргерский сложить.

Веселость смуглушки, вызванная то ли обогащением, то ли частичным выздоровлением любимого, вылилась в усиление постельно-кулинарного натиска. Барышня попалась горячая, не имитировала, особенно если учесть, что на рынке, который она не оставила, у нее имелось два приходящих земляка: плиточник Коля и сантехник Ваня. И пусть в свой новый дом она являлась уже слегка измотанная Колей и Ваней поодиночке, а то и разом, но ее интимной энергии оказалось достаточно, чтобы страстная, но ослабленная сердечно-сосудистая система Сулеймана Федоровича тысяча девятьсот тридцать восьмого года рождения не выдержала. Он повалился рядом с недавно, Ваней, кстати, установленным, чешским сантехническим устройством, и завещание вступило в силу.

## Часть 2

\* \* \*

Русская девушка в чужой стране устраивается быстро. Не успеешь оглянуться, она уже при деле: развлекает местных мужчин, освоила таинство уплаты налогов, бегает по утрам, вплетает иностранные слова в телефонные разговоры со стареющими родителями. Но однажды непременно наступит день, когда случайный, едва заметный ошметок с оставленной, удаленной почти из биографии родной трясины, опять что-то там рвануло или метеорит упал, долетает до благоухающего мира и на подол, только из химчистки, шлепается. Наша героиня хорохорится, удваивает спортивную нагрузку, социальную активность, но тень приближающейся кометы уже затмила солнце гнусной ностальгией.

Она трудится без выходных, кулинарные курсы, уроки эротического мастерства, недельный круиз, участившийся темп культурных событий.

Налаживает общение с подругами и женами из числа соотечественниц. Собираются раз в месяц, обсуждают автомобили, собак, детей, мужей, пикники, снова автомобили.

Таблетки уже не сдерживают скачки настроения, рассеяна в разговорах, рыдает во время минета.

Прекращает общаться с соотечественницами, удаляет контакты, не отвечает на звонки. Тайная выпивка, просмотр фото из прежней жизни, которые прихватила по сентиментальной неосмотрительности.

Надо было сжечь. Задраить затопленные отсеки. Теперь поздно.

Мелкая благотворительность, жалостливость к зверькам. И чем больше попыток отсрочить, тем мучительнее. Уже убирает подальше острые предметы.

Хорошо, детей нет, а может, плохо. Были бы дети, можно было бы себя убедить, что все ради них.

Она все сделала правильно, переехала в цивилизованный мир, где ее окружают порядочные люди. Посмотри на подруг школьных, рыхлых от картошки, которые сопляков своих по асфальтовым выбоинам выгуливают, где черный снег и желтая вода. А те, кому повезло, сосут бандитам, отекли силиконом, уже пустились по монастырям с вип-пригласительными к вип-мощам.

У нее все очень хорошо.

Только еды вокруг многовато.

Повсюду еда. Хочется стол опрокинуть, перемазаться, вывалиться, хохоча, распугивая жениховых стариков, соседей, напарниц по фитнесной раздевалке. А лучше тихонько барабанщик немногое нажитое раздать, двери настежь и прочь с билетом в один конец.

Русская эмиграция не богата душевными маршрутами и сводится к двум: безоглядному погружению в новое, вымарыванию воспоминаний или педантичному, по сантиметрам, выискиванию изъянов во всем своем прежнем, чтобы этими изъянами подлатывать утрату. Приверженцы второго пути в силу душевной слабости отличаются особенной лютостью, только и делают, что разоблачают свое прежнее место жительства. С горячечным удовольствием они распространяют любую жуткую новость о покинутых пенатах, срывают покровы и предъявляют всем, в первую очередь себе. И все, чтобы оправдать. Мол, бегство мое не впустую, не зря вырвался из дремучего и зловонного лона родной уродины. Вырвался в свет и сытость. И могу теперь вволю жить и удовлетворяться. И пусть я сам до конца не очищусь, но уж дети-то мои поживут.

Когда отец перестал говорить с Верой по телефону, фруктовница объяснила, что самочувствие, врачи не позволяют.

Через месяц и сама перестала отвечать, а еще через неделю Вера, не попрощавшись со своим итало-ирландцем, покинула континент.

Явившись по родительскому адресу, она сунула ключ в скважину, но замок не принял ключа.

Замок был нов и неузнаваем.

Позвонила.

Открыл неизвестный в трусах.

Сунулась к соседке, оказалось, отца больше нет, а квартира спешно реализована вместе с обстановкой.

Соседка напоила чаем, расспрашивала как там за границей, сетовала на здешнюю жизнь. Она очень всех жалела: Веру, Сулеймана Федоровича, его умершую жену, а заодно и резной буфет. Дверь в спальню, впрочем, тщательно прикрыла.

Отца Вера отыскала на кладбище — фруктовница не стала разлучать мужа с первой супругой.

Поплакав, Вера поехала в Ягодку.

За недолгие годы благодатной тишины, которую местные приняли за упадок, деревня едва не растворилась в лесу и разнотравье. Заросли перекинулись на запущенные грядки, даже из некоторых, совсем хилых домиков, стало прорастать. Размылась бы Ягодка в окружающей природе окончательно, но помешал охотничий интерес столичного полицейского генерала. Сокращение

численности людей в тех местах привело к стремительному росту лесной живности, которая сановника и приманила.

Генерал приобрел несколько соседних участков, в том числе и Мишкиной бабки, разобрал и сжег избы и возвел терем из германского кирпича и лакированных архангельских бревен, который напоминал разъевшегося крестьянина, готового закусить соседями.

На разровненных, замощенных огородах теперь стояли вездеходы, на колесном и гусеничном ходу. Большую часть времени они праздно сверкали, охотники выезжали редко, чаще палили по импровизированной дичи — опустошенной стеклотаре. Все было по-усадебному, на крыше флюгер-петушок, на цепи медведица Машка — любительница карамели. Привозили певичек, которые, кажется, и культурный досуг обеспечивали, и массаж.

В пору осенне-зимнего сезона улица Ягодки заполнялась крупногабаритными германскими автомобилями. Переваливающиеся на кочках моторы доставляли высокопоставленные тела, которые в продолжение выходных, праздников и отгулов пили и закусывали, изредка внедряясь в лес и возвращаясь с услужливо затравленным клыкастым или рогатым.

Трофеи едва радовали анестезированных чиновной вседозволенностью охотников. Лишь ничтожный процент умерщвленной плоти поедался, остальное же подолгу томилось по морозильникам шуринов, тестей и свиты, пока не выбрасывалось весной при генуборке. Головами же и шкурами, украшались интерьеры, добавляя обстановке то, чего обыкновенно стесняется молодежь, что выметают тотчас после кончины хозяина, что потом подолгу сбывается старьевщиками, пылится в чуланах и перерабатывается молью в желтую труху. Впрочем, обитателей леса часто не беспокоили, предпочитая застолья выслеживанию и погоням.

За охотниками потянулись дачники.

В большинстве пенсионеры-отшельники, благородно освободившие для размножившихся детей городские квартиры.

Генерал поневоле дефибриллировал замершее было сердце Ягодки.

Новые собственники, один за другим, сносили и перестраивали. Недовольные сбивчивой работой водокачки бурили скважины для смыва и водопоя. Соседи отгораживались друг от друга гофрированным металлом.

Все новые жители, за исключением случайно затесавшегося пожилого агностика из академического института, декларировали себя верующими.

На собрании, проведенном непосредственно в церкви, постановили ее, церковь, восстановить.

Генерал, избранный старостой, решил бумажные вопросы, и не прошло года, как культовое сооружение было отреставрировано, то есть частично снесено, выведено заново и приспособлено в соответствии со СНИПами, каноном и эстетическим уставом правящего класса охотников и рыболовов.

Живописец разрисовал своды сытыми людьми в простынях, как после парной. Черты изображенных не оставляли сомнений в личности благодетеля — в каждом апостоле и святом, в Боге-Сыне и в Боге-Отце, даже в Деве Марии угадывался генерал.

Водокачку сохранили, не из рационального подхода, а по причине прекращения финансовых. Обустроили местечко для колоколов, которые на Пасху по обычай дергали все жители и особенно полицейский начальник, который к тому

времени добровольно отправился на пенсию и вымешал неосуществленные мечты о реформе своего ведомства на чем ни попадя.

Золоченый Сулейманом-Василием купол не тронули.

Во время работ была обнаружена подозрительная икона — Царица Небесная с Царевичем, вырезанные из консервной жести.

Решили уничтожить за кощунство.

За дело взялся генерал, который отволок находку к себе и с двадцати метров всадил в нее заряд крупной, на кабана, дроби. Хотел перезарядить, но в боку закололо и стрелок удалился почивать, а последняя поделка Сулеймана-Василия с того дня служила мишенью, пока не измочалилась до неузнаваемости и разве что блеск жестяных лохмарьев сделался ярче, сверкая, как купол, как чешуя барака камчатских женщин-работниц.

Среди этого нового распорядка Вера отыскала избу Катерины, точнее заросший крапивой, выгоревший сруб с башней печи. Труба съехала набекрень и чудом не обрушивалась. Чугунная дверца топки, украшенная столь нелюбимой матерью бесовской пятиконечной звездой, была мертвеечки приоткрыта.

Расспросив шедшего мимо незнакомца, Вера узнала, что генерал вроде имел планы на покупку этих земельных соток, но Сулейман Федорович не соглашался и вот однажды полыхнуло. Мальчишки или проводка. А вернее всего, и то и другое и еще что-нибудь, о чем только шепотом.

Вера залезла внутрь, переступала через жерди обугленных стропил, похожих на опущенные дула подбитых орудий, пошла по слежавшимся буграм золы, бывшим когда-то крашенными суриком полами и цветастыми половиками, споткнулась о панцирь кровати, к ноге что-то прицепилось.

Ком ржавой сети.

На старости лет Катерина сплела занавесь из канцелярских скрепок, каждая из которых была обмотана конфетной фольгой. Сулейман-Василий тогда удивлялся, мать сладкого в жизни не ела, а теперь подавай ей «Осенний вальс» или шоколадки. Пока плела, все соседки до диатеза объелись.

Ржавый ком и был той самой занавесью.

Взгляд Веры упал на внутреннюю стенку фундамента, раньше скрытую полом.

В угол был вмурован увесистый кусок белокаменного церковного фриза.

Получалось, ее дед, поповский гонитель, читатель «Правды» и добровольный помощник вермахта, когда ставил избу, за материалом далеко не ходил.

Рядом торчала труба с фаянсовым краном.

Кран был Вере хорошо знаком. Катерина очень радовалась водопроводу и зная, что все хорошее и удобное непродолжительно, сразу наполнила тазы, ведра и корыта, жестяные кружки, все три фарфоровые чашки с оббитыми каемками и граненые стаканы. Разве что в наперстки не налила.

А потом, не то что поверила, но как-то убавила будильность, и только время от времени поворачивала белую четырехгрannую рукоять и с умилением, как на малое дите, смотрела на сверкающую струйку.

Вера повернула кран.

Труба прогнула, харкнула и полило.

Сначала желтая, застоявшаяся, а потом прозрачная, как чешский хрусталь.

Вера умылась и хлебнула. Пригладила свои натурально выющиеся, и навсегда пошла с не принадлежащей ей более земли, оставив кран открытым.

\* \* \*

Вера предприняла судебную попытку вернуть хоть что-то из родительского, но не получила даже пепелища. Его, как оказалось, все-таки приобрел на совершенно законных основаниях генерал и оспаривать этот факт было можно, но весьма затратно и малоперспективно.

Фруктовницы и след простили, а сама жизнь отвлекла Веру от дальнейшей борьбы. Воспользовавшись рекомендацией благосклонного к ней престарелого издателя, чьих четвероногих питомцев опекала за океаном, Вера без труда устроилась в один из самых известных в мире журналов об архитектурных сооружениях, фасадах, интерьерах и хозяевах.

Деньги стали поступать исправно, сняла просторную квартиру поблизости от кривого переулка, купила автомобиль и сделалась, что называется, успешной и деловой.

Не тревожась сомнениями, она стала проживать молодость вместе с оторвавшейся от одра страной.

Как и любой, поживший в западном мире русский человек, Вера невольно ощущала себя немного иностранной, импортный шик пристал крепко, кругозор необратимо расширился, знание языка оказалось выше всяких похвал. Однако, она не грешила расхожим у подобных презрением к отечеству. Не ставила себя выше земляков, которые, напротив, ее превозносили.

В те времена страна, удивленная цифрами, выручаемыми за ископаемые, которые из-под себя выгребала, стала быстро и хаотично богатеть, поступая с прибылью так, как поступает любой долго голодавший и лишенный бытовых радостей — хапала все без разбора. Журналы тяжелели рекламными страницами, предлагающими роскошные автомобили, многопалубные плавсредства, мебель, отделочные материалы и целые дома в разных частях света.

Вере и другим сотрудникам от этого пиршества перепадало — за счет работо- и рекламодателей они порхали с показов мод на приемы, летали на ужины в европейские рестораны, нежились у кромки прибоя.

Многие принимали и отвергали ухаживания завидных ухажеров, а самые хваткие повыскакивали замуж и весьма практично, чуя, что праздник однажды закончится.

О тех недавних, но уже бесконечно далеких годах Вера могла бы многое рассказать, но один случай с лихвой заменит остальное.

Знакомый фотограф, которому она часто поручала работу, предложил съездить за компанию на съемки частного дома. Требовалось запечатлеть завершеннуюстройку и он позвал Веру присоединиться в качестве ассистента.

Соль приглашения заключалась в том, что дом принадлежал могущественному вельможе, играющему заметную партию в оркестре управления державой. Обычно он сохранял свое бытие в тайне, а на фотосессии, по слухам, настояла его изрядно скучающая супруга.

Этот недвижимый объект был интересен еще и тем, что ранее принадлежал влиятельному магнату и добытчику, но после его опалы был по сходной цене приобретен тем самым вельможей, магнатовым недругом.

Вельможа слыл просвещенным ценителем тонкостей, а потому вопреки тогдашней моде жилой трофеи не сровнял, а, подтверждая реноме, взялся за продуманное расширение и переустройство.

Дом и был задуман с размахом, но запросы тогда менялись по много раз за год и несколько лет, прошедших со дня постройки, оказались вечностью.

Проекты утверждались через супругу, славящийся нелюдимостью вельможа лица своего не показывал, иногда, впрочем, на стройку наведываясь. Визиты эти отличались рядом достойных описания причуд.

Время от времени к стройке подкатывало несколько тяжелых автомобилей, они останавливались на обустроенным перед парадным фасадом курдонере, в центре которого специально к приезду складывалась внушительная гора горючих строй- и отделочных материалов, которые по прибытии гостя поджигались. Едва лишь последние языки пламени гасли, невидимый пассажир велел трогать и моторы уносились прочь, оставив лишь аромат переработанного филигранными двигателями топлива.

Среди рабочих поговаривали, что у вельможи слабость — любит смотреть на огонь, пожирающий роскошь.

Как знать, но проектировщики делились, что вопреки расчетам, горючих предметов интерьера: паркета, тканей, обоев, резьбы, мебели, дверей, окон и прочей столярки наказано доставлять с избытком, а излишки сваливать на газон и поджигать при появлении транспортных средств.

Возможно, это вдохновляло ум вельможи на решение замысловатых общественно-политических задач или утоляло жажду уничтожения дорогостоящих человеческих детищ, а может, и то и другое разом и что-нибудь еще, о чем заурядный человек и помыслить не в силах.

Одним промозглым четвергом, когда все было застывшим, серым и безысходным, когда февраль, как изнурительно старательный любовник, демонстрировал все новые и новые трюки, хотя пора уже было угомониться, когда даже самому горячему славянофилу в глубине кипучей православно-языческой души хотелось бежать к солнцу и морю, именно в один из таких дней вельможа показал лицо.

По случайному совпадению произошло это именно в тот день, когда Вера оказалась на объекте вместе с фотографом, и только что услышала разъяснения рабочих про костер посередине подъездного круга.

После сожжения, поглотившего партию вручную изготовленных предметов из дорогих пород, кортеж с места не сорвался, а спустя минуты ко всеобщей восторженной жутти из услужливо распахнутой дверцы явился он.

Роста среднего, туфли блестят так, что можно, в них глядя, бровки выщипывать.

Глаза его смотрели цепкими ягодками, так и норовя закатиться собеседнику в нутро, рассыпать там косточки и прорasti.

На бледных пальцах выступали сочленения-суставчики, за одно из которых едва цеплялось великоватое размером, будто на вырост купленное, колечко, сообщающее не столько о счастливой семейной жизни, сколько о том, что вельможа женат и все у него, как у людей.

Он поприветствовал всех рукопожатиями, не чураясь испачканных краской, шпаклевкой или еще какой строительной грязью ладоней. И с мужчинами и с женщинами поздоровался, с маляршей-хочотушкой Ниной, с озлобившимся от постоянных сожжений краснодеревщиком Зурабом, с насмешливым от волнения фотографом и с Верой.

Прошелся по комнатам, и стук его каблуков отверделой натуральной кожи о замысловатый узор отзывался в сердце каждого радостью и благолепием.

Цокал молча, от досады не вздыхая, губами от восторга не чмокая. Только в хозяйской ванной второго этажа долго разглядывая белоснежный, на двоих,

резервуар с гидромассажными, обрамленными золотом, отверстиями, он очень тихо спросил:

— Это дерево?

— Прошу прощения? — покраснел прораб, который оказался за старшего. Архитектор не был предупрежден о визите, а то бы непременно лично встретил еще у ворот. Теперь прораб улыбался так счастливо, будто желал в жизни лишь одного — разобрать каждое, рожденное тонкими губами слово.

— Это дерево? — повторили губытише прежнего.

Но прораб ухватил-таки звук, стряхнул по луженому грохотом перфораторов и стуком молотков ушному каналу в башку, мозгом обработал и поперхнулся слегка.

— Это натуральный фаянс, джакузи, — преодолевая замешательство, ответил прораб и тут же исправился. — Двухместная ванна с гидромассажем.

Испугался, что сказал «двухместная», не слишком ли интимно, и название добавил итальянское, которое выговорить не смог и смешался совсем.

— Я про это.

Вельможа кивнул на бухгалтершу, жену прораба, оказавшуюся в тот день на объекте по случаю расчета.

— Это моя жена, — ответил прораб, не испытывая даже ужаса перед совершенно, если разобраться, безумным вопросом, а узрев вдруг какую-то великую пустоту, которая вот-вот его поглотит.

Сам же объект вопроса, то есть бухгалтерша, вся сжалась, вспомнив, как в школе дразнили доской. Еще она подумала, что сейчас обязательно изнасилуют, после чего сожгут в центре круга, смешав с пеплом цельных ножек и гардин. Справедливости ради следует отметить, что подобных мыслей ни у кого из присутствующих, включая Анатолия Геннадиевича, личного телохранителя, даже не мелькнуло.

— Какая красивая женщина! — зажмурился вельможа и принялялся беззвучно трястись.

И прораб, испытавший вдруг огромное счастье, тоже затрясся и отчего-то тоже беззвучно. И прочие поняли — шутка.

И от камушка вельможной шутки по лицам пошли круги. И некоторое время все немо тряслись, не тревожа деликатную тишину грубыми звуками.

— Вы хорошо поработали, приглашаю всех на ужин, — заявил вельможа, отсмеявшись.

Прораб с женой, малярша с краснодеревщиком и прочие поджались — похвала похвалой, а ужин совсем другое дело. Нежданная гастрономическая близость с человеком столь высокого положения пьянила и пугала одновременно.

— Нам и переодеться не во что... — обожающе произнес прораб.

— Со мной можно, — будто благословил вельможа и взмахнул едва заметно перстами. Все завороженные последовали за ним и расселись по пассажирским, кого к нему, кого к охране поместили.

Вера оказалась, конечно, на одном с ним заднем сиденье. Сбоку наваливалась малярша, которую впустили с царственной брезгливостью. Вера понимала две вещи: человек этот не любит не то что женщин, а вообще всех людей терпеть не может, и самого себя, вполне серьезно, от стада людского отделяет. А если судить по улыбке, по благосклонному обращению с работягами, по приглашению этому абсурдному, ему уже удалось отчасти, а может, и целиком, убедить

себя, что он человек только обликом и анатомией, а в остальном отдельный, соль земли, из космоса засланный, божественным лучом помеченный.

А еще стало ясно, что он пьян.

Не в зюзю, но сильно навеселе. Коньяком шибало, как шибают духами от кавказского франта.

Между ним и Верой возникло специфическое притяжение, которое могло теоретически привести к развитию и вообще много к чему, потому что Вера не была в ту пору связана обязательствами, а у него прошла тяжелая кулуарная встреча, на которой в очередной раз стало ясно, что изменить ничего не удастся и можно только смириться и себя не забывать пока идет масть. И правители здесь не вершат свою волю, куда им, просто нрав населения удовлетворяют, пока силы есть. Да и супругу скучающую уже давно хотелось с шеи сдернуть... От всего этого вельможа не то чтобы загрустил, существом он был тонким, но не сентиментальным, а оледенел как-то и оттаять хотелось очень.

Но ничего не случилось. До ресторана — французского замка, обустроенного в бывшем швейном цеху, доехали в полном молчании, которое изредка нарушал нервный смех малярши.

Видавшие виды лакеи, нисколько не смущившись вывалившему простонародью, проводили ораву через зал, сквозь любопытные взгляды, к укромному столу в алькове за портьерой. Веру потешил тот факт, что к ней у obsługi сразу же сложилось особенное отношение.

Опытный метрдотель склонился, готовый внимать. Вельможа вкатил в его ухо словцо и официанты зашустрили.

Над столом тем временем повисло молчание, отягощаемое робкими улыбками и ерзанием гостей.

Малярша со страху заявила, что штукатурка здесь не очень, она бы поровнее вывела.

Прораб перебил, мол, так положено, вроде как под старину, и посмотрел искательно на вельможу, но тот его никак не поддержал, а разглядывал внимательно отполированные ногти на своей левой.

Подкатили тележку с хлебом и тележку с напитками.

Пока каждому предлагали выбор из булок, обсыпанных различными семенами, сырной трухой, сушеными травами и еще черте чем или вовсе ничем не обсыпанных, распорядитель снова склонился, косясь на сосуды с многолетними и выдержаными. Чего изволите? И вельможа изволил. И распорядитель наполнил вздутый, тончайшего стекла бокал чем-то тягучим и ароматным, что медленно сползало со стеклянных стенок, и подал почтительно.

Вельможа опустил в бокал нос, втянул, взор его помутился, он отпил и смежил веки, и рукой белой махнул.

Тележка, позывая драгоценным грузом, покатилась вдоль гостей и они все, как один просили налить «то же самое», только малярша, пискнув, что все как в Анапе на дегустации, осмелилась поинтересоваться нет ли сладеньского. И ей тотчас с нижней полочки извлекли портвейн года, когда маляршины родители только сыграли свадьбу на окраине Донецка, на которой сама она была представлена пятимесячным животом под платьем невесты, о чем и сообщила всем присутствующим, вызывав бурные ахи и вскрики «дорогой, наверное».

— Вы понимаете кто я? — вдруг спросил вельможа, очнувшись от глотка. Вопрос его прозвучал неожиданно потому еще, что был所说ан промким голосом нетрезвого человека. К тому моменту некоторые уже пообыкли, стали прихлебывать активнее, а прораб и вовсе хотел было пlesenуть себе добавки, но

официант опередил и подлил сам, уже из другого, указанного освоившимся проработом, флакона.

— Конечно, понимаем! — залепетали с готовностью гости и только Вера молча улыбалась, но не было в ее улыбке насмешки.

Вельможу этот пустой ответ, казалось, устроил и он снова сосредоточился на проглатывании раритетной жидкости, кроша костяными пальцами беззащитный хлеб.

Строем вошли официанты, как входит в камеру приговоренного расстрельная команда.

Числом официанты равнялись гостям, у каждого в руках имелась оловянная тарелка, накрытая тускло блестевшим колпаком. Официанты замерли за спинами гостей, вызвав некоторое волнение, как бы не пристукнули сзади этими тарелками. По кивку метрдотеля они разом подняли колпаки, обнаружив дымящееся мясо.

Ошеломленные подопечные вельможи схватились за вилки, но вельможа снова заговорил.

— Нет, вы не понимаете, кто я, — слова он теперь произносил отчетливо и громко, но скорость, с которой они покидали его рот, с каждым слогом сокращалась.

— Кто я и кто вы, — он оглядел стол глазами, которые вдруг оказались не спелыми ягодками, а давленной забродившей вишней, на которой рачительная хозяйка уже сделала три настойки, уже ни вкуса, ни цвета, ни аромата, и впору нести на компост, где склюют куры, после чего станут валяться в грядках, глупо кудахтая.

Нетерпеливая малярша тем временем успела сунуть в рот отжатый вилкой, не отрезанный, как следует, кусок. Взгляд вельможи, ползающий по рукам и тарелкам, упал на почтатого маляршей оленя и застыл.

Неожиданно перегнувшись, он схватил ее кусок своими не чувствующими жара пальцами. Сок и жир брызнули на рубашку, на лица его и малярши. Даже на официанта, стоявшего на почтительном расстоянии, попало.

— Вы не понимаете кто я! — заорал вельможа, потрясая стейком, который держал двумя руками, как когда-то жрецы майя держали вырванные у жертв бьющиеся еще сердца.

— Все вокруг — это я! Законы, которые завтра утвердят, придумал я! Слова, которые скажут по первому, второму, третьему и всем прочим каналам, написал я! Вы даже не догадываетесь о существовании книг, которые я прочитал! Вы даже не мечтаете краем глаза увидеть людей, которые приходят ко мне на поклон!

Я спас Россию, а вы чернь!

Он разорвал оленя пополам, окатив себя и окрестности новой порцией брызг, и швырнул половинки малярше.

— Жри!

Не оборачиваясь, он потянулся и принялся шарить за спиной.

Официант услужливо спросил, что господин желает, но господин, не слушая, схватил первое попавшееся горлышко, поднялся на нетвердые ноги, пальцы его скользнули по бутылке, на которую он оперся. Бутылка упала и многотысячная жидкость полилась на ковер. Официант бросился поднимать и закупоривать, а вельможа схватился за другое горлышко, вытащил пробку и стал, расплескивать по стаканам.

Коньяк заливал скатерть и колени. Бутылка опустела, он изловил другую и остаканил остальных.

Все замерли, но вельможа, глаза которого скатились уже к полу, неожиданно пить раздумал, и, не попадая в рукава, полез в пиджак, с помощью подоспевшего официанта справился, вытер ладони о его фрак, сунул в пустоту, тотчас подхваченный ловкой рукой, один комок, другой. Купюрные жмыхи были мгновенно расправлены, бегло пересчитаны взявшимся откуда ни возмись мэтром и одобрены едва заметным кивком.

Возле портьеры вельможа задержался. Он стал вытаскивать из всех своих закромов нефтелларовые банкноты, вернулся к столу и давай награждать.

Все брали с почтением. И Вера, которой тоже досталось, поблагодарила.  
Не от радости наживы, а из жалости.

Очень ей вельможу жалко стало и он, поняв это своим спутанным, но трепыхающимся еще умом, задержался возле, улыбнулся глупо, зло и обреченно как-то, так, что стало заметно отсутствие бокового зуба.

Он желал что-то сказать, но вместо этого поднес к ее лицу кулак и посмотрел прямо в глаза впервые. Так они друг на друга некоторое время глядели, а потом он кулак отнял, Веру по макушке потрепал и сгинул за портьерой на этот раз уже навсегда.

\* \* \*

Россия и раньше своих женщин не особо жалела, а в последние годы распоряжалась ими особенно щедро — морально неустойчивых за рубеж, в объятия изнуренных половым равноправием атлантических женихов, патриоток обрекала на тщету интернет-знакомств, затеянных от безнадеги беременности и одинокое воспитание нового поколения.

Кавалеры, разбалованные своей малочисленностью, стремительно превращались в ленивых, самодовольных увальней, потому что нет лучше способа ослабить, чем одарить привилегиями.

Вера была одной из немногих, кого такое положение не тревожило. Она даже кольцо в периоды обострений мужской активности носила, чтобы отшивать аргументированно.

Она не была вроде манекенщиц с обложки, но мужчины очень любили подниматься следом за ней по лестнице и отмахивали порой не один лишний пролет. Лицо ее оправляли овсяного цвета кудри, глаза были зеленого серебра. Засыпала она быстро, спала крепко, просыпалась всегда горячей и розовой, будто каждую ночь ее выпекали заново, на усадку новому дню. На фотографиях получалась прекрасно без всякой ретуши, вся была какого-то чрезвычайно приятного оттенка и на ощупь очень хороша и аромат распространяла влекущий, хлебопекарный.

За ней бегали типы самые разные, гангстеры-меценаты и топ-менеджеры-рекламодатели, примодненные чиновники, светские завсегдатаи и титулованные спортсмены.

Не раз звали замуж, чтоб все красиво.

Она в отличие от сослуживиц не торопилась, предложения даже самые завидные отвергала, отдавая предпочтение несерьезно настроенным умникам. Со времен общения с Мишкой тяга к тренированным телам сменилась у нее интересом к разговорчивым и начитанным.

Одним из первых ее увлечений на родине стал вполне себе воспитанный, деловой и педантичный. Даже, пожалуй, слишком.

Был он чрезвычайным аккуратистом и стоял на страже всевозможных

законов и правил, преимущественно ПДД. Ни одна поездка не обходилась без его недовольства другими участниками дорожного движения. Те творили неописуемое — перли на красный, не смотрели в зеркала, плевали на поворотные огни, норовили обогнать по обочине. Управление автомобилем выявляло его сходство с итальянской церковью — скромный и сдержаный снаружи, внутри он бушевал красками и картинами Страшного Суда.

Однажды ехали в театр и угораздило какому-то ловкачу их подрезать. Ладно бы только это, так мерзавец на перекрестке еще и скомканную пачку «Парламента» из окошка выбросил.

Тут Верин не выдержал.

Выскочил, стал дорожному хулигану дверцу пинать, зеркальце бейсбольной битой снес.

А тот оказался не из робких и не слабак. Даже Вере подзатыльник достался.

Когда все улеглось, она предприняла попытку обсудить. Мол, не стоит так горячиться. Он вспыхнул, как синтетическая занавеска и обвинил ее в предательстве. Ему нужна единомышленница, а не пятая колонна и власовка.

И руку на нее поднял.

Годами позже один ее коллега, единственный в коллективе паренек, болтушка и потаскуха, показал фотку нового дружка. Скрытного, но ненасытного.

И Вера узнала в нем своего бывшего, педанта.

Позже встретился молодой служащий. Нормальный, хозяйственный, с рабочим графиком «пять-два» и продуктовыми закупками по выходным. Пешеход.

Проживал в недавно доставшейся по наследству маленькой, уютной квартире с видом, немного, правда, наискось и между соседними домами, на боковой куполок Храма Христа.

Едва зажили совместно, все и открылось. Однажды утром, когда он, по обычаю, уходил на службу, Вера попросила купить ей по пути колготки. Он мгновенно изменился и несмотря на бурныеочные выходки, вопреки хорошему завтраку и солнцу, свет которого умножался краешком храмовой нахлобучки, не замечая все эти очевидные достоинства бытия, игнорируя возможное опоздание на рабочее место, разразился криком.

Он так и знал. Вера, как и прочие, хочет его обобрать.

Хочет заграбастать квартиру.

Вселиться.

Была уже одна такая, линзы просила купить. Он купил, хотя знал, дай палец — руку откусит. И что б вы думали — походила в линзах, а потом объявила, что он ее не удовлетворяет. Собрала вещички, его зубную пасту, между прочим, прихватила, и сбежала.

А линзы не вернула.

И деньги за них не вернула, хотя чек он на видное место положил.

Вера уже готова была обратиться к своим подростковым предпочтениям, караулить возле качалки или пивной, но вышло иначе. Один начитанный говорун и мыслитель, который Веру долго осаждал и даже обещал что-то в ее честь назвать, что именно не ясно, потому как ничего кроме абзацев о злободневном не производил, так вот, этот ее захомутал.

Жил он тем, что регулярно рассуждал в письменном виде, реагировал своеевременной, а порой и упреждающей острой фразой на мировые колыхания. Характеризовал и формулировал. Будучи флюгером, чутко улавливающим

общественные дуновения, помышлял о месте кукловода, трогательно полагая, что не сам вертится по ветру, а собственными манипуляциями ветер организует. В свободное время писал новую Конституцию, был отчаян и лишь едва заискивал перед сильными, уж очень боялся погромов.

Сумрачным вечером Вера приняла его приглашение.

Ее ждала освещенная редкими фонарями улица дачного поселка, в конце которой стоял старый дом, пропахший и кривой.

Обстановкой владелец очень гордился, всем своим видом сообщая, что не выползень, а преемник знатных предков. И дом сохранился, и фотографии по стенам, и трофеинная германская мебель, которую не сам привез, уже здесь купил забронированный от фронта дедушка-профессор.

Устроившись на продавленном диване, Вера пила чай из треснутого ленинградского фарфора и думала, как бы улизнуть.

Владелец молча смотрел на нее близоруким, притупленным бесконечной писаниной зрением и так долго, будто впал в транс. Когда она уже собиралась пощелкать перед его носом пальцами, он совершил неожиданный наскок и, опрокинув остывшую, к счастью, чашку, придавил Веру к засиженной почтенными задами обивке.

Нависнув над ней, прыгучий поклонник принялся читать одно из тех стихотворений, которые романтики этого типа всегда исполняют в подобных ситуациях.

И смотрел так, будто собирался потребовать повторить без запинок.

Закончив с рифмами, он сообщил, что говорил о Вере с мамой, что мама против, а когда мама против, у него стояк.

Отчасти из любопытства, отчасти повинуясь какому-то гипнозу, Вера уступила и с появлением за окнами белесой сырости, означающей рассвет, мамин сын совершил над нею что-то необременительное и даже приятное.

Он оказался деспотом. Принуждал расхаживать по комнатам в чулках. А дом старый, повсюду щели.

Подробно расспросил Вера о семье и очень обрадовался, узнав о ее, как он выражался, народном происхождении.

Его волновала Верина, выдуманная им же самим, распущенность. Он требовал, чтобы везде она появлялась в едва приличных, даже по меркам нашего далеко не пуританского времени, нарядах, тщетно подстрекал к развратным действиям с другими, закатывая при этом регулярные сцены ревности.

Природа этой игры была понятна, но утомляла. Оказавшись на полугаремном положении, Вера должна была не только быть путаной в постоянной готовности, но чистить и жарить картошку, очень им любимую, собирать по дому грязную одежду, однако, даже это не угнетало так, как его мама.

Нестарая еще, бравая женщина, воспитавшая в одиночку, пожертвовавшая молодостью, всю себя вложившая, подарившая сыну столько заботы и образования, что воспринимать других и себя без презрения он уже не мог. Так вот, эта славная дама являлась в любое удобное ей самой время, отпирала собственным ключом и принималась распекать Вера за то, что ее сыночек перекормлен, что в доме не прибрано, что сама она одета, как женщина легкого поведения.

При маме он либо тушевался, во всем принимая ее сторону либо, напротив, орал, обвиняя в нарушении права на частную жизнь. Тогда она делала большие глаза и заявляла, что все понятно, «эта девка», она называла Вера «этой девкой», «эта девка тебя настрополила».

Сама она, кстати, не дура была гульнуть, наверстыvalа. Об очередном

романчике сообщали укорачивающиеся вдруг юбки, густая «шанель», резкий дрейф цвета нарядов в сторону оттенков розового и яркий макияж. Все это делало ее похожей на уцененный, истрепанный цветок.

Вера приняла решение, когда однажды они оказались за столом с иностранцем.

Знаменитый художник, а может, режиссер приехал и собралась компания из членов местного Олимпа. Шумно говорили, обильно заказывали. Ее умник рыбку попросил на гриле.

Иностранец русским владел прекрасно. Всеми падежами и причастиями.

Навострился, пока Россию любил.

И в пылу спора, то ли, как водится, о роли русских в самой страшной войне в истории, то ли о чем-то сопутствующем, Верин спутник рыбку наполовину обгрызенную отодвинул и начал иностранцу по-английски растолковывать.

И вот умник говорит и говорит, и бегло, ловко, надо заметить, шпарит, фразы строит, идиомы вворачивает и акцент не позорный, а иностранец ему по-русски да по-русски. Умник ему английскую тираду, а тот ему русскую пословицу. И так без остановки.

Дело в том, что умник мечтал нравиться.

Тем, кого с детства боялся.

Которые отвещивали пенделя в школе.

Которых отгоняла наседка-мамаша.

Которые срывали с него шапку и засовывали за шиворот глазированные сырки.

Спустя годы бедняга все еще презирал, ненавидел их и грезил, грезил, чтобы взяли в компанию, приняли за своего, хлопнули по плечу крепкой ладонью.

И это свойство управляло всеми его решениями и поступками, всей его жизнью. Горячо говоря тогда за столом об особом русском пути, о необходимости справедливых репрессий и прочей великодержавной атрибутике, он то и дело бросал робкие, ищащие одобрения взгляды в сторону прочих застольных, среди которых имелись бруталы из ультраправых, крепкие леваки и даже придворные из числа недавних футбольных болельщиков.

В пылу он не заметил, что все от его продолжительного соло приуныли.

Кто водки еще заказал, кто сигарету лишнюю запалил.

У мрачноватых слушателей крепкого телосложения, ради которых он старался, стала пробуждаться ненависть. Та особенная ненависть, которую сам не ощущаешь, которая является вдруг, как бы без причины, и может выплеснуться в зверское убийство. Трупы с десятками ножевых ранений являются результатом именно такой ненависти.

Иностранец отвечать перестал и только лыбился снисходительно.

А умник все ловчее его уделявал по-английски и даже на французском и латыни вкраплял, не замечая, что давно проскочил станцию, когда положение его было забавным, оставил в клубах полустанок «Комический» и давно несется один по степи собственной нелепости и того и гляди рельсы вовсе оборвутся и он угодит в яму, из которой, по крайней мере в глазах Веры, выбраться не удастся уже никогда.

Связавшись с ним в ноябре, Вера сбежала с первой майской грозой и небесный грохот поглотил хлопок двери. Вера ступала по опадающим на затоптанную лужайку лепесткам и отирала капли, сыплющиеся то ли с неба, то ли с потягивающихся после зимней спячки веток. Она отводила мокрую прядь

и улыбалась, как улыбаются девушки в кинофильмах минувших романтических времен. Покинутый сквернословил вслед.

Извлекать барыш из своих достоинств Вера, как и мать, так и не научилась, копить не умела. Сделавшись высокооплачиваемым сотрудником, она быстро привыкла жить на широкую ногу, ни в чем себе не отказывая, и даже с избытком. Заказав такси, любила задержаться, чтобы затем испытать удовольствие от оплаты одного-двух часов ожидания. Вызывала маникюршу по ночам, потому что днем работа, на выходные летала на пляж первым классом. Штучные платья, галерейные открытия в разных концах Света, недолгое, к счастью, увлечение белым порошком из группы сложных эфиров, одним словом Вера злоупотребляла.

Она никогда не принимала финансовой помощи, напротив, снабжала деньгами всех, кто нуждался. Ссужала не справляющихся с ипотекой коллег, жертвовала на беспризорников, волонтерствовала в больнице для неизлечимых.

Мыкаясь довольно беззаботно, она однажды повстречала банкира и тот поведал ей пышную и вместе с тем расплывчатую историю о собственном фонде с фантастическими перспективами, который претерпевает не лучшие времена. У нее как раз накопилась цифра для авансового взноса за собственную жилплощадь в новом фонде, но рассказы банкира отвлекли.

### Часть 3

\* \* \*

— Квартира хорошая. Район, соседи.

Представительница собственника, на азиатской манер мягкая и скругленная, перекатывалась по паркету, нахваливая объект.

Единственным украшением стен был ковер с девушкой, пробирающейся через густой бор с корзинкой в руках.

— Ты здесь все прекрасно устроишь, — проворковал банкир: — С твоим-то вкусом.

Он предложил оплатить весь срок вперед и выторговал скидку. Скругленная согласилась, наставив на оплате жильцами воды, телефона и, разумеется, электричества по счетчику.

Вере было хорошо оттого, что он взял на себя переговоры. Она сжимала его руку, но скоро вынуждена была отпустить — требовалась подпись.

Пересчитав стопроцентный аванс, агент недвижимости позволила себе высказывание.

— Очень рада, что нашла приличных клиентов. Сплошь нерусские ходят, таджики непонятные, кавказцы таборами. Дышать нечем. А самое ужасное, когда видишь русскую девушку с таким. Это ж как надо себя не уважать. Желаю вам счастливо здесь жить и ребеночка.

Она оказалась из той породы, которые до поры до времени помалкивают, а когда настает пора прощаться, начинают тараторить. Между фразами она дружелюбно скалилась, обнажая темные десны, подтолкнувшие банкира к мысли, что другие ее интимные участки так же темны.

Тут она схватила Веру за руку, бесцеремонно вывернула ладонь и взгляделась.

— Мальчик. Одаренный очень.

Вера рыпнулась, но спонтанная гадалка держала крепко.

— Вы не думайте, я умею. У меня все рожают. А у одной стал живот

надуваться, но нет у нее ребенка в руке и все. Смеялась надо мной, а через две недели того, выкидыш.

— Нам еще вещи перевозить... — прервал банкир, которому болтовня про материнство и детство показалась неуместной. И он покатил риелторшу к выходу.

— Хозяйка просила ничего не выкидывать. Табуретка, люстра, ковер... — протиснула напоследок говорунья.

Вера стояла у окна, когда банкир, выпроводив, наконец, сивиллу, подошел к ней.

Обнял. Приник.

Спросила, когда рейс.

Ответил.

Она отстранилась, пора.

Между ними дрыжками пролетела неизвестно откуда взявшаяся моль.

Предприняв несколько хватательных движений, он размазал насекомое в графит. Не зная обо что отереться, сунул руку в карман. Предпринял попытку поцелуя.

— Не надо.

— Не обижайся.

— Я не обижаюсь.

За стеклами творилась безжалостная в своей прелести, уверенная в собственной бесконечности, тридцать девять раз умершая и возродившаяся, весна.

Вчерашиние веники деревьев окутались зелеными клубами. Зацвели совершенно разнузданно, чуя, что гулянка продлится недолго, пока свежий ветерок не сметет лепестки и не раздует почки в пышные кущи. И они поглотят дома и людей, вспенятся так, что весь мир замаскируют от богова гнева и милости, а он, старый, про свою вотчину позабывший, потом вдруг чихнет и листва ссохнется, осыплется, открывая города, дороги и прочие предметы.

Все теплокровные беззаботно ликовали и только мамаша усилили надзор за чадами, чтобы не достались педофилам. Весенние же педофилы, преследуемые и гонимые, трусливо рыскали по виртуальным пространствам и, потеряв сон, тоскливо разглядывали желтый стикер луны, лепящийся к недолгой, кажущейся бесконечной, ночи.

Вера смотрела в окно, а сама была не здесь, не в арендованной на одиннадцать месяцев, чтобы не декларировать договор, однокомнатной. Не с бывшим уже, который мурлыкнул шесть последних лет, тянул с ребенком, потому что больная мать, а когда та умерла, выяснилось, что другая, помоложе, подсуетилась и теперь он вынужден Веру оставить, проявляет благородство — не желает никого обманывать и, вообще, Вера слишком для него хороша.

С молодухой же он теперь уезжает в Лондон, где есть завязки. А здесь повестка пришла, вызывают свидетелем. Сегодня свидетель, а завтра известно, как бывает. Да и рожать там лучше.

А ей отступные — аренда малосенькой, чтобы уютнее, квартирки на год вперед. Точнее на одиннадцать месяцев.

Вера хотела броситься, обхватить ноги, как в детстве обхватывала ноги отца и отец ходил, перенося ее, вцепившуюся обезьянку. Ей даже показалось, что обхватила, крепко-накрепко обвила, но когда дверь за ним закрылась, она все так же стояла перед окном, за которым перекатывал желваками цветастый, волдырящийся куполами, пыряющий заточкой телебашни, рассыпающийся рафинадом многоэтажек, петушащийся рекламами и застекленными, кто во что горазд балконами, город.

\* \* \*

Вера перевезла весь свой быт. Пластиковые короба, перемотанные картонки, скроллупу чемоданной пары, брезент и кожу дорожных сумок. Развесила ткани, расставила фарфор, в уголке притулила иконку со стойкой девочкой-подростком, своей святой покровительницы. Иконки Вера немного стеснялась, оправдываясь для самой себя и прочих детской привычкой, а вовсе не тягой к дремучим культурам.

Свободного времени хватало, уже почти два года журнал, в котором она была занята, закрылся и банкир отговорил искать новую занятость. Тогда она настроилась серьезно: квартира, духовка, общий досуг, его громадные тапки и ее миниатюрные. Доверительные отношения, основанные на любви и уважении. Книжку прочла, как жить с одним мужчиной и не захиреть.

Когда избранник в одностороннем порядке вышел из их затянувшейся предбрачной партии, Вера попыталась вернуться к работе. Тут и стало очевидно, что индустрия печатных фотосессий, интервью и гороскопов переживает куда более сильный кризис, чем она полагала. Издания закрывались одно за другим, а за редкие вакантные места велась беспощадная битва между претендентками моложе и ловчее.

Оставшись одна, Вера все реже покидала свое новое жилище. Одним из вечеров, когда жала отбойников расковыривали потрескавшийся за зиму асфальт, когда накладывали и укатывали новый, дымящийся и пахучий, когда гул моторов и грохот глыб аккомпанировали соловью, Вера уже привычно сидела в сумерках перед погасшим тачскрином.

Соседи сверху бралились, иногда просыпался, разбуженный загулявшим жильцом лифт. Вера откинулась на спинку кресла и не известно сколько бы находилась в таком положении, если бы вдруг не почувствовала на себе взгляд.

Девушка с ковра глядела прямо на нее.

Вера топнула по выключателю торшера — комната осветилась сотней золотистых ватт. Люстра добавила еще триста. В ярких, едва не слепящих, лучах стало ясно, никто на нее с ковра не смотрит, зато отовсюду лезут изъяны и трещины, на стенах пятна, по углам паутина.

Другому эти детали показались бы пустяками, но Вера смотрела через увеличительное стекло своего положения, и все недостатки, даже те, что и недостатками назвать решится не каждая хозяйка, виделись ей вопиющими.

Она поймала свое отражение в окне, приблизилась.

Блеклые губы — подкрасила, едва заметные ресницы — подвела.

Она стала скоблить плинтусы, выковыривать грязь из щелей, отколупливать капли засохшей краски, прижившиеся на стеклах со времен давнего ремонта.

Сколько ни терла, чище не становилось. Напротив, квартирка юродствовала, делаясь как будто грязнее и обшарпаннее, выворачивая наружу все новые заскорузлые уголки.

На Веру навалилась такая тщета, что дышать стало трудно. Будто она разгребает песок небытия, а он все прибывает. В окна, через вентиляционную решетку, сыплется из кранов, поднимается из сливов, наметается под дверь. И так его много, что она не справляется, и песок засоряет глаза, забивает дыхательные пути и она прекращает быть, сама сделавшись песком.

Подобные приступы начали случаться с ней после того, как отец отстриг косички. Она стала нуждаться в чем-нибудь грубом, даже смертельном, но чтобы

пульс, хоть на мгновения, затикал в вене. Девочкой, томимая неподвижной окружающей атмосферой, она желала ядерного конфликта, потом рассчитывала на инопланетян, потом на Миллениум, а позже, после нескольких лет затишья, стала возлагать большие надежды на швейцарский адронный коллайдер. Тогда многие у нас считали дни до пуска этого технического чуда. Вот врубят и начнется. Коллайдер включили да и выключили, что-то в нем не доработали. Потом, кажется, снова включили, может, этот коллайдер и по сей день вертится, но повлиять уже ни на что не может.

Теперь жажда катализма вернулась в одночасье. Чем нежнее становился ветер, чем отчетливее слышалось мурлыканье парочек, чем острее был запах свежей краски, которой замазывали скамейки и ограды, тем сильнее хотелось, чтобы все вожделенные катастрофы немедленно произошли. Отшвырнув тряпку, не оправив волосы, не переодевшись, Вера выскочила за дверь.

\* \* \*

С отъездом банкира обнаружилось, что Вера совершенно, в самом натуральном смысле одинока. Товарки повыскакивали замуж, а семейные пары не любят поддерживать отношения с незамужней и привлекательной. Муж боится, что такая подтолкнет его половину к гулянкам, жена — что муж оступится.

Друзей-мужчин не было, банкир-собственник ее огораживал, а редкие, прорвавшиеся через его ревность, интересовались ею только, как предметом реализации незамысловатых эротических фантазий и теряли всякий пыл, даже делались недругами, едва поняв, что поживиться не получится.

Вера была все еще очень хороша, но повсюду сновали представительницы новых поколений, находящиеся в разных фазах цветения молодости. Она чувствовала, что пространство вокруг нее, всегда искрящее от мужских взглядов и неприличных предложений, погружается в штиль и скоро будет напоминать вакуумную пустоту. Привыкнув, что поблизости всегда кто-то вьется, Вера теперь напоминала корабль-долгострой, который решили бросить, на воду семейной жизни не спускать, а вместо этого разобрать стапели. Последнюю подпорку вот-вот уберут, он завалится набок и будет медленно ржаветь, служа печальным примером.

Того и гляди придется переходить, как многие ровесницы, на вахтовую любовь — полгода томишься на родине, полгода рыщешь по азиатским пляжам, чтобы хоть по-быстрому пригреться возле одного из тамошних торговцев фруктовым соком.

Она зафиксировала свое отражение и разместила на сетевой страничке. Никто не похвалил даже из жалости, лишь какой-то хмырь похабщину написал в личку. Она стала похожа на брошенную лошадь — тыкается мордой и не знает куда податься.

Как-то раз она шла по тротуарам без всякой цели и не сразу услышала, что ее окликают.

— Оглохла, подруга?! — в самое лицо, наконец, крикнула Наташа, смутно опознанная институтская знакомая.

Наташа складывала в блестящий автомобиль картонные пакеты с гербом роскошного, расположенного напротив, магазина. Рядом толкались два мальчики, лет семи и десяти на вид, из той породы сытых, царственных детей, портреты которых регулярно размещали в родительской рубрике Вериного журнала.

Нельзя было сказать, что Вера обрадовалась встрече. Она просто не

противилась Наташе, относящейся к тем особам, которые все понимают без слов, которым ничего не надо объяснять.

У одного из малолетних, Вера не поняла у которого, скоро день рождения. Соберутся знакомые со своими, мелких изолируют в детской, а взрослым — выпивка, веселье и неожиданные встречи.

Последние слова Наташа произнесла выразительно.

Вера сопротивлялась, идея оказаться в доме замужней, явно при деньгах, не привлекала, но от Наташи было не отделаться. И Вере вдруг захотелось подчиниться, пойти куда зовут, прикорнуть и отдаться.

\* \* \*

Владения Наташи встретили стриженою травой, дрожащими языками факелов и гроздьями надувных шаров, облепивших кипящую в клетке оконных рам, полыхающую киловаттами веранду.

Помешкав на ступенях, ловя запахи майского газона, Вера ступила в пекло и ее сразу захлестнуло детскими голосами, заволокло запахами обеспеченных, устроенных и борющихся с лишним весом.

Вдоль стен громоздился ансамбль модной мебели. Электричество сверкало в хрустale сосудов, перламутре губного блеска и полированных поверхностях. Смуглые плечи дам и блестящие лбы кавалеров густели множеством оттенков благополучия. Обстановка была точно, как в Верином журнале о дорогих интерьерах, именно той, какой и должна быть обстановка у достойных людей с развитым, в меру консервативным вкусом.

Хозяин дома, супруг Наташи, напоминал борца, идущего на противника. Лицо его было из тех, про которые говорят, что по внешности не судят. Если он и не убивал своими руками, то вполне мог бы. Впрочем, человеком был явно не злым.

Гости топтались на всей площади просторного помещения и подпитывались от столов с напитками и закусками, из-за которых улыбались юные фартучные лакеи. Вера забилась в угол, неподалеку от сидящей в кресле мамашы с южной внешностью, чья дочь, младшеклассница, то и дело подбегала за вкусненьким. Угощения в детской девочку не удовлетворяли.

Мамаша задарма не баловала, требовала стишок или название столицы далекого государства. По традиции колхидско-каспийского высокого происхождения, она говорила с дочерью по-английски или, в крайнем случае, пересыпала свою речь английскими словами. За правильный ответ девочка получала лакомство, а неправильный ее оного лишал и обязывал сделать запись в специальной тетрадке — Книге Ошибок Жизни, которые следует исправить.

Наведывалась девочка часто, что вызвано было либо ее прожорливостью, либо избытком знаний, которыми она жаждала поделиться. Она так разошлась, что даже крутанула гимнастическое колесо, которое завершила шпагатом. Чудеса ловкости вызвали ленивый восторг, девочка получила умеренный, чтобы не разъестся, кусочек ягодного пирога и только по Наташе было видно, как она едва сдерживается, наблюдая, как южная мамаша норовит ее переплюнуть.

Вообще, присутствующие дети сплошь были воплощенными мечтами взрослых. Того мальчика отправили учиться в открытую горную страну, потому что отец в его годы и помыслить о подобном не мог, а та девочка уже побеждает в конкурсах, о которых мать в свое время даже не слышала.

Повсюду царил аристократизм вроде того, что встречается у стюардесс,

обслуживающих первый класс. Прибирая за своими состоятельными подопечными, стюардессы начинают поглядывать сверху не только на коллег из «эконома», но и на их пассажиров. Аристократизм насмотревшихся.

Вера была подавлена, все ей было не так: лица казались надменными, улыбки вызывали подозрение, собственное платье представлялось немодным, приехала без сопровождающего, машинку свою подержанную специально по-дальше поставила, даже ребенка при ней не было. Такие показатели ставили ее на самую низкую ступень женской состоятельности.

Всем нам бывает трудно созерцать чужой, так называемый успех. Чужие дворцы нам не по вкусу, мы бы оформили иначе и непременно лучше, чужие отпрыски дурно воспитаны и глуповаты, наши куда приятнее и умнее, чужие достижения раздуты. Только чужие мужья и жены кажутся привлекательнее, чем есть на деле, но это повод для другого рассказа. Одно ясно, чужой блеск — зеркало и не каждому под силу видеть свое отражение.

Гостей меж тем разделила половая принадлежность.

Мужчины спорили о достоинствах и недостатках той или иной модели огнестрела, о недвижимом имуществе в теплых краях, о народе, о том готов ли народ к свободе и приходили к выводу, что не готов.

Женщины обсуждали театры, очередное переустройство дома или сада, и каждая успела хотя бы по разику справиться у Веры о муже и детках.

Нет?

А почему?

Ой, зря. Детки — лучшее средство от хандры. Лучше шопинга и заграницы. И кокаина... шепотом. Сейчас такие технологии — я однажды троих разом принесла.

Детородные ударницы строили на лицах сострадательность и настойчиво советовали не забывать о неумолимых биологических часах. Искусить местного, иностранца, анонимного донора, хоть кого. Впрыгивать в уходящий вагон. Эти советчицы наседали и даже некоторые мужья, привлеченные Вериными кудрями и разговором, присоединились и стали совсем по-свойски ее отчитывать. Нельзя быть репродуктивной эгоисткой, надо рожать побольше русских. Она отступала, ее загнали в угол, продолжая сочувствовать и желать добра.

Веру спас тост Наташи, произнесенный за здоровье хозяина дома. Пока та нахваливала своего медведя, надежного мужа, заботливого отца, верного слугу государства, Вера сдерживалась чтоб не проорать:

Я вас ненавижу и презираю!

И завидую вам!

И боюсь быть такой, как вы!

И мечтаю быть такой.

Она выскользнула из окружения, поблуждала, наткнулась на горизонтальную плоскость, заставленную питьевым стеклом с отпечатками губ, увидела предназначенный для зажигания свечей коробок.

Стала чиркать и смотреть, как бежит огонь, как деревянная плоть чернеет и гнется. Спички гасли, она зажигала новые и думала, сколько у нее теперь могло бы быть деток. Вспоминала, прикидывала. Тот бы сейчас уже школу заканчивал, а эта бы только пошла в первый класс.

Наташу нельзя было упрекнуть в невнимательности. Озвучив очередную порцию восхищения супругом, она передала слово какой-то болтушке, которая долго могла стрекотать, подошла к Вере, забрала коробок, чиркнула и сунула в рот.

А затем достала спичку уже потухшую.

И дымком дыхнула.

И повлекла Веру комнатами.

Мимо игровой, где отодвинув приглашенного клоуна, их сынки разбирали подарки, позволяя гостевым детям играть, чем попроще и узурпируя лучшее.

Мимо библиотеки, где декоративные панели в виде книжных корешков, маскируя ироничные детективы, имитировали «умную» литературу.

Мимо компактного рояля, на крышке которого сидел вполне натуральный карликовый терьер — любимая собачка Наташи, недавно почившая, по просьбе безутешной хозяйки выпотрощенная, вымоченная, пропитанная, набитая соломкой и отныне вечная.

Наташа потрепала точно такого же, вертевшегося в ногах, и потащила Веру дальше.

Среди всей этой обстановки, в которой даже сами хозяева, сколь ни обживались, выглядели чужими, за одной из полуприкрытых дверей, Вера мельком увидела стену его кабинета. Позади широкого и пустого, словно покинутый аэродром, стола на стене была роспись — поляна в густом еловом бору. Посреди поляны, на поваленном дереве играли медвежата.

В этой мелькнувшей лесной сцене, совсем не вяжущейся с леденящей безупречностью других помещений, содержалось неожиданно проявленное упорство, сопротивление дизайнеру, жене, не желавшей понять и принять вздорную интерьерную самодеятельность мужа и что-то еще, неясное, но куда более могущественное.

Вера готова была спорить, что отец семейства, борец и вероятный убийца, запирается иногда здесь и смотрит в нарисованный лес и в медвежат. И благоухающая прохлада, запахи мха и хвои овеивают его, питают что-то иррациональное, бессмысленное и русское, что теплится на дне его законопаченной откатами и решенными вопросами души.

Наташа, приехавшая в город на семи холмах сразу после школы, добилась полного потребительского триумфа. Ее детство состояло из непригодного закутка, облупленной эмали, окошка с замазанными трещинами, а за окошком яма, кое-как закупоренная будкой сортира и вся Россия позади. Единственным лакомством была разогретая на сковородке и остуженная, перемешанная с солью, скатанная в катышки сметана, которая, если есть с закрытыми глазами, не отличалась от черной икры. Рецепт гуляя по местности и якобы исходил от видавшей виды секретарши начальника ГУВД, которой можно было верить. Наташа произрастала из слежавшейся, утрамбованной нищеты, которую даже огонь не возьмет, потому что воспоминания не воспламеняются.

И вот она вырвалась с полиэтиленовым пакетом, в котором пара застираных вещичек и банка собачьего жира от простуды. И у нее теперь семья по всем понятиям, дом, сыновья, муж-кормилец. Чего еще может желать обыкновенная, соскальзывающая к сорокалетию россиянка с отзывчивой щелью, исправным желудком и здоровыми косметико-кутюрными потребностями.

Когда они добрались до самых недр, до хозяйствской спальни, Наташа толкнула Веру на бархат покрывала и нависла над ней своим, отшлифованным спортом и регулярным массажем, слегка лишь ненатуральным, телом.

Она посмотрела на Веру и вдруг нанесла ей такой поцелуй, что сначала захотелось оттолкнуть, потом расхотелось, а потом уже сама не знаешь, чего хочется, потому что себе больше не принадлежишь и вообще не существует никакого «я», только тягучее марево.

— Запустила ты себя, — ласково пожурила Наташа, перебирая Верину кудри. — Седину не закрашиваешь. — Меня вон мать не кормила, сиськи не выросли и что я, скисла? Грудь вперед и пошла, — и Наташа повела расправленными плечами, демонстрируя деликатную, но выпуклую работу хирурга.

Вопреки кажущейся самоуверенности, Наташу терзали сомнения. Она не могла избавиться от чувства, что муж, сыновья, банковская карта, членство в спортклубе, собственность, — что все это ей не принадлежит. Каждое утро проверяла имя вкладчика, цифры на счету, караты, номера свидетельств, но непрекращающаяся течь истощала ее. Она накупала продуктов больше чем могло употребить семейство, с расчетом вскоре обнаружить плесень и с наслаждением выбросить. Она нанимала и увольняла прислугу, летала на сутки за тысячи километров, жертвовала нуждающимся, делала все, что и Вера когда-то себе позволяла, но не из-за беспечности, а ради того, чтобы ощутить свое пространство и место, поверить в систему координат, убедить себя и других в том, что это все она и это все ее.

В первые годы она, тмурааканная оборванка, без денег, связей, фигуры и милой мордочки, по утрам бежала на лекции, а потом до поздней ночи тарелки грязные в кабаке собирала, а в остальное время старика, заживо тлевшего, подтирала за право бесплатно ютиться на соседней койке зловонной комнаты возле кольцевой.

Она со своим лицом, похожим на подъезд шестнадцатиэтажного панельного дома, имея на руках швали, которой ее наделили природа и непутевые родичи, разыграла свою партию с такой ловкостью, так хитрила и блефовала, что все козыри покрыла, а у этой столичной цыпры, распростертой теперь перед ней, золотые деньги пролетели, ни денег, ни детей, ни мужика. Щемящая радость от совокупности фактов бодрила Наташу.

Если спросить ее, так ли это, ни за что бы не признала. Она и сама до конца не осознавала весь масштаб своих чувств к Вере и подобным. А доброго совета, сострадания ей не жалко, она и деньгами может ссудить, не обднеет, ейный еще нагребет. Зато сколько потайной радости, если Вера не сможет вернуть. Если начнет юлить, просить отсрочки, мелочь ненужную мальчишкам таскать, а потом исчезнет, перестанет отвечать на звонки и сменит номер. Тогда Наташа в счастье будет плескаться — честная, порядочная, не приезжая, прячется от нее из-за неспособности отдать пару-тройку тыщенок зелени, изводит себя укорами, начала выпивать, проклинает судьбу и покоя не ведает ни днем ни ночью.

— Ребеночка тебе надо, — дышала Наташа, пока ее пальцы наматывали и распускали Верину пряди, касались шеи, вскрывали кокон платья. — Думаешь, откуда мои взялись? Думаешь, я подгузники люблю менять или этого к себе привязать хотела? Я себя кончить хотела с тех пор, как меня в четырнадцать отчим отымел. Я его в каждом мужике вижу. Глупо, но не в моей власти. А мелкие хоть как-то примиряют. Первого родила — отпустило. А когда снова стало накатывать — чпок и второй. Я бы еще одного заделала, так тошно иногда, ни таблетки, ни вискарь не помогают, но после кесарева в завязке, доктора запретили.

— Ужасный человек. Я не знала... — хрюплю отозвалась Вера.

— Кто ужасный? — удивилась Наташа.

— Отчим...

— Нормальный мужик. Я ему на праздники деньжат посылаю. А вообще,

ушами хлопать нельзя. Я своего взяла, когда он только начинал, на стадии котлована, так сказать.

Признания и вероломный интимный произвол обездвижили Веру. Она удивлялась всему и самой себе, своему организму и разгорающемуся огню, который отныне будет делаться только жарче, пока не сожжет ее саму, спалит в прах и из праха прорастет она новая. И неизбежность этого, и страх этой неизбежности, и жажда ее встали перед Верой необъятной, пульсирующей картиной, за которой двумя неотвратимо приближающимися кометами пылали Наташины глаза. И она держалась сколько могла за этот взгляд, а потом сорвалась и полетела вверх тормашками, выгнулась, челюстью задрожала и белки конвульсивно блистали в щелках под опавшими веками.

— Сейчас митинги. Оппозиция. Жулики и воры. Героям слава. Слыхала? Хорошего мужика найти трудно, но одна точно не останешься, — напутствовала Наташа, накрыв Верин рот ладонью. А потом к себе прижимала, когда та плакала.

\* \* \*

Вернувшись к себе, Вера сразу прошла на кухню, отворила газ и распахнула духовку. Тонкий свист возвестил о прибытии приятной вони, которая сначала махнула по ноздрям, а затем крепко накрыла. Опустившись на колени и придавив повернутую ручку пакетом сахара, чтобы газовая струя не прерывалась, Вера нырнула в духовку. Пробыв в таком положении с минуту, она с горловым клокотанием отпрянула. Умылась, распахнула окна и рухнула на диван.

Одурманенная, она смотрела в стену, где висел ковер. Перед ее взором колебались тени и плыли пятна. Вдруг невидимая рука отодвинула ковер и показался проем, по ту сторону которого топтались два темных громилы. Они норовили войти, но тыкались лбами о притолоку, не догадываясь наклониться. Наконец кособоко притиснулись, приблизились, потянулись к ней.

— Хорошие волосы...

Вера очнулась.

Изо рта натекло.

Ни один звук не нарушал пещерной тишины.

Ковер висел на прежнем месте.

Густой мох, еловые лапы, женщина несет корзинку.

Мать была красавица, красивее Веры. Колени изящнее, лодыжки тоньше, спина прямее, грудь пышнее. Волосы, пусть не белые, как у Веры, но пушистые, блестящие.

А взгляд у этой, на ковре, точно, как у Веры — серебряный.

Интересно, что в корзинке? Грибы, ягоды, пирожки для бабушки?

Стало казаться, что еловые лапы покачиваются, женщина подходит ближе, того и гляди шагнет в комнату.

Вера, шатаясь, встала и приблизилась к нахалке.

Всмотрелась.

Пыльная красавица нуждалась в хорошей чистке.

Нащупав петельки, которыми ковер крепился на гвозди, прижаввшись невольно к ворсу, Вера испытала отвращение. Будто вынудили надеть чужое грязное платье.

Задержав дыхание, принялась отцеплять. Освобожденный верхний угол

ковра стал загибаться, заворачивая, закатывая ее. Еловые лапы обнимали, тканое лицо коснулось ее лица, губы запечатлели колючий синтетический поцелуй.

Оборвав последнюю петлю, Вера оттащила ковер от стены и, глянув на то место, где он только что висел, обмерла. В темном квадрате невыцветших обоев была дверь.

\* \* \*

Политика — дело мужчин, не потому что не доступна женскому уму, а потому что не способна женский ум увлечь. Женщину интересуют определенные вещи: жизнь и смерть, еда и голод, семья и одиночество. Вера не была исключением и за буднями страны и мира следила невнимательно. Послушав совет Наташи, стала интересоваться новостями и увидела удивительные страсти.

Физлица разделились на две неравные группы: девять из десяти причисляли себя к патриотическим силам, а один, порой помимо собственного желания, обозначался либералом. К последним относили всех, кто ставил личные интересы превыше прочих, патриотами же были остальные, не столь приземленные, измеряющие свои зачастую тесные неприбранные жилища государственным аршином, жаждущие величия державы, гордо реящего стяга и других поэтических ценностей.

Вера подумала, что женщины, традиционно пекущиеся об уюте и потомстве, по сути своей почти сплошь либеральны в пику патриотам-мужьям, мыслящим интересами народов и государств. Но теперь все перепуталось — многие хозяйки принимали горячее участие в борьбе, в то время пока их недоумевающие мужчины учились самостоятельно готовить ужин.

Нация напоминала стадо, затоптившее пастуха, объевшее пастбище и не знающее, как найти новое. Нация рылась в старом тряпье, прикладывала к себе портреты истлевших героев, иска сходства, цеплялась за прошлое, скреблась в ржавую броню и падала ниц перед крошащимися монументами, безутешно скрепала об утрате кусков географической карты, грозилась кому-то не всегда отчетливому, как когда-то престарелая Эстер грозилась видимым одной только ей обидчикам. Осознавшая вдруг, что молодость миновала, а наследство профукано, нация страдала скачками настроения, то делала выпады, то хохотала неприлично, вспыхивала гневом из-за пустяков, не замечая предметов существенных.

Улицы и площади то и дело подкладывались под организованные колонны сторонников официального курса и нестройные шаги взволнованных, малочисленных противников. Если первые требовали отъема у соседей исконно русских территорий, то вторые выступали за раздачу собственных земель, первые, размахивая святыми ликами, гоняли любителей однополых брачных союзов, вторые боролись за уважение к таким союзам и чуть ли не повсеместное введение однополой практики.

Вера посетила пещеру ночного веселья, но в ритмичной толкотне танцпола, прошаривающаяся одноразовыми взглядами, она с предельной ясностью поняла, что не хочет стать добычей охотников за суетливым интимом. С такими быстро становишься старой, в ажурных колготках и со злым лицом, какое часто бывает у женщин в ажурных колготках, утомленных нескончаемым поиском.

Оторвав от себя щупальца дискотеки, Вера вернулась домой и принялась изучать расписание протестных и верноподданных выступлений. Обнаружив, что ближайшим состоится сбогище именно протестное, Вера решила не пропус-

кать, хотя политической позицией так и не обзавелась, купила новые брюки, подчеркивающие талию, а накануне сделала ногти и прическу.

Таинственную дверь она снова завесила ковром. Та оказалась заперта и, решив, что хозяйка оставила во второй комнате какие-то свои вещи, а риелторша забыла предупредить, Вера перестала о двери думать.

\* \* \*

Запоздавший май перевалил за середину, торопливо поспевая положенное и опережая график. Луковицы тюльпанов еще не были выковыряны из клумб, а сирень уже источала ароматы, голуби гонялись друг за дружкой, тряся головами на манер молящихся евреев, намылившиеся после зимы тополя роняли белую пену.

Пена была везде, в бордюрных и плинтусных углах, в пересохших фонтанах, в чашечках и рюмочках, в черных лесных речках, скользящих среди наваливающихся стволов. Речки те ледяные, дно песчаное щекочут, от лапиц зеленых увертываются, а гладь совершенно рояльная и пух по глади.

Самые педантичные хозяйки, закупорившиеся москитными сетками, опускали руки и со смирением смотрели на вальяжно летающие по интерьерам пушинки. Аллергики отекали и слезились, дети-поджигатели чиркали возле белых комков, вспыхивающих мгновенными языками.

И пора пену уже было смыть, но везде счетчики, это раньше лей не хочу, а теперь каждая капля — копеечка. И небо поважничало, но так и не дождавшись молитв ни от мирян, ни от своих заматеревших вассалов, сдвинуло тучи и, брюзжа громами и сыпля молниями, окатило утративший всякую совесть, распоясавшийся город. Омылись тополя, а заодно вся земля смыла клоки и лепестки, и представала пышущей, сочной, колышущейся.

Отряхнется земля, осмотрится и пустится во все тяжкие, а месяца через три принесет в подоле, истортнет урожай и будет еще хороориться, наверстывать, гарцуя своей увядающей роскошью. А потом начнет тускнеть и осыпаться, пока не свалит ее ветер, мороз и понимание, что в таком виде уже нельзя, и она ляжет, натянет на себя ледяную корку, в сон беспробудный впадет, пока не очнется пыльная, измятая, свежая. И опять за старое.

Когда тополиной пены набралось уже много, а небо только начало погромыхивать, назначенный день настал.

Поблизости от места проведения стали цепляться молодые мужчины-попрошайки.

Сестра, помоги бродяге.

И почему она всегда подает?

Откупившись мелочью от собственных сомнений, не испытав ни благости, ни облегчения, Вера отдалась переулкам.

Здесь в боевые порядки строились государственные резервы. Пластмассовые латы и камуфляж оформляли правоохранительную гущу в плечи-бока-зады. Забрала блестели, береты с набрякшими кокардами закупоривали головы, под тельняшными грудными треугольниками перекатывалась мышца. Автобусы с зашторенными окнами покачивались подкреплением. Броня урчала, винт взбалтывал небеса.

Вера подумала, что смутияны должны ощущать себя серьезной силой, видя эту подготовку. Одиночки и целые группы таких обгоняли Веру, они торопи-

лись за поворот переулка, торопились потерять себя, слиться с другими, стать частью гудящего, наливающегося там, за домами.

Вера невольно ускорила шаг, будто гладиатор или футболист, спешащий на арену. Последние метры она бежала.

\* \* \*

Людское варево кипело и вихрилось. На поверхность то и дело выносило дребезжащих старушек с самодельными штандартами. Булькала молодежь в разноцветном. У краев сбивалась пена осторожных интеллигентов. То и дело выныривал, звякая медалями, единичный ветеран. Фотографирующие руки торчали перископами, но все же первенство по численности держали всевозможные представители силового царства.

Лица начинающих полицейских не были выделаны ни страстями, ни страданиями и походили друг на друга. Возрастные, напротив, удивляли разнообразием типов и выражений: толстяки и сухопарые, флегмы и горячо переживающие, поучаствовавшие в крестовых походах регионального значения, насмотревшиеся, уставшие, с оплавленными душевными рецепторами, нехотя думающие, изредка сочувствующие, но чаще горько презрительные. Такие смотрели на молодых демонстрантов, как на нерадивых сорванцов, а на сверстников с выражением «куда же тебя занесло, сидел бы дома, я тебя понимаю, я с тобой согласен, но если бы не служба, хрен бы я сюда по доброй воле сунулся».

Лица участников митинга переливались надеждой. Людей в штатском выдавала готовность.

Наташа оказалась права — свободных мужчин в самом деле бродило множество, аккуратные и расхлябаные, хамоватые и предупредительные, полные и дистрофы, патлатые и как коленка.

Ее одногодки. Плюс-минус.

Гордые трофеями предков, надышавшиеся пылью рухнувшего советского государства, устроившиеся в новом обществе или оставшиеся на обочине, и одинаково этим обществом недовольные.

Одни явно пришли, чтобы быть схваченными, притиснутыми, опрокинутыми. Быть подчиненными и вырываться для того лишь, чтобы снова затеять игру. Другие желали смять пластмассовых и камуфляжных, распорошить панцири, посрывать головные шары.

Все они стройно и сбиваясь кричали отдельные слова и фразы. Все, и подгоняемые тестостеронной страстью юноши, и умудренные годами мужи, льнули к Вере, даже трогали невзначай, точно карманники, которые прижимаются для того лишь, чтобы обокрасть, а смотрят мимо, вдаль, типа не при делах, типа им что-то великое ведомо.

Вера заглядывала в их глаза, как собака, привязанная у магазина, высматривает хозяина. Они же приподнимались на цыпочках, силясь увидеть что-то самое важное, не догадываясь, что увидеть ничего нельзя, как ниглядывайся, потому что там ничего нет, а все, достойное внимания, расположено перед носом. Но этого никто из них не понимал, как и отцы их, и деды, и прадеды, как не будут понимать потомки, пока род Адамов андрогинной толерантностью с лица Земли не сотрется.

Прямо на Вера вынесло пару рифленых подошв. Четверо, один в своем и трое в униформе, тащили задержанного на манер тарана. Глазами тот сосредото-

чился на собственном, выкатывающемся из-под рубахи пузе. Будто гипнотизировал его, чтобы не расплескать. Фотографирующие руки тянулись через плечи несущих, как когда-то Вера тянулась через занавеску душа, фиксируя шутливо протестующего банкира.

Каждый из конвойного квартета представлял разное.

Передний бугай с крупным значком «независимый наблюдатель» сжимал правую бледную щиколотку. Все его лицевые мышцы напряглись, будто он страдал непроходимостью.

Его напарник по левой ноге имел, напротив, выражение мечтательное. Казалось, он прогуливается с возлюбленной по вечернему приморскому променаду.

Ответственный за левую руку улыбался так, будто не человека нес, а бревно на деревенской стройке, где всем миром помогают молодоженам срубить пятистенку.

Четвертый явно испытывал неловкость. Неловко ему было и за себя, и за коллег, и за пойманного, и за фотографов, лепящихся к ним, как очаги цивилизации лепятся к дельте Нила, и даже, кажется, за вконец обнаглевшее солнце, которое пялилось сверху своей пресыщенной круглой харей.

Вот они, все пятеро, ее потенциальные одноклассники, ухажеры, мужья. Одного из них прочит ей Наташа, с одним из них она обязана быть счастлива.

На сцену стали взбираться ораторы. Были и вполне горластые, которые складно обвиняли и яростно уличали. Вера даже завелась немного и что-то такое прокричала хором с теснившими ее соучастниками. Но только все у ораторов выходило половинчато. Они не призывали прорвать государевы фаланги ордами старушек и студентов, не вели собравшихся на штурм. Так делают или нерешительные любовники, страшавшиеся последнего шага, или любовники хитрые, сознательно последний шаг откладывавшие, разогревающие сразу нескольких, чтобы при удобном случае воспользоваться одной. Ораторы погла-живали толпу, как женщину, и когда она раскалялась до стона, сбавляли пыл.

Вера чуяла смутное возбуждение окружающей среды, смиренное страхом, воспитанием, пластмассовой броней, застегнутыми ширинками. Возбуждение росло, а Вера превратилась в пузырь кислорода в толще, в раковину пустоты в ворочающейся человеческой лаве. Обстоятельства сдентонировали, ее вселенная расширялась, желая прорваться и то ли поглотить все окружающее, то ли в окружающем раствориться.

Веру качало и влекло, людские буруны перебирали ее, но оболочка пузыря крепла и ничего Вера уже не желала сильнее, чем побороть физические законы, пропороть и впустить в себя эту громаду и толщу, заполнить себя громадой и толщей, самой стать громадой и толщей, и навсегда перестать быть.

Она ни за что не превратится в полость одиночества, застывшую в людском безразличии. Сольется со всеми этими мужчинами хотя бы в крике.

И Вера закричала.

Но ей не вторили, не присоединялись. Она вопила отчаянно, освобождая вокруг себя пространство. Ее заметили, смотрели уже не поверх голов, а в упор. И стали пятиться. А она каждому в лицо орала.

Ворворврор!

Славаславаслава!

Слишком уж Вера увлеклась. Как если бы на концерте голосила, не переставая, «браво». Все прочие зрители уже угомонились, а она все «браво» да «браво». Соседи бы стали отодвигаться, шикать, а она бы выскочила к сцене,

схватила скрипача за плечи и в самое лицо: «браво!», виолончелисту — «браво», альтисту — «браво», пианист пытался отпрыгнуть, но и ему «браво, браво, браво». И тогда Вера ударила бы по клавишам и, повернувшись к залу, крикнула бы...

Она и вправду стала протискиваться к трибунам.

— Провокатор... — зашипели вокруг. — Провокаторшааа!!!

Ее схватили. Прямо за лицо. Чужие соленые пальцы смяли нос, ногти с грязными ободками полезли в рот. Мелькнул наколотый перстенек, колечко «спаси и сохрани» ударило о зубы.

Наконец-то ее трогали. Не трусливо, воровато, походя, а конкретно ее, Веру, хапали, заламывали, опрокидывали.

Она цапнула и во рту посолонело.

И она побежала на объективы, мобилы и планшеты, которые в тот день были вместо лиц.

\* \* \*

Веру поволокли и она увидела верх. Самолет чертил белым по синей заливке. Самолет расстегивал небо, но оно быстро заастало. Так и у бунтовщиков с Россией. Они ее по шекам шлепают, нашатырь к физиономии сонной подносят, тормошат, хоть рассмешить пытаются, хоть разозлить, все впустую. Утратив надежду, пинают ее, колют булавками, зажигают бумажные жгуты между пальцев, и если удается разбудить, она крушит все вокруг и тем, кто потревожил ее, в первую очередь достается. Но они всему рады, хоть какое, а внимание. А потом снова сон, храп и непроизвольные ветры.

Колесный арестантский ларь, которому скармливали задержанных, встретил Веру запахами свежей нитроэмуали, резинового пола и деревянных скамеек, всех этих внутренностей свежеклонированного для усмирения подданных существа. Обнаружив себя после непродолжительного кувыркания в замкнутом чреве, Вера не успела отряхнуться, как дверца снова распахнулась и полицейские вогнали новое трепыхающееся тело. На этот раз полноватого бородатика, который вопреки своему комическому положению умудрялся сохранять достоинство и попросил у Веры прощения за то, что невольно толкнул.

Вера огляделась, перед ее взглядом предстали мужчины всех сортов: взрывной тихоня и флегматичный баламут, благообразный пенсионер, эксцентрик со стрижкой и тихий, неприметный псих. Одни возились со смартфонами, другие затеяли бурные прения. Атмосфера была будто ночью в общей спальне подросткового лагеря: взрослых нет и воздух пьянит.

Веру оглядели быстро, каждый по-своему. Юноша с коком вскинул и тотчас убрал глаза, чистенький дед обсмотрел со старческим трепетом и возобновил монолог о коррупции, средних лет пассажир зыркнул со стыдливостью извращенца и продолжил кушать из пакетика, а один лениво провел по ней взглядом и вернул зрение к тачскину.

Все невольные попутчики глянули и отвели взоры, но она знала — все они теперь думают о ней, говорят с учетом. Все разом, одновременно, друг с другом не согласуясь.

Память подбросила картину из юности: рисовальный класс, полтора десятка рук фиксируют студентку педагогического ПТУ. Подрабатывает натуращицей, замерла, отдается и принадлежит всем разом, совершенно, впрочем, целомудренно. Тишину нарушают только звуки склывания и штриховки. Вера тогда намечала телесные очертания и думала, что интересно, наверное, вот так принадлежать всем. И мысль эта с тех пор не давала покоя. Вскоре на глаза

попалось объявление — требуется модель для боди-арта. За четыре часа, уходящих на создание изображений на ее теле, предлагалась универсальная сумма — сотня долларов. Отсутствие интима кокетливо гарантировалось.

Пробы проходили почему-то в помещении футбольного союза. Встретил плотный, как батон «телячье», усач. Спросил, чем занимается, пообещал пристроить оформителем в спортивный листок, попросил раздеться. Пока стаскивала, стягивала и вешала на спинку стула одежду, ходил из угла, бросая взгляды, которые маскировал под деловые. Несколько раз крутанул глобус в виде мяча. Когда осталась в одних трусах, торопливо попросил и трусы.

И трусы?

И он дакнул несколько раз. Да, да, да! И трусы!

И от своего порыва покраснел до вареной ветчинности.

А когда сняла, забегал. Каблуки стал искать. Как же так, пришла без каблуков. Ох, ах, большое профессиональное упущение. И от этой его суэты она утратила стыд. Она его смущала, а не он ее. Он боялся навести на нее глаза. Она попросила воды и закурила без спроса, и он поднес стаканчик и пепельницу услужливо подставил.

Каблуки у него нашлись и он их Вере протянул и спросил можно ли других специалистов позвать.

Чтоб оценили.

Не успела она осознать, как помещение наполнилось умеренно солидными, и коньек уже колыхался в стаканах, и сигаретный дым лежал в воздухе коржами. Инициатива выскользнула и вот уже ее по-свойски попросили подвигаться, встать так и так, показать стерву и блудницу, а один без дозволения стал делать полароидные снимки.

Сначала созерцали по касательной, но круги сужались. Смотрели уже открыто, причмокивали, клонили головы набок. Самые решительные вскоре и вовсе стали перекладывать пряди на ее плечах, то и дело отстраняясь, оценивая и снова перекладывая. И вот уже кто-то требовал, чтоб наклонилась, нетерпеливо прогибая ее спину ладонями.

Пробы эти вполне могли далеко зайти, если бы Вера, с трудом разгребая откуда ни возьмись навалившееся марево, не принялась собирать одежду, которую сначала игриво прятали, а потом нехотя вернули. Освоившийся организатор, вспомнив вдруг о поводе их встречи, попрощался задумчивым выводом, что данные у нее имеются, но требуют огранки. Ей следовало явиться на другой день, уже с платьем и каблуками, для оттачивания мастерства движений и вокала, столь необходимых в искусстве боди-арта. И вообще, ни в одном же рисовании смысл жизни, на свете есть много других интересных занятий.

Больше она в тот футбольный кабинет не ходила, а ценитель красоты потом называл, обиделся и устроил телефонную сцену обманутого наставника, брошенного вероломнной дебютанткой.

\* \* \*

Протиснувшись в корму фургона, Вера села на свободное место, а доставленный за ней следом бородатый господин устроился возле. Скамейки в рядок напоминали устройство класса, в котором вместо учителя стенка водительской кабины.

Тем временем один молодой задержанный привлек общее внимание расска-

зом. Явившись из недалекого региона бороться с фальсификацией выборов, он до митинга так и не добрался. Так долго копил негодование, что не утерпел и начал бузить еще на подступах, где и был скручен. Сам он за восстановление империи. Недавно даже ездил что-то куда-то водружать, да не доехал, по пути сняли с транспорта и закрыли на сколько-то суток. А еще он пролез по фальшивому билету на какую-то пресс-конференцию и задал первому заму кого-то очень важного, Вера тотчас забыла незнакомое имя, заковыристый вопрос.

Вере стало жаль мальчишку за то, что он мыкается без государства, которого не застал. А вокруг столько девок целыми днями на шпильках для того только, чтобы он, балда, их заметил. Все безотцовщина, брошенные мальчики находят себе пример в героях прошлого. Тоскуют по былому, переодеваются в старье, поют гимны предков. Бедные-бедные, покинутые папашами, ищащие свет в нимбах мертвцев. Истрачиваются на борьбу, которую считают благородной, которая нужна затем лишь, чтобы не оставалось времени задуматься, оглядеться и увидеть в упор свой страх. Сама Россия показалась Вере одинокой, ищащей надежного, да хоть какого, не девочка уже, годы тикают, очередной сбежал, она бы обратно приняла, да не возвращается, а новых нет, сунут и отвалят, разве что деньжат стрельнут на прощание, лицо отворачивая.

Сосед, тот самый бородатый, предложил отхлебнуть из припрятанного сосуда и она не побрезговала. Он в дискуссии не участвовал, не высказывался и, кажется, разделял ее скептицизм. Фургон, в котором они были заключены, продолжал стоять на месте, в окошко просматривалась кутерьма митинга, который теперь, из уюта подвластности, казался пустой суетой, нелепой и тщетной.

Веру окутала нега неспособности что-либо предпринять, усиленная нескользкими глотками, и она не удивилась, когда сосед ее приобнял. Рука его на ее талии сначала лежала поверх, а потом скользнула за резинки, под пуговки и вот он уже в святая святых проник и разошелся.

Захваченная врасплох, сраженная только что невозможным и теперь происходящим, Вера головы к нему не поворачивала, одобрения не выказывала, но и сопротивления не проявляла, только пальцы на поручне стиснула и все смотрела сквозь решетку на суматошный город со всем его величием и сорной мелочовкой, которые скоро размылись в цветные пятна.

Она поддалась не из-за особой, возникшей вдруг приязни, не порочная склонность к экспромтам с первым встречным стала причиной. Просто она перестала себя ощущать и принадлежность свою временно утратила. Если бы прочие присутствующие вздумали подобное с ней проделать, она бы отдалась и все прихоти исполнила.

За все время, пока стояли и ехали, Вера так на бородатого и не взглянула. А когда причалили к одному из районных отделений и всех из фургона спустили, как воду из бачка спускают, ублажитель ее улыбался уже издалека, будто из отходящего поезда.

\* \* \*

Задержанные из Вериной и других партий наполняли коридоры и закоулки районного отделения. Кого-то вызывали, кто-то спорил, кто-то просился помаленьку, кто-то балагурил, кто-то покорно, с расфокусированными глазами, ждал.

Тут бы описать все в живописных подробностях, подметить детали,

подчёркивающие состояние Веры и прочих, иллюстрирующие картину общества вообще и маленького человека в частности, но Вера не видела ничего, что могло бы ее поразить.

Происходило именно то, что она ожидала, что, вероятно, всегда в подобных случаях происходит, и одно лишь удивляло Веру — предсказуемость того, за чем тысячи и тысячи людей охотятся, что непременно хотят испытать, что почитают за приключение и опыт, который необходимо приобрести, пережить, которым гордятся. Удивляло и то, что остальные задержанные, кажется, тоже все понимали, только не хотели признавать, подбадривая друг друга и выдавливая из себя смайлы.

Служители закона напоминали уморенных жиц любви, а задержанные — девственников, с которыми только что случился первый раз и они оглушиены тем, как скучно все обернулось.

Появился полицейский, очень похожий на подсдутый воздушный шар. Бывают воздушные шары в виде разных персонажей, в виде попугая, оленя или Деда Мороза. Наташину веранду украшали такие шары. Этот был ментом.

Голова едва вмешалась в расстегнутый ворот. На боках, в паху, под мышками темнел пот. Сдерживаемое рубашкой брюхо переваливалось через ремешок. По полу шуршали востроносые туфельки, узенькие, будто ножки в них прятались девичьи.

С полицейским ротиком творец схалтурил — полоснул криво, а чтобы ошибку скрыть, налепил поверх усики. Глядя разбавленными, полиэтиленовыми глазами, ментошарик отер льющий из-под фуражки конденсат и вызвал Веру.

Помещение производило впечатление места, где происходят всякие неприятности. Зарешеченное, расположеннное близко к земле, окошко полуподвального этажа не позволяло разобрать времени суток. Стекло не мыли давно. Зимой на нем оседала копоть от автомобильных двигателей и жирная жижа против наледи, весной прибивало клейкую липовую пыльцу и тополиный пух, их притупдивало июльской пылью, которую по осени припорашивала труха опавших листьев. Последний раз окно мыли несколько лет назад, когда сюда доставили целый табор уличных путан, которых, помимо прочего, приспособили и к уборке.

За столом цвета рыжих домашних насекомых сидел лысый, поодаль на стульчике шуршала бабка.

— Это она! — заверещала бабка, едва увидев вошедшую. — Кричала, толкалась, кинула камнем в представителя правоохранительных органов.

Не успевший закрыть дверь ментошарик зашипел и запузырился от смеха. П-с-с-с-ш-ш-ш, и слонка в уголках ротика кипит.

Вера невольно подумала, где у него клапан, ниппель? Что если открыть затычку? Или просто проколоть булавкой? Тогда он зафырчит, примется выписывать в воздухе непредсказуемые траектории, будет метаться из угла в угол, ежась и брызгая, пока не превратится в дряблую тряпочку.

Лысый глянул на ментошарика, тот унялся, слизнул пенку с губ, почесал взмокший под фуражкой мех и выплыл вон.

Повертел в руках Верин паспорт, лысый бросил его на стол.

— Она, я точно помню! — отрабатывала бабка.

— Помолчи, — выдохнул лысый.

Бабка унялась и стала жевать съестное.

— Свободны, — лысый всосал из фляжки.

Вера взяла паспорт, поднялась со стула, на котором не успела толком устроиться, и посмотрела удивленно. Не то чтобы она хотела подольше тут оставаться, но как это «свободна»? Ее отвергли и хотят спровадить.

— А протокол? — неуверенно спросила она.

А хотелось про трусы. Трусы, трусы снимать? И получив отказ, молить, цепляться, ну, можно я сниму, ну, пожалуйста, а могу и не снимать, если не надо, могу просто так сидеть, только не прогоняйте!

— Следующего давай, — крикнул, не глядя на нее, лысый, навинчивая крышку на стальную резьбу.

Не помня как, Вера вышатнулась вон. Она снова принадлежала себе, могла идти в любом желанном направлении, но хотела обратно, под замок. Хотела внимать и выполнять, вставать по приказу и садиться, выходить и заходить, прибегать на зов и убираться прочь. Ей нравилось избавление от иллюзии, будто она хозяйка своей судьбы. Покорность не тяготила, напротив, расставляла по местам все внутренние грузы, избавляла от крена.

Осторожно пробуя умом эту мысль, возвращая в памяти бородатого и лысого, Вера заблудилась в незнакомом районе и пока полтаблетки луны растворялось в утренней синеве, плутала среди бетонных домов. Выбраться удалось, только когда она примкнула к ручейку мятых утренних жителей, спешащих к источнику транспорта.

\* \* \*

Пускай Веру больше взволновал лысый, но она даже имени его не знала, а попутчика рукастого вполне реально было отыскать — его громко окликали по паспортным данным. И она нашла, и без всякой гордости, от которой давно никакой пользы, написала. И он почти сразу ответил, и вот они уже сидели за круглым столиком в ярко освещенном энергосберегающим электричеством зале среди других людей и столиков и перспективы рисовались самые радужные.

Новый знакомый имел свойство любой разговор переводить на повествование о себе. Немного даже над собой подтрунивал, толкая таким образом собеседника к разуверениям, опровержениям и дифирамбам. В меню беседы был упадок культуры, деградация верхушки, распоясавшиеся мракобесы и повылезшие из колоний и закоулков дикари, куролесящие в их родном городе по своим законам лесов, гор и градообразующих предприятий. Временно исчерпав него-дование по поводу плебеев, он перевел на себя — творческий человек, коренной житель в энном поколении, готовясь к постановке балета по мотивам «Белоснежки».

Ты режиссер? Как интересно! А предыдущие спектакли можно посмотреть?

Кое-что имеется, но она вряд ли слышала, уж очень авангардная была постановка, не справились с нею ни зрители, ни администрация. Изъяли из репертуара еще до начала репетиций.

Вера деликатно перестала любопытничать, а он стал описывать предстоящий балет. Это явление должно взбаламутить местную публику, всколыхнуть театры континента, а то и заатлантические залы. Балет непременно потрясет устои, что немного насторожило Веру, которая повидала некоторое число людей, что называется, творческих, и хорошо знала, что ничего путного из сотрясания устоев обычно не выходит. Впрочем, его слова казались все более остроумными, она часто смеялась, уронила бокал и даже хлопнула собеседника по плечу.

И руку задержала.

А он ее руку своей накрыл и больше она уже не помнила, говорил ли он про балет или не говорил.

Не заметив ни как оплатила счет, ни дальнейшихочных часов, Вера очнулась утром и обнаружила все на своих местах: он хрюпал рядом, их одежда была разбросана по полу, в окне нежился новый день.

У бородатого обнаружилось одно свойство. То есть Вера и раньше сталкивалась, но не с такой отчетливой формой. В процессе любовных занятий он не особо налегал на традиционную часть, отдавая предпочтение поцелуйно-погло-живательным ласкам.

Объектом его нежности оказалась не вся Вера целиком, а только ее ноги. Эти две ее телесные принадлежности, как уже отмечалось, и в самом деле были хороши, но никто раньше не обрушивал на них столь избыточного почтения. Фактически кроме этих самых ног режиссера ничего больше не интересовало. Даже рукотворной выходки, послужившей началом их знакомства, он не повторил.

Зато чего он только с ее ногами не проделывал: и чмокал, и лизал, и нюхал, и стаскивал с них колготки, и надевал, и рвал, и... неловко даже сказать, но только с ногами.

К себе прикасаться не позволял, все сам.

В дальнейшем перед близостью он, смущаясь, просил Веру ни в коем случае ног не мыть, сам нежно мылил ее ступни, а как-то раз даже предложил сделать педикюр, причем пришел со своими принадлежностями и справился весьма ловко.

Такие мужские особенности не были для Веры новостью. Например, банкир относился к тому разряду россиян, на которых кинофильм «Девять с половиной недель» оставил неизгладимый след. Такие ни на что не способны, прежде чем не вымажут себя и партнера какой-нибудь липкой, жирной или сладкой гастрономической жижей.

Выкрутиася все эти и, с позволения сказать, фантазии Вера не слишком будоражили, но она привыкла и даже приноровилась испытывать известный отголосок наслаждения. И только в свободные минуты, когда бывала одна и ничто не занимало ее мыслей, нет-нет да и закрадывалась в ее сердце тревога за народ, в головах сильной половины которого царит такой сексуальный кавардак.

Но вернемся к Вериным ногам, которые, помимо прочего, обладали еще и вдохновляющими свойствами. Как лучи прованского солнца когда-то осветили таящиеся в душе художника Ван Гога гениальные живописные образы, так и эти две стройные конечности подтолкнули режиссера к действиям.

Он неожиданно объявил, что хочет ставить балет тотчас, не откладывая.

Планирование заняло у него пять лет. Пока завистники шушукались, мол, годы уходят, а балета не видать, он напряженно размышлял. Привыкшие к мельканию клиповской культуры дураки не понимали, что настоящие произведения рождаются неспешно.

Замысел, вопреки предположениям недоброжелателей, существовал. Восемь танцовщиков — семеро мужчин в нарядах шахтеров-гномов и один Белоснежка, должны были принимать различные позы и замирать, изредка сменяя одну позу другой.

И так в течение всего положенного времени, два часа сорок пять минут с антрактом.

Режиссер даже зарегистрировал концепцию в обществе охраны авторских

прав. Он достаточно слышал о воровских замашках театральных ястребов, которые только и думают как обокрасть дебютанта.

Тогда, после получения сертификата он немного расслабился и стал потихоньку приподымать завесу. Принялся, сначала робко, а затем уже широко, праздновать скорую премьеру. Обсуждал участие в фестивалях и даже заранее отказался от Венецианского, сочтя его чрезмерно буржуазным.

К нему приходили пробоваться на роли, у него испрашивали работу, ему внимали. Кудлатые мужчины от двадцати до шестидесяти поддакивали, некрасивые девушки в плохих нарядах многообещающие затягивались длинными мундштуками. Маэстро выдвигал теории, дебатировал заочно с постановщиками мировой величины. Только однажды вертихвостка из молоденьких встряла, что не так уж идея и нова, если не сказать что скучна попросту и неинтересна. Нахалку освистали и выставили, и поклялись руки ей больше не подавать, а заодно еще кому-то руки не подавать, и стали увлеченно перебирать в памяти кому бы еще не подавать руки и так увлеклись, что про балет некоторое время не вспоминали.

Теперь весь этот накопленный потенциал пришел в движение, режиссер решился. Вера вызвалась помочь, найти место и уговорить танцовщиков за символический гонорар, который она возьмет на себя. Еще при банкире она, вспомнив рисовальные навыки, устроилась в окраинный дом культуры преподавательницей в кружок. С директрисой этого заведения удалось сговориться. Та потребовала сценарий, чтобы убедиться, что ни бранных слов, ни фрагментов обнаженного тела, ни выпадов в сторону правительства и религии в постановке нет, и была очень удивлена, когда получила один-единственный лист бумаги, заполненный текстом лишь на треть. Да и те скромные строки заключали в себе описание миссии спектакля и его места в мировом театральном процессе.

Поверте листок в руках и заручившись горячими заверениями Веры в абсолютной, даже вызывающей лояльности постановки, директриса дала добро.

Через несколько дней режиссер уже проводил набор артистов. Репетициями решено было не злоупотреблять, во-первых, не позволяли сроки договора с залом, а во-вторых, что было, пожалуй, решающим, режиссер принципиально хотел выпустить наружу чистые, не затертые тренировками инстинкты актеров.

В другой раз Вере могло бы показаться, что от репетиций отказались не по причине особенностей художественного высказывания, а потому, что на репетициях принято репетировать, разбирать план, давать наставления, а плана и наставлений режиссер явно не припас. Но Вера всего этого не замечала или не хотела замечать. Она была если не влюблена, то очень цеплялась за свое романтическое увлечение, пребывала в некоторой даже горячке, свойственной тем, у кого последний шанс и другого не представится.

Во второй половине июня, под занавес сезона, когда температура окружающей среды подскочила, почти сравнявшись с температурой здорового человеческого тела, случился день премьеры.

\* \* \*

За полчаса до начала районные театры уже образовали небольшое столпотворение. Представители прессы, хоть и не первосортные, заглянувшие ради угощений, которые из-за отсутствия средств так и не были поданы, скучали. Директриса решила сэкономить и отключила кондиционеры — возникла духота.

Прозвенел третий звонок и жители района потянулись в зал, заполнив не меньше половины мест. Лучшие кресла, обозначенные табличками с именами знаменитостей,зывающие пустовали — театральная элита постановку проигнорировала.

Как, впрочем, и создатель.

Режиссер не явился, телефон его был выключен. Разыскивать пропавшего было поздно да и некому.

Оказавшаяся в довольно странном положении, Вера решила спектакль не отменять. Побывав на всех двух встречах автора с артистами, она знала, что и как должно происходить. Сообщив коллективу туманную отговорку по поводу неявки постановщика, уверив, что он с минуты на минуту будет и поручил ей дать старт, она проверила общую готовность и обеспечила начало балета точно в обозначенное на афише время.

Сначала все шло неплохо. Первые минуты две-три, может быть, даже четыре. Артисты, изображающие не столько гномов, сколько шахтеров, застыли в различных позах перед жителями района. Один отдавал пионерский салют, другой занес кирку, третий сидел на корточках. Никто, ни на сцене, ни в зале не шелохнулся, пока какой-то пиджачник из партера не зааплодировал и долго не мог унятьсь. Реакция районного интеллигента на авангардное искусство.

Воспользовавшись замешательством в рядах жителей района, артисты сорвались с мест и после непродолжительной кутерьмы застыли в обновленных позах. Жители района решили, что это такая игра и принялись хлопать в ладоши, чтобы своими хлопками расколдовать зачарованных горняков и Белоснежку, которую, точнее которого, кто-то с галерки успел обозвать нецензурно. Артисты, так и не уяснившие, что от них требуется, сбитые с толку исчезновением руководителя, стали действовать по наитию: кто-то, услышав хлопки, скакал, кто-то продолжал стоять замерев, кто-то размахивал руками и крутил головой, уподобившись почитателям знаменитого гипнотизера Кашпировского.

Наигравшись довольно быстро с танцовщиками, жители района перестали аплодировать и зашелестели распечатанными лично Верой программками, надеясь отыскать в них спасительные разъяснения. Надо ли говорить, что сочиненный режиссером авангардный манифест жителей района не только не удовлетворил, а напротив, привел в заметное раздражение.

В результате всей этой импровизации к началу антракта половина зрителей зал покинула. Бежали поодиночке и целыми семьями, одни воровато пригнувшись, другие гордо, во весь рост, фыркая, хихикая, молча или, напротив, негодяя.

После жидкých, милостивых хлопков Вере подозвала директриса и сделала выговор. В балете принято прыгать с выкрутасами, а не стоять истуканом и вообще, происходящее возмутительно. Хорошо, вход бесплатный, а то бы пришлось возвращать деньги.

Один заметно подвыпивший журналист с независимого сайта, который, как позже обнаружилось, оказался временно заблокирован за неуплату, задал несколько пустых, унизительных даже, вопросов о том, что мастер хотел сказать своим произведением. Узнав, что балет не закончился и будет еще второе действие, журналист не счел нужным скрывать удивление. Оказалось, что и прочие зрители решили, что конец и с антракта вернулся только один близорукий в сопровождении блеклого женского существа из числа знакомых автора.

Вера поспешила в фойе, там никого не было, лишь какая-то женщина шмыгнула мимо. Что-то в этой женщине показалось Вере знакомым. Походка,

осанка, волосы. Вера окликнула женщину, та прибавила ходу. Вера пошла следом, но женщина проворно юркнула меж стеклянными створками дверей.

Вера остановилась смятенная — в погоне она на мгновение разглядела отразившиеся в стекле черты беглянки. И черты эти точь-в-точь напоминали ее собственные.

\* \* \*

После премьерной катастрофы режиссер отыскался. Он был тускл и осведомлен. Сказал, балету помешало устройство зала. Что за устройство такое особенное было у зала, осталось неясным. Публику собирали случайную, неподготовленную. Вере вменялось, что торопила, подначивала, подстрекала. Выбрала неудачное время и место, распечатала не такие программки. Устранился он именно поэтому. В последний момент понял и не пришел. Не пожелал в этом участвовать. И впредь не желает. Устал потакать. И вообще, устал.

Вера снова коротала время одна, наружу не тянуло, хотя дни и ночи стояли особенные, все благоухало упорхнувшей весной и распустившимся летом. Однажды вечером до ее слуха донесся звонок. Тренькало где-то за стеной, не в ее личном пространстве и она не сразу обратила внимание. Телефон, однако, не унимался, стало вдруг казаться, что антикварный звук вышедшего из оборота дискового аппарата имеет к ней прямое отношение и она во что бы то ни стало обязана ответить.

Вера пошла вдоль стен, прислушиваясь и вскоре убедилась — эпицентр звонка расположен за ковром.

В затылок брызнула россыпь ледяной жути — вспомнила, что за ковром дверь, а за дверью комната, которую хозяйка решила замаскировать, сложив туда какие-то свои предметы, и теперь там звонит телефон, а телефон, который у нее перед глазами, не звонит, а квартира вроде как одна.

Эта дверь, со дня обнаружения, Вери не тревожила, но сейчас таинственная комната показалась очень важной и попасть туда было необходимо. Вера слушала и зная, что дверь заперта, принялась все-таки ковер отцеплять. Нитяные петли сопротивлялись, она рванула, отбросила красавицу с корзинкой на пол, приложила ухо.

Не оставалось никаких сомнений — звонок доносится оттуда. Вера была кофейной пенкой и неизвестный рот с каждой новой трелью всасывал ее каплю за каплей. Звонок сделался музыкой, переливался на все лады и был повсюду.

Вера тронула дверь и та подалась.

Был поздний вечер, в ничьей комнате стояла темнота. Вера нашупала выключатель. Лампочка, расположенная внутри старинного абажура, вспыхнула и лопнула вдребезги. Вера вернулась к себе, взяла связку ключей с брелком-фонариком.

Белый луч высветил квадрат запыленной паркетной глади, утес шкафа, причал узкой кровати и отвесные, в белесый цветочек, обои берегов. Луч колыхал серые комья в углах. А вот и телефон. Зеленый с белым диском. У родителей дома стоял такой же.

Вера поднесла руку к трубке и, помешкав, крепко схватила, сжала до пластмассового скрипа, будто трубка была беглым зверьком, которого долго не могла настигнуть.

— Алло.

— Маму позови, — произнес голос Вериной матери.

Скованная жутью, она не могла шевелиться, а потом разжала пальцы и,

отбросив зеленую трубку, метнулась из комнаты прочь, захлопнула ее, задвинула икеевским стеллажом, и хлебнув «хенесси» из горлышка сколько в бутылке было, долго колотилась в ванне под струями.

Наутро после бессонной ночи, когда боялась оставаться дома и выбежать на улицу тоже не решалась, раздался другой звонок, на этот раз ее личного средства связи. Справилась с собой, посмотрела на экран и увидев незнакомый номер, отвечать не стала. Вслед за чередой настойчивых вызовов пришло сообщение, которое Вера, с приближением нового вечера решилась прочитать.

Вере Сулеймановне надлежало явиться по указанному адресу в назначенное время в определенный кабинет для дачи объяснений по поводу участия.

\* \* \*

Вера сторонилась мужчин, что называется, простых. Мишка, конечно, роль сыграл. Но и без него было от чего поморщиться.

Эти пиджаки из блестящей синтетики.

Эти рожи.

А манеры, а неумеренное курение, громкая музыка, нечуткость к искусству, особенно современному, гомофобия, империализм, пьянство.

Впрочем, про пьянство надо признать, что все средства здесь потребляемые и православными и теми, кто других конфессий, расходуются от одной только местной грусти. Больно уж все здесь масштабно и величественно. Дали дальние, леса дремучие, трубопроводы нескончаемые, и куда бы ни тек ты по этим трубопроводам, вовек никуда не дотечешь.

И великая бездна над всем этим зияет. И как ее ни закупоривай, все равно сифонит.

Здесь только дураки суэтливые мечутся, работают, мастырят что-то богу на потеху. Все в прах обратится. От лицезрения замысла божия и запивают. От величия окружающего и гасятся сложными эфирами и тяжелыми внутривенными.

Потому что к божьему замыслу вплотную стоят.

В первом ряду.

Происходя из народа, Вера, как и прочие, огражденные двадцатым веком горожане, своих далеких родичей сторонилась и одновременно ее к ним тянуло. Со дня задержания лысый не шел из ее головы и страх перед ним, смешиваясь с влечением, лишал покоя.

Телефонное уведомление отвлекло от таинственного звонка, Вера развелась и решила игнорировать, а вскоре обнаружила в почтовом ящике извещение об обязательной явке.

Вера знала, что после ее задержания кто-то метнул в полицейского латника то ли цитрусовым, то ли шкуркой от цитрусового, нанеся тем самым стражу закона физическую и душевную рану. Началась толкотня и хватание за руки. И кто-то еще что-то кинул, а кто-то плонул. И теперь метателей и плевальщиков стали вычислять, выколупливать из убежищ, опознавая по оперативным съемкам и доносам.

Усердствовали не только сыщики, письменные интерпретаторы тоже не отставали. Среди них обнаружился и ее бывший, когда-то покинутый после застольной несдержанности умник. Он со своими разъяснительными абзацами блестал особняком, выслужив за минувшие годы отдельный шесток в тесной, кишащей соперниками, клетке русской мысли.

Вера обрадовалась вызову, ей очень хотелось снова увидеть того лысого, швырнувшего ей паспорт. Или кого-нибудь вроде.

В назначенный день она подкрасила один глаз, затем второй. Попробовала одну за другой четыре помады. Поморгала, почмокала губами. Хоть размеры зеркала и позволяли, у нее не получалось увидеть себя целиком. Свойство это возникло еще в юности, своим появлением совпав с одной лирической историей. Один молодой скульптор так пленился Верой, точнее ее коленями, носом, бедрами, ступнями, ушами, запястьями и прочими суставно-мышечными составляющими, что упросил снять копии с ее впадин и выпукостей, чтобы отлить затем в гипсе. Согласившись, она подолгу сидела в пропитанных застывающим веществом бинтах, сохранявших отпечатки того или иного ее достоинства.

Впутавшись в эту авантюру из любви к искусству и, конечно, из любопытства и тщеславия, Вера скоро стала скучать, но дотерпела до дня, когда была снята последняя и самая интимная копия и комната ее скульптурного воздыхателя стала хранилищем другой, разрозненной гипсовой Веры.

С чувством выплаченной за свою привлекательность дани Вера объявила, что раз все закончилось, то она пошла. Новость стала для потенциального Микеланджело ударом, хоть он и вправду больше в Вере не нуждался, потому как ни на что кроме снятия с нее копий, в силу своей душевной истонченности годен не был.

Лицо его потекло, он стал кричать, а потом вдруг принялся бить гипсовые Верины комплектующие. Она почему-то встала на цыпочки. Скульптор носился среди пыли и осколков, потрясая то ее коленом, то губами, то еще чем. Вознося слепки к Вере, он затем швырял их об пол.

В тот день сама Вера осталась неповрежденной, в идеальной телесной сохранности, хоть снова начинай копии лепить, но в голове что-то незаметно стряслось, какое-то угрызение вцепилось, и она утратила умение видеть себя всю.

Теперь она явилась по указанному адресу, дождалась и не удивилась, когда за дверью кабинета увидела того самого лысого представителя органа, противостоящего возбуждению и разжиганию.

Он ее не узнал, что обидело и взволновало. Разговор их был пуст, как и все разговоры, когда оба собеседника так или иначе понимают коренную бессмысличество задаваемых вопросов и получаемых ответов. Он проявил осведомленность, знал детали ее биографии, по крайней мере те, что задокументированы, интересовался, зачем пошла, одна или в компании, кто подал идею, чего добивается, остались ли связи за океаном.

Решив говорить правду, Вера сообщила, что связей за океаном нет, а пошла, чтоб познакомиться и вот, пожалуйста, результат. И она предложила продолжить в нерабочее время.

Лысый, хоть и был мужчина, по нынешним временам, видный, но привык к совершенно иному отношению к себе со стороны посетителей кабинета. Отнесясь к Вериной инициативе с подозрением, он отказался, но в конце недели все-таки вышел на связь. И вот они уже подъезжали к надежному, крепкому, но не завершенному загородному строению, которое лысый возводил своими собственными, вроде как славянскими, и наемными руками среднеазиатских трудовых мигрантов, по большей части нелегальных.

По любовной части лысый оказался очень даже годен. Действовал реши-

тельно, разоблачал Веру деловито. Платье, белье, обувь. Так опытные бойцы с закрытыми глазами разделяют на детали свои тридцатизарядные.

Если режиссер целиком отдавался предварительной возне, то этот переходил к делу сразу, даже слишком как-то сразу, но лучше уж так. Он применял себя к ней просто и свирепо. Шмякал, валял и крутил. Она подчинялась и мысленно благодарила Наташу, пока не теряла разум от простого и действенного наслаждения.

Он не пел ей дифирамбов, не восхищался в поэтической или иной форме, не советовался, что они будут пить, чем закусывать.

Его не волновало ее мнение.

Он велел ей готовить совершенно недиетические блюда. Объяснил, что живет она неправильно, ставит себя неправильно, а за руль он ее вообще не пустит.

На обратном пути, когда по ночному шоссе перед ними текли красные, а навстречу — белые струи огней, он высказался против косметики, коротких юбок и глубоких вырезов. Женщины распустились, штукатурятся и одеваются, как гулящие.

Вере понравилось его небезразличие, его ясные желания. Она сочла их признаком собственничества, ревнивости и, возможно, чувства.

Но лысый превзошел самые смелые ожидания. Не ограничившись словами, он выкроил время и отвел в торговые ряды, куда бы она сама, журнальная модница, никогда бы, ни за какие посулы, и в необъятном ангаре принялся за нее выбирать.

Задернувшись в тесном закутке, она примеряла наряды большей частью черные с искрой или из кожи, тоже, впрочем, черной. Подолы и рукава были длинны и глухи. Вера не любила кутаться, но обновки казались ей формой личной гвардии, в которую ее благосклонно зачислили, и потому обсуждению не подлежали.

И она, конечно, потеряла счет делениям на циферблате. Примеряла это с тем, а то с этим, и не то чтобы сильно задержалась, но лысый на ее медлительность неожиданно разозлился. Ждал по ту сторону шторки, подносил размеры и незаметно накопил. Взял вдруг и занавес отдернул.

Хватит копаться, я опаздываю.

А Вера как раз одну юбку спустила, чтобы другую надеть. Она стояла наклонившись и видела, как колючие рожи торгащей тотчас сгостились за спиной лысого. Вмиг десяток чужих фантазий овладел Верой, распустил ее и приспособил. И она застыла, и задернуться сразу не смогла не только от стыда, но и от странного, скрытого даже от самой себя, но управляющего телом желания длить, принадлежать незнакомым, быть покорной и властвовать, чужую волю исполнять и свою навязывать.

Лысый прищемил ей ухо своими крепкими пальцами и, расталкивая зевак, выволок из примерочной. И она, суетливо напялив, скомкав и расплатившись, прихватив не глядя туфли, навьюченная его кутюрными представлениями, поспешила следом.

\* \* \*

Следующая их встреча пошла по неожиданному сценарию. Когда она вышла к проспекту, где лысый ее обычно подбирал, когда дождалась и уселась рядом, то увидела на заднем сиденье девочку лет десяти и мальчика неопределенного возраста. Вместо слов мальчик издавал короткие одинаковые стоны.

— Голодание мозга при родах, — представил сына лысый, не упомянув про девочку.

Бывшая жена, с которой, кстати, он продолжал жить по одному адресу, не имея никаких шашней, все выходные занята и он взял детей.

Гуляли в парке, катались на американских горках, где все визжали и только мальчик по-прежнему ритмично ныл.

Девочка проявила удивительную меткость при стрельбе в тире, за что была награждена портретом президента, которых повсюду было в избытке, которые вручали в качестве приза, подарка или в нагрузку к покупке.

Мальчик оживился только перед прилавком с цветными тянучками, издав рев с оттенком требования. Лысый приобрел пучок из трех разноцветных, похожих на электрический кабель, и подросток заткнулся, причем в буквальном смысле — тянучки требовали упорной челюстно-глотательной работы, не оставляющей времени на мычание.

Вера одетая почти монашкой, перед выходом только веки едва подвела, весь день ждала реакции. Лысый молчал и, прощаясь, она не удержалась и сама спросила.

И он велел стереть глаза.

И она стерла с готовностью и очень его вниманию обрадовалась.

В повседневности Вера избегала детей, не заводила подруг-насадок, чтобы не бередить себя обрыдлым умилением первыми звуками, первыми лужами, первыми шагами. Теперь она смотрела, как лысый меняет сыну впитывающие трусы, как тот колотит его по темени и гудит методично, словно маятник, отмеряющий тщету, и знала, скоро произойдет и отменить или перенести уже нельзя.

\* \* \*

Тем временем уединившийся режиссер просматривал снятые Верой кадры балета. Куда им, привыкшим к незатейливым мюзиклам, понять его высокий, пронизанный бесчисленными смыслами минимализм! Как только он поверил в то, что причина неудачи заключена в эстетической неподготовленности отечественных театралов к встрече со столь значительным произведением, он воспрянул.

После обнаружения под ногами твердой почвы собственной гениальности, режиссер стремительно погрузился в новое увлечение — борьбу с разрушением старинных зданий.

Кроме педикюрной слабости у режиссера была еще одна — предметы старины. От настоящего он кривился, отдавая предпочтение всему утраченному: улицы и станции метро именовал только бывшими названиями, не отдавая предпочтения ни царскому, ни советскому прошлому. Тверская у него была улицей Горького, а Лубянка площадью Дзержинского. И если женщины, точнее ноги, его волновали без изъянов и тактильно гладкие, то в объектах неодушевленных он в первую очередь ценил трещины, сколы и другие дефекты. Мир его мечты сплошь состоял из потертых, потускневших, поеденных молью вещей.

Учредив, недолго думая, Комитет Противодействия Строительному Барварству, недавний режиссер провел первое заседание в кафе, но из-за дороговизны и жадности хозяев следующее перенесли в его съемную комнату. Несколько предыдущих дней он был сосредоточен, что-то черкал в листках, а когда все собрались, разразился короткой речью. Говорил о непоправимом уроне, который наносят алчные застройщики, о хапугах, готовых разрушить любую древность

ради платного подземного гаража, о том, что с каждым раздробленным древним кирпичиком душа города, столь им любимая, покидает эту территорию.

Публика состояла из молодых и не очень людей того типа, что курят самокрутки, штудируют теоретиков социализма, ругают правительство и в целях экономии обращаются к вегетарианству. Дискуссия поначалу происходила бурно, но как и многие интеллигентские беседы спотыкалась о необходимость определиться. Многократно набирая мощность, спорщики в самый решительный момент не осуществляли рывка, браться за меч не решались и мотор их энергий таращел впустую.

Тут заговорила одна моложавая бунтарка из отдаленного региона. У нее была манера любые слова вроде просьбы прикуриТЬ сигарету или подлить вина, насыщать такой многозначительностью, что казалось, будто хочет она вовсе не подымить или утолить жажду, а чего-то другого, темного и запрещенного, чтобы руки за спину, и кляп, и вообще. Фантазия присутствующих мужчин от этих ее интонаций выкипала, работа останавливалась, а скверная девочка натягивала рукава тельняшки на ладони, будто мерзла, и смотрела по сторонам из-под козырька чрезмерно большой дамской кепки, больше подходящей восьмидесятым годам века ушедшего, чем середине второго десятилетия двухтысячных.

Так вот, кепочная эта вытряхнула из горлышка прямо на пол остатки яченного, рванула собственный полосатый рукав, несмотря на крепость армейских ниток, оторвала, и потребовала керосину, чтобы тотчас, на месте, смешать зажигательный шейк, названный в честь знаменитого сталинского наркома.

Увидев ее обнажившееся плечо многие члены Комитета, особенно те, что с бородами и залысинами, оживились, а члены Комитета с прическами и бижутерией, напротив, сосредоточились, будто атака на врага уже началась.

Режиссер принял требование активистки с воодушевлением.

— Будем жечь их технику! Спалим бульдозеры и бытовки! Хватит ломать мой город!

Поднялся гвалт, соседка заколотила в стену, требуя тишины.

Насчет города претензии у режиссера имелись веские. Многие старинные сооружения принадлежали в давнюю пору его предкам или на худой конец были освящены их визитом. Что ни дворец, то прабабкино приданое, что ни церковь — место крещения прадеда. Отростки его обширной родословной лезли глубоко в прошлое и совершенно терялись в расселинах истории. Среди прашувор числились: татарский хан, городской голова, видный ученый, а родоначальником материнской ветви значился екатерининский фаворит, кавалер, князь и прочее, что и перечислить не под силу.

В пору знакомства с Верой и подготовки балета он свою страсть к минувшему временно оставил, а теперь, желая, возможно, смыть с биографии театральную неудачу, обратился к своему увлечению с удвоенным вниманием, пускаясь в невероятные генеалогические импровизации совершенно, впрочем, искренние.

Хоть древо его предков и жило весьма непредсказуемо, хоть порой и появлялись на нем по прихоти режиссера новые веточки и крупные плоды едва ли не Рюриковой крови, пускай сам он, бывало, путался в показаниях, ему верили. Одно, впрочем, известно достоверно — родная бабка режиссера, стоматолог, самому маршалу Жукову зубы драла прямо под шквальным огнем неприятеля. У него и щипцы сохранились, те самые.

Не видавшая режиссера с рокового послебалетного дня, Вера пришла его проводить именно в тот вечер. Волновалась за него после неудачи с постановкой,

хотела утешить, но выжидала пока уляжется, да и на лысого отвлеклась порядочно. И без реваншизма, конечно, не обошлось, когда хочется побывать в местах, где бывало хуже, чтобы ощутить, как все хорошо теперь.

Купив по пути съестного, Вера угостила присутствующих. Члены Комитета принялись с аппетитом поедать принесенный ею громадный, загроможденный овощами и мясом итальянский мучной круг и быстро разорвали его в клочья, нарушив симметричные надрезы. И только кепочная лениво произнесла, что слишком все это буржуазно для подпольного собрания с социальным подтекстом.

А что именно?

А пицца.

И что же в пицце буржуазного?

А жидовство сплошное и пошлость.

Прежде чем начать всю правду про пиццу вываливать, кепочная умывала порядочный ломоть и произнося разоблачительное, уже вычищала ножичком резцы. Прожевав и проглотив, она тотчас принялась искать изъяны и в съеденном, и в самой Вере, и чем сильнее насыщение овладевало ею, тем остree она всем своим региональным существом понимала, что Вера глупая, изнеженная, цепляющаяся за жалкий уют, старая уже баба, совершенно недостойная места в будущем, которое она, молодящаяся волчица, вот-вот приблизит. Остальных она упрекала в потребительском рабстве, склонности к мягкой постели и умственной неге, а причиной стремительного падения членов повстанческой ячейки оказалась Вера, сманившая стойких бойцов блином, заляпаным гаудой и болгарскими перцами.

Несколько клюковатых типов приняли сторону кепочной, вспыхнула дискуссия.

Один долговязый, которого выпитая рюмка наделила уверенностью, принял Вера трогать. Положил на ее колено ладошку с обкусанными кончиками и спросил денег. За богатую сумасбродку принял. Так и сказал, дай денег.

На что?

На защиту архитектурных сооружений.

Как планируешь защищать?

Буду издавать газету.

Вера посмотрела в его дымчатые линзы, во влажный рот, рождающий нехитро заплетенные фразы, раскрыла сумочку и протянула все, что имела при себе. Некрупная сумма мелкими и среднего номинала купюрами.

Проситель смутился и стал, хихикая, отказываться. И губы его сверкали.

Тут режиссер потребовал общего внимания. Решил разрядить обстановку, в который раз вспомнив о предках. Извлек пачку столетней давности банковских, железнодорожных и еще каких-то облигаций на баснословную по тем временам сумму. Бумаги эти Вера лично купила ему в подарок, когда в первые дни знакомства гуляли по воскресной бараходке, и вот теперь он, позабыв их происхождение, потрясал пачкой перед носами ошелевших гостей.

Я житель этого города в пятнадцатом поколении и не позволю его разрушать!

А это мое наследство, нынешними деньгами на семь миллиардов!

Долларов!

В ту ночь, оттесив кепочную, что было делом доблести и чести, Вера на правах хозяйки всех проводила и перед тем, как не без торжественности уйти самой, одолжила режиссеру то, от чего отказался влажногубый.

Ступая по коричневому плиточному полу длинного подъезда, Вера увидела в стекле дальней, ведущей на черную лестницу двери, лицо.

Расстояние было протяженное, раньше широко строили, потому разглядеть не получилось. Лицо это недвижное, в совершенном безлюдье за ней наблюдавшее, принесло нездешний холод, который тотчас затопил пространство, все щелочки и Веру целиком накрыл. Влекомая ужасом, она приблизилась, но никого не обнаружила, только мебельный хлам, который издалека приняла за человеческие очертания.

\* \* \*

Несколько последующих загородных уик-эндов с лысым обошлись без присутствия малолетних и слились в монолит качественной, исчерпывающей физиологии. Жарким июльским днем, когда деревянный дом раскалился так, что потрескивал наподобие поленьев в печи, лысый решил ночевать в погребе, небольшом строении, которое и строением-то в полной мере назвать было нельзя, так, холмик с дверцей.

Внутри эта поросшая возвышенность оказалась прохладным хранилищем. Полки прогибались под весом заполненной стеклотары, в которой ждали своего часа лобастые выцветшие огурцы, лопающиеся поблекшие томаты, шишковатые маринованные чесночные, склизкие грибы, варенья тягучие и такие варенья, в которых ягодки отдельно, точно цукаты. Множество овощей и фруктов засоленных, засахаренных и прочими способами приготовленных, за зиму не съеденных, хранились на полках.

Провианту лысый внимание уделял. Точнее пищеварению.

Кульминацией ежедневного бытия лысого было действие, которое он нежно называл «сходить на горшок». Он любил продукты, любил, чтоб наваристо, сытно и обильно. Но поглощал не ради насыщения или услады, а затем, чтобы поев, ловить затем каждый миг, прислушиваться к накоплению и формированию в кишечнике, всегда полном блюдами, как столичные автомобильные кольца полны средств передвижения накануне Нового года.

Он был подобен томящемуся сластолюбу, серферу, выжидавшему волну.

Предвкушая, сдерживаясь и неминуемо опорожняясь, он, в момент избавления, испытывал мерцающую, зыбкую истому.

Это регулярное таинство было для лысого чем-то вроде родов. Разве что с «чадами» своими он расставался хоть и с некоторым сожалением, но все же без стенаний, рассматривал с нежностью и отвозил в огород.

Теперь Вера лежала рядом с лысым, на брошенном прямо на пол матрасе, под которым щелестел, предусмотрительно расстеленный полиэтилен.

— Сам закатываешь? — просипела она сухим от жажды горлом, подразумевая консервное изобилие.

— Какой там, братишка шлет, вот у него хозяйство, — протянул лысый с истинно крестьянской скромностью, когда хвастать не зазорно, если прибедниться поспеваешь. — Мне некогда, мать померла, а жена фактически отсутствует.

Он выкурил подряд две, что Вера уже научилась определять как признак умственного труда и принятия нелегкого решения. Ему явно хотелось признаться, сказать что-то самое важное.

— Обещаешь не разболтать? — наконец решился он.

Вера улыбнулась, растрогавшись просьбе, и ощутила к нему такую пронзительную нежность, что испугалась.

— Поднимись-ка.

Он скатал их постель, поддел доски пола.

Разверзшаяся чернота дохнула едва уловимой грибной, мшистой сыростью. И чем-то звериным. Будто нора открылась.

Пошарив за банками, лысый щелкнул тумблером и дыра осветилась.

Это был колодец с укрепленными стенками, глубиной в метр-полтора, за которыми виднелась часть подземного помещения.

Вниз вела крутая лесенка.

— Лезь. Не зарежу.

Нащупав ногой ступеньку, Вера стала спускаться, не веря до конца, что не получит сейчас по голове обухом и не проведет остаток дней на цепи в подземелье, где единственной утешой будут мольбы о смерти.

Благополучно спустившись в прохладную берлогу, она стала осматриваться. Лысый присоединился к ней и, потирая ладонями бока, улыбался. И было чему.

Перед ними открылась просторная, не в пример верхнему погребку, комната. Воздух хоть и отдавал сыростью, но был достаточно свеж. По стенам стояли две, казарменного образца, двухъярусные кровати. Лысый распахнул перед Верой дверцы — показалась кладовая с пластиковыми бочками.

— Что бы вы думали? — спросил он с загадочностью фокусника.

Бочки оказались полны круп, макарон, сухофруктов, орехов и прочей годной для продолжительного хранения бакалеи. В небольшой цистерне с водой глухо перекатывалось.

— Чурбанов на рынке потряс маленько. С них не убудет, — объяснил лысый происхождение запасов.

Канистры с топливом, спички, свечи, электрические аккумуляторы. Подземелье, помимо комнаты, куда вела лестница, вмещало камбуз с заправленными газовыми баллонами и вентиляционной вытяжкой, санузел с биоемкостью, а главное — колодец, заглянув в который Вера увидела себя, только темную и силуэтную, и упавшее ведро разбило ее вдребезги, и она разлетелась брызгами и возникла снова в колышущейся глади наполненного до половины, поднимаемого цеповым перекрутом, цинка.

— Пять лет рыл! По ночам вытаскивал и в поле, чтобы соседи не догадались. Ты первая.

Они сидели перед наполненными походными рюмками и взрезанным консервным железом. Отдышившись после сорокаградусного глотка, Вера осмелилась.

— Зачем?

Он только и ждал. Угробивший пять лет на рытье и обустройство индивидуальной ямы, ни с кем не делился, смирял в себе триумф, обрел, наконец, слушателя. И не какого-нибудь. Центральная, видная баба, натуральная светло-русая, им укрошенная, сидела напротив в его ношеной футболке с праздника газеты «МК» и внимала.

— Готовлюсь.

И стало ему вдруг тяжело. Вползла мыслишка, что вот она институтская, слов много знает, за океаном жила, ему потакает, а как трусы натянет — вон из сердца. Забудет и продаст своим очкастым. Знает он, как интеллигенты к его брату, правоохранителю относятся.

И он повысил голос, совсем что ли она дура? Осадил себя и снова сорвался. Пока она по митингам шляется, лодку раскачивает, приближается самый что ни на есть апокалипс...

Увяз в слове, грохнул кулаком, выругался.

— Вы воду сейчас намутите, ил подымете, а ил этот, грязь и вас и всю страну утопит! Видела, как чурки на Красной площади скачут?! Русских еще поискать!

И он заговорил.

Мигранты, ползущие с низа политической карты, были для него вшами, которые, если их не давить, скоро заполонят всю страну. Стену с пулеметными вышками надо строить пока не поздно.

Стоит уточнить, что эти взгляды не мешали лысому попустительствовать. Несколько раз ему приходилось закрывать уголовные производства в отношении отдельных этнических лиц и целых групп. Такое случалось, когда диаспоры медлили, не успевали договориться с полицейскими сразу после поимки, и заводилось дело. Тогда для прекращения требовались силы куда более влиятельные, чем райотдел, и обращались к разным следакам, в том числе к нему, и он разговаривал хоть и властно, но уважительно, и мятые банкноты, часто со следами подметок по кавказской свадебной традиции, брал и пересчитывал, а иначе как, сын-инвалид, дача, убежище, обновление запасов. А однажды какие-то упорные менты честных из себя корчили и он им пригрозил. Мол, самих завтра закроют. И те менты сломались, и подношение приняли, и подношение это он присвоил. Короче, брал и ненавидел, на грядущую борьбу с ними же брал. От Вериного вопроса в нем поднялась обида уличенного, которого никто, кроме него самого, не уличал.

— Ты и такие, как ты свалят, а я тут останусь, партизанить. Кто-то пивко попивает, а я тренируюсь. Ну-ка, встань.

Вера поднялась с ящика. Лысый откинул крышку. В масляных тряпках покорно ждали прикладная рамка, затвор, коробчатый магазин, пружина, цивье, ствол и прочие огнестрельные комплектующие.

Он ловко собрал ощеренную штуку, углами и ребрами похожую на задиристого черного терьера, и сунул Вере.

Она приняла оружие неловко. Держала на растопыренных ладонях, как держат каравай девушки, изображающие местные традиции.

— Сними с предохранителя. На меня не наводи. Упри в плечо. Целься в ту банку.

— Там же огурцы.

— Заменим.

Вера прицелилась и правым указательным надавила.

Щелчок и его смех.

— Не заряжен! — загоготал хозяин чертога. — Что я, дурак, соления портить. Отдай.

Он отобрал гладкоствол, завернул, захлопнул, велел ей сесть.

— А я тоже запасы для конца света купила, — вдруг призналась Вера. — Рыбных консервов набрала. Пришла домой и все сразу съела. Жор напал, ничего не могла поделать. Начала с печени трески, представляешь, никогда не пробовала. Потом тунец — давно не ела. Потом шпроты — детство вспомнить. Так и умаяла весь запас в один вечер. Правда и купила-то пять банок всего. Первое время продержаться.

Лысый слушал молча и вдруг разразился.

— Все из-за вас, из-за баб. Рожать не хотите. Вот чего ты ждешь? Почти сорок, а ты все мужиков примеряешь. Вы, бабы, о будущем не думаете, а когда чурки вас в балахоны оденут, поздно будет.

Вышла пауза и Вера вдруг, для самой себя неожиданно, метнула:

— Хочу ребенка. От тебя. Сына.

И повторила контрольно.

— Сделай мне сына, пожалуйста.

И тут все бочки, банки и ящики затяжелели массой в его взгляде. И Вера впервые заметила, какое обиженное у лысого лица. Будто весь мир ему не угодил.

— Дура. Какой ребенок, конец скоро.

И он стал разъяснять — люди ничего не понимают, не чтят традиций, здесь должно быть язычество, а его искоренили, а в язычестве сила. Все американских фильмов насмотрелись и на свадьбах теперь рисом бросаются, и похищение невесты одновременно, и шаферы, и венчание, и арочка цветочная, и загс, и Вечный огонь. Обряды перепутаны и страшный механизм уже запущен, и ничего не исправить, и кто-то специально узел этот затягивает, а узел рванет, потому что нитроглицерином пропитан, который при сжатии, как известно, детонирует.

— Думаешь, я лысый? — неожиданно спросил он, крутым выражением оставив тему перепутанности традиций, заговора и грядущей катастрофы.

— Чего молчишь? Думаешь, волосенки повыпали? Я не лысый, поняла! Я бритый!

Он схватил Верину ладонь и прижал к своей голове. Гладкая кожа на верхушке, щетина на висках. Частью лыс, а частью и вправду брит.

Согласно его теории, в будущем все будут без волос, в процессе эволюции люди теряют волосы и, достигнув абсолютных духовно-нравственных высот, утратят их совершенно. Волосы остались у дикарей, потому что они только что с гор. А безволосые — высшая раса.

Последнее шло вразрез с его же утверждениями о собственной бритости, но Вера решила этот теоретический недочет не выявлять. Он еще что-то говорил про будущее, про Россию, томящуюся под игом, про то, что Москва — Третий Рим и совсем засыпал ее содержимым своих душевных и умственных закоулков. А вообще, хватит с него малолетних, со своими не знает что делать, и, если от души, то она ему немного того, надоела, покладистая больно. Одевается непривлекательно, себя не блещет, вначале старалась, а как его захомутала, запустилась. Смотреть не на что, хоть бы губы что ли накрасила. Хоть бы завела себе кого.

Он ставил Вере в укор ее послушание, то, что она выполняя его же условия, сделалась слишком скромна, слишком покорна и вызывающе, отталкивающе верна.

Хоть бы завела кого.

Толкая ее этими словами, предлагая другому, лысый снимал с себя ответственность, желая быть, что называется, свободным. Иметь маневр, превратить ее неверность в монету, которая позволит в случае чего от нее же откупиться.

Им завладел страх перед ясностью и, в конечном счете, смертью. Потому что, сделав выбор, признаешь путь, а любой путь ведет в одном направлении. И лысый, как и многие, отчаянно надеялся, что вихляя и мечась, обманет смерть. Объюлит.

В город возвращались молча. Лысый изредка ругался, перебирая меридианы радиоприемника, который заполнял автомобильную капсулу звуками FM-диапазона. Только раз он заговорил с ней, буркнув, что надо заправиться, а то встанем, он ее катать не обязан, на нем двое мелких и бывшая.

Вера протянула купюру, он вырвал презрительно, долго пропадал в недрах заправки и вернулся жуя, а ей ничего не купил.

Расставаясь, она спросила пойдут ли они в следующую субботу в кино, как планировали. Он не отвечал и только зажигалкой чиркал. Чирканье сделалось нестерпимым и Вера выскочила на тротуар. Когда она шла, не помня себя, к подъезду, поперек сиганула кошка, в сумерках показавшаяся черной.

«А ведь верно, какой ужасный был день», — подумала Вера о справедливоosti приметы, позабыв про то, что кошка сообщает не о том дурном, что уже случилось, а о том, что только предстоит.

\* \* \*

Вера будто рассматривала в себе новое, в разговоре с лысым непроизвольно высказанное. Она вдруг страстно захотела быть оплодотворенной. Раньше готовилась забеременеть от банкира, но то было желание скорее рациональное. Рождение ребенка воспринималось ею как естественное продолжение многолетней связи.

Теперь все обстояло иначе. Что-то неподконтрольное, хаотичное владело ей. Кто ей нужен, мужчина или ребенок? Женщина может привыкнуть к любому мужчине, из любого может извлечь пользу и негу. А вот ребенок... Мальчик или девочка, светленький, как она или потемнее, в ее мать...

Невнимательно перебирая почту, Вера заметила письмо из отделения для неизлечимых. По американской традиции она уделяла время благотворительности и была подписана на новости профильных организаций: в одни отдавала ношеную одежду, в другие, во времена достатка, жертвовала наличные. Отделению для неизлечимых она тоже время от времени оказывала помощь — развозила обеды для неходячих.

Теперь она читала про молодую совсем девушку, нет тридцати, лежит с четвертой стадией и одна у нее печаль — волос после химиотерапии совсем не осталось.

Перечитав и усвоив каждое слово, Вера хорошенко помыла голову и отправилась в парикмахерскую.

Всей суммы на покупку у нее не было и потому в тот же день она передала переливающийся ком собственных кудрей постижеру, накинула кое-что из кошелька и получила взамен роскошный, из натуральных волос ее цвета, парик, который и понесла умирающей.

Поселенцы палаты хоть и виднелись еще на поверхности жизни, но погружались стремительно, уходя в вечную бездну, неизбежную, таинственную, такую пугающую для тех, кто еще держится на плаву. Искомая особа покоялась под слоями одеял на стандартной, казавшейся громадной, койке и была так похожа на сухой листик, что не каждый смог бы ее обнаружить среди простыней и подушек. Вера подумала, что ни один журнал не согласился бы опубликовать фотографию этой девушки — товарной привлекательности в ней совершенно не осталось. Можно было бы отметить особенные глаза, познавшие боль, огромные и прекрасные, но глаза были мутной водой.

Вера села на край, сняла с желтой головы шапочку и надела поверх редких клочков парик. Осчастливленная не подавала признаков жизни и только появление некоторой сфокусированности во взгляде, когда Вера поднесла зеркало, выдало наличие в этом существе мысли.

Парик не украсил ее, напротив, только подчеркнул тень смерти, которая

заволакивала несчастную. Вера вдруг испытала такую боль от этой очевидности, что едва не сорвала свой подарок, чтобы скомкать, упрятать, сжечь. Избавить и ее и себя от невыносимого сравнения.

Но тонкая рука выбралась из-под одеяла и потянулась к Вере. Вера склонилась навстречу и скелетные пальцы тронули мягкий ежик на ее виске. И коричневые губы растянулись в едва заметной, насмешливой улыбке.

И Вера поцеловала эти сухие губы.

Покинув здание больницы, Вера несколько раз глубоко вдохнула показавшийся удивительно свежим городской воздух и вдруг сплюнула.

\* \* \*

Как любой наголо остриженный человек, Вера то и дело ощупывала и поглаживала макушку, но это занятие недолго развлекало ее — скоро она снова не знала куда себя деть, как распорядиться с вернувшимся одиночеством. Она думала о девушки, для которой постриглась. Стоило ли ради чьих-то последних часов лишать себя шевелюры, жива ли девушка, а если уже скончалась, то чью голову теперь парик венчает? Однажды Верин взгляд упал на то место в стене.

Она отодвинула стеллаж, которым закрыла проход в ничью комнату.

Толкнула дверь.

Вошла.

Янтарный свет лился сквозь шторы. По стенам висели фотографии, гравюры и картины, которых она в прошлый раз не заметила. На фотографиях старинных и относительно недавних были изображены неизвестные взрослые и дети, группами и поодиночке. Картины и гравюры изображали горные и равнинные пейзажи с романтическими замками и селениями. Кроме платяного шкафа имелся и книжный, полный томов.

Вера решила прибраться, принявшиясь протирать вертикальные и горизонтальные поверхности, выступы и ниши, а заодно разглядывала вещи. Стекла фотографий повизгивали под тряпкой, книги хрюстели склеенными страницами. Самое интересное ждало в гардеробе, где на полке, над вешалкой со старыми пальто и шубами в чехлах, лежал комок пушистого натурального парика.

Покончив с уборкой, Вера примерила находку. Парик выглядел новым, неношенным, неприязни не будил и так напоминал собственные состриженные, что Вера решила его не снимать, зная, что от меланхолии нет средства лучше, чем переодевание.

Она не стала задвигать проход в ничью комнату и бродила теперь по просторам расширившейся жилплощади, подвергая участившемуся биению ума свое безвыходное одиночество.

Наверняка соседи по лестничной клетке судачат, особенно та старуха, которая по выходным нянчит внучку. И та молодая, которая недавно спросила: «Правда, у меня живот совсем не видно?» и добавила с гордостью: «Пятый месяц, а никто еще не заметил!»

Все, небось, строят догадки, почему без мужика, почему до сих пор не обустроила гнездо, не снесла яйцо, не отложила человеческую личинку. Почему плется в хвосте женских масс.

Что с ней не так?

Боится передать страшный наследственный недуг?

Бесплодна в результате преждевременного порочного опыта?

Не способна зачать, выносить, родить?

Невесть что принято думать об одиноких и бездетных.

Она надела купленные на рынке, по настоянию лысого, туфли. Левый жал. В спешке, когда она копалась в примерочной, а он вспылил, торговец спутал пары и сунул левый меньшего размера. А может, специально подложил. Раньше надеть повода не было, только теперь обнаружила. К слову, размер у Веры был не маленький. Сорок первый европейский. Впрочем, это ее не портило.

Превозмогая, она отправилась к месту службы лысого, чтобы подождать у проходной.

Добиралась общественным транспортом, автомобильная страховка истекла, неоплаченных штрафов накопилось на минимальную пенсию. Недавно она уже удирала от гаишника задним ходом по встречке, оцарапала дверь и теперь решила не рисковать. Поезд подкатил к нужной станции, за стеклом, превращаясь из смазанной массы в различимые фрагменты, замедлялось сплошное азиатское лицо. Двери разъехались и она, беленькая, стала проталкиваться. Азия пропускала неохотно, перетирала, перекатывала и заполнила вагон вместо нее.

Натирая левую, стараясь держаться прямо, доцокала.

Она стояла среди просителей и приглашенных. Когда он появился в компании коллег, то ее не увидел. Не притворился, это всегда понятно, а именно не увидел, хотя прошел рядом, а она не решилась окликнуть, стала преследовать и вдруг передумала.

Сделался вечер, Вера хромала без всякого определенного направления и обнаружила себя возле храма, где отец когда-то прислуживал алтарником. Ворота были распахнуты и она увидела батюшку, сходящего со ступеней в сопровождении налитого телохранителя. Батюшка был обернут в золотой конвертик фелони и напоминал конфетку.

Поджидавшие, чулочно-платочные пола женского и неопределенного, завидя его, бросились лобызать выпростанную конечность с краткими перстами, свидетельствующими по уверениям хиромантов о деловом складе. Места хватило не всем, налитой теснил, и вот уже батюшка вгрузился в качнувшуюся полость братиславской сборки на моторе в триста восемьдесят две лошадки с кожаным салоном лазурно-синий эксклюзив, и чулочно-платочные бросились на вздутий, словно насосавшаяся пиявка, корпус, прикладываясь и подталкивая вперед малолеток, и на пыльной эмали едва различались многочисленные оттиски шепчущих «благослови», губ.

Боль свалилась на Вера в одно мгновение. Она сорвала туфлю с истертой ступни и швырнула в сторону. Сняла второй. Стащила добропорядочные рукава и набрала семь цифр и код региона перед ними.

— Привет, надо встретиться.

— Сегодня у меня акция, давай на следующей неделе, — в трубке раздалось режиссерское хрумканье.

— Очень хочу тебя видеть.

Хрумканье замедлилось и прекратилось вовсе — он задумался, отер усы.

— Ладно, приезжай. Поможешь.

— Я скоро! — не сдержала радости Вера.

Она остановила такси, которое вывезло ее к набережной, где уткнулось в затор напротив брускатого подъема Васильевского спуска.

Вера подумала, что и Спуск и вся Красная площадь похожи на ящера, который когда-то прогневил Бога и тот решил его прихлопнуть. Кремль бухнул — одну перепончатую лапу придавил, ГУМом другую, Василием Блаженным хвост, Историческим музеем хотел башку размозжить, не вышло, Мавзоле-

ем — промахнулся. Тяжелые предметы кончились, ящер изогнулся, замер, теперь выжидает, копит силы, и однажды страхнет непременно всю архитектурную мишуру и вообще все страхнет.

У двери подъезда Вера позвонила. За спиной, курлыкая непонятное, прошли трое из обслуживающего, временно зарегистрированного сословия. Затылком, спиной, задом ощутила их голод. Протяжное тонкое гудение возвестило — путь свободен. Дернула дверь, вбежала.

Долго не открывал.

Наконец шаги.

Поворот ключа.

Бросилась на шею.

Он жевал жвачку. Перемалывал целый ком. Обнял ее невнимательно и воровато огляделся. Никого кроме Веры не увидев, натянул на голову шапку с прорезью для глаз.

— Снимай, — сунул ей камеру.

Она навела объектив.

— Снимаешь?

— Снимаю.

— Мы, бойцы... — он запнулся, поняв, что соседка может услышать, потащил Веру в свою комнату, начал заново шепотом:

— Мы, бойцы фронта защиты истории, объявляем войну зарвавшимся девелоперам и алчным чинушам! Мы больше не будем подавать петиции и выходить на митинги! Мы будем уничтожать вас физически, как вы уничтожаете наш город! Сняла?

Просмотрев запись, они сделали еще несколько дублей, пока не получился хоть как-то его удовлетворивший. Затем они прокрались из квартиры, вышли под открытое небо, огляделись.

— Ну, с богом, снимай, — наказал он, перекрестился, плонул через плечо и, приседая, будто под пулями, пошел. Перебежав клумбу, он приблизился к экскаватору, стоявшему перед строительным забором.

Вера следила за его перемещением через окошко видеоконтроля. Только сейчас она обратила внимание, что вокруг старого особнячка, притаившегося во дворе, появилось ограждение с вывеской «реконструкция». Она знала, что означает такая реконструкция — домик обречен.

Режиссер, настоящий милитант, тем временем завозился с дверцей кабины экскаватора и скоро, никем не замеченный, вернулся.

Они отступили в его комнату.

— Все! — сказал он стаскивая маску, обнажив пышущее радостным перевозбуждением лицо.

И вырвал у Веры камеру.

— Убери, меня могут узнать!

Вера осмелилась спросить:

— Что ты сделал?

— Первая акция!

— А что именно?

— Залепил жвачкой скважину дверцы. Утром никто не сможет открыть и работы остановятся.

Он плюхнулся на незастеленную кровать. Рядом кособочилась коричневая этажерка, уставленная початыми сосудами, грязными рюмками, бокалами и фаянсом. Из-за многократно проливаемых напитков полки этажерки, покрытые

кружочками от чашек и кляксами, липли не хуже ленты для мух. Внимание привлекали несколько заткнутых тряпками бутылок. Их наличие объясняло стоящий в комнате запах горюче-смазочных.

— Готовимся к противостоянию, — пояснил борец.

Повсюду были рассыпаны крошки и мелкий сор. Переполненные пепельницы попадались так же часто, как в иных домах попадаются букеты свежих цветов. В недавнем прошлом Вера несколько раз пыталась навести здесь порядок, оттирала и вытряхивала, но обитатель быстро приводил все в прежнее запустение.

— Чай? — поинтересовался режиссер, усадив гостью рядом с собой на кровать.

Вера кивнула. Он выискал две, показавшиеся наиболее чистыми, емкости, плеснул из бутылки, подал ей.

— За встречу.

Она сделала вид, что отпила и притворно поперхнулась. В другой раз она бы обязательно помыла чашки, но теперь решила не нагнетать, ведь этот вечер может стать началом новой жизни.

Девять с половиной месяцев.

Маленький человек.

Он или она.

Лучше он.

Будет расти, капризничать, радовать. Будет помогать ей, жалеть ее, спасать. И всех остальных. Люди такие несчастные.

— Мы готовим акции по всему городу, — выдохнул режиссер после глотка. — Сразу на всех стройплощадках, где сносят памятники архитектуры. Ой...

Глазами, полными ужаса, он посмотрел на свой телефон, лежавший рядом. Схватил его, вскрыл, извлек аккумулятор.

— Дай мобильник!

Вера протянула свой. Он нервно вырвал, начал ковыряться.

— Не открываться!

— А зачем?

— Надо полностью вырубить аппарат, иначе могут прослушать.

— Меня?

— И тебя тоже. Они ведь знают, что мы общаемся.

— Кто?

— Я уверен, в последнее время за нами следят: читают, слушают, — шипел начинаящий подпольщик.

Так и не справившись с расчленением Вериного устройства для приема и передачи звука, он сунул его под собственный зад.

— Когда я на улице по телефону говорю, то рот прикрываю, чтобы по губам не прочитали.

Он показал, как ладонь помогает сохранить тайну диалога.

— У нас серьезная организация. То, что ты видела — только верхушка айсберга.

Вера знала, что его сексуальная пригодность зависит от барометра самооценки. Если режиссер ощущал прочность собственного авторитета, выслушивал комплименты по поводу балета или срывал громкое одобрение соратников, то становился достаточно бодр и даже игрив. В случае невнимания окружающих, появления яркого конкурента в борьбе с застройщиками или обнаружения в

почтовом ящике напоминания о полугодовой задолженности за услуги ЖКХ мрачнел, усы его увядали и сам он валялся в постели, уткнувшись в стену и на любой вопрос отвечал истеричным воплем. Его настроение легко регулировалось в сторону «ясное» и «хорошее» при помощи двух-трех комплиментов. К своим годам Вера уяснила — когда имеешь дело с мужчиной, лести много не бывает.

— Отлично выглядишь! Рубашечка новая.

— Подарили, — самодовольно расплылся режиссер и стало ясно, что некая новая дамочка обивает его порог. Уж не кепочная ли? Впрочем, вряд ли.

— И загар, — продолжила подмечать Вера.

— Открыл для себя тональный крем, — простодушно признался режиссер и Вера наигранно удивилась.

— Лидер должен внушать уважение не только словом и делом, но и внешним видом, — сообщил режиссер.

— У тебя получается, — нежно сказала Вера. — Слушай... — она набрала побольше воздуха. — Помнишь, ты говорил, что любишь детей...

Он издал неопределенный звук.

— Мне от тебя ничего не надо! Только сперма! — с неожиданной для самой себя ясностью заявила Вера.

И рассмеялась.

— Ты можешь не участвовать в воспитании. Даже хорошо, если ты не будешь участвовать...

— Как это не участвовать? Я же отец как-никак. Папаша!

— Ты мне очень нравишься, я хочу родить от тебя. Мне уже... — Вера замешкалась. Она не помнила, сообщала ли свой возраст. — Мне почти... короче, пора принимать решение.

После ее поспешно поданного замысла, после паузы, за этим последовавшей, принялся рассуждать он, неожиданно проявив деловую хватку, которой раньше не наблюдалось.

— Я не могу разбрасываться собственным... хм... семенем... ничего не бывает просто так.

— Я оплачу. Чтобы все было честно, по закону равновесия. Ты мне, я тебе.

— По закону равновесия, говоришь... — он задумался, выдвинул ящик тумбочки, достал ту самую пухлую пачку старинных акций.

— Разбирал тут бабкины бумаги. Если бы не революция, я бы в золоте купался.

— Милый, я хочу продлить твой род.

— Вон что затеяла, — забубнил потенциальный отец.

Тревога, сомнение и подозрение прокатились резвой тройкой по его лицу.

— Чего ты испугался?

— Я не испугался.

— Просто хочу, чтобы ты кончил в меня и все.

— Что значит «кончил и все»? Это же... а предохраняться... а инфекции... — перекинув руку через плечо он почесался.

Вера поспешила помочь, так и заскребла.

— Милый, ну какие инфекции?

Она гладила его спину, от которой исходила нарастающая спесь.

— Ты вертишь.

— Просто пришло время. Хочу ребенка. От тебя. Можно?

— Только не психуй.

— Я не психую.

— Ты на взводе! Звонишь вдруг, врываешься. Это... это... это серьезное дело. Это ответственность, — он вспомнил рассуждения, слышанные по телевизору, и стал цитировать. — Надо все взвесить, пройти обследование, сдать анализы. О детях надо заботиться, няня, школьная форма, учеба, приданое. Я так не могу! Надо в конце концов себя сначала познать, а потом детей делать. А я пока себя не познал. Я, может, в ополченцы скоро пойду, русский мир защищать!

Понимая, что все это мужское познание самого себя не означает ничего, кроме желания отвертеться, Вера дружелюбно повторила, что все заботы возьмет на себя, что от него ничего не понадобится, но за ее американской улыбкой внимательный наблюдатель уже смог бы разглядеть отчаяние.

— Хочу ребенка, похожего на тебя. С бородой, с твоими глазами, чтобы такой же нос...

- Опять намеки!
- Какие намеки?
- Сама знаешь!
- Ничего не знаю.
- Глаза, нос!

Догадавшись, что режиссер принял ее комплименты за камень в огород собственной нацпринадлежности, Вера улыбнулась.

— Опять за свое! — вскрикнул режиссер, забыв о прослушке.

Все портреты предков, миллионные акции, выдуманная родословная, все это разбивалось о какой-то пустяковый, пусть не маленький, но всего лишь нос.

— Не обижайся, хочешь на колени встану? — пускай шутливо, но она и в самом деле опустилась на пол. — Хочешь бычок съем? — полезла в пепельницу.

И вдруг режиссер толкнул Веру.

Ему понравилось, как ее грудная кость бухнула под его коленом, как рассыпались окурки. Он толкнул еще.

«Опять за свое», — приговаривал он, запинывая Веру в мебельную щель.

Опять за свое.

Кулаком.

Вышло неловко, костяшки сбил о зубы.

Еще коленом. Вера согнулась, парик сполз. Заметив волосянную накладку, режиссер усмехнулся, намотал, и в восторге от собственной выдумки, держа Верину голову левой, уже не подвергая опасности правую, махнул хорошенъко по ее красивому симметричному лицу.

Вера обнимала его ноги.

Красная капля из брови, разбитый рот и хрипы пробудили у него аппетит. Он задрал, разорвал и приник урчащим рылом к... нет, на этот раз не к ногам, а к беззащитным, предназначенным для нежных ласк, интимным Вериным сокровищам.

Трудно доподлинно определить, что испытывала Вера, поэтому неясно, от чего она захлебывалась и скулила: от удовольствия, от грусти или просто от сбивших дыхание ударов и боли. Про распаленного же бородача можно сказать, что он был всем доволен, себя успевал дергать, а потому скоро выдоил несколько хаотичных, тут же смешавшихся с грязью на полу, капель.

Отершись париком, он приладил его обратно на Веру, а капли тапком резиновым растер.

— Не обижайся, сама виновата, знаешь, на меня давить нельзя. Давай,

синяк замажу, — он взял тюбик тонального крема и принялся наносить на распухающее Верино лицо.

И Вера сделалась сама из себя изъятой. Увидела себя сверху, с луны, обрезок которой не первую ночь таял на телефоне неба. Сорокалетняя, красивая, со свободным английским, лежит побитая, расхристанная, на неопрятной койке в тусклом освещенном углу, где только что умоляла кончить в себя.

Но самое грустное во всем этом было то, что его язык оказался первым языком, коснувшимся ее в том самом месте.

Она вырвала из его рта сигарету, ткнула в тряпку одной из зажигательных бутылок и грохнула об пол.

Он зажмурился и поджал ноги.

Бутылка не разбилась, тряпка воспламенилась нехотя. Вера смотрела и ждала. Тряпка сгорела почти целиком, бутылка зашипела, пукнула и, подгоняя вялыми газами, поползла под кровать, где уткнулась в угол, в пыль и затихла навсегда.

\* \* \*

Вера находилась в том состоянии, когда силы оставили, существуешь инерционным жизненным движением и в повседневности неучаствуешь. Она вдыхала и выдыхала, пережевывала и глотала, иногда, впрочем забывая, просыпалась все позже, засыпала с каждым днем все раньше — стараясь сократить осмысленное проживание дней. Визит к режиссеру стоил ей нижнего бокового резца, и наскасти на стоматолога не получалось. Попыток сжить себя со света она больше не предпринимала скорее из общей своей пассивности, чем из привязанности к окружающей среде.

Зато снова виделась с Наташей. Та спровадила сыновей в летний лагерь и наслаждалась свободой, которую реализовывала в салонах ухода за телом. Она настояла на встрече, Вера не сопротивлялась. Наташа поволокла ее в парк, усмехнулась парику, подметила кусательно-жевательную прореху, тараторила о муже и мальчишках, а в укромном уголке приединила неожиданно Веру к березе и прижала свои усовершенствованные губы к ее натуральным. А потом заговорила.

Борец с лицом убийцы застукал ее с хахалем, простили, но с условием — она родит третьего. И, о чудо! Оказалось, врачи тогда ошиблись, поставили на ней крест, а теперь что — беременность протекает нормально. Наташа даже плащик распахнула и предъявила облагороженный ультрафиолетом, в упор мигнувший диамантом из пупка, живот.

Вера не сразу услышала ее слова. А когда, наконец, дошло, поморщилась и одновременно набухла как-то, как бывает с непьющими после рюмки. Начала хватать ртом, хлюпать и Наташа не без радости разобрала слово — предательница.

Наташа рассмеялась по-доброму, всепрощающе так, обняла Вера за плечо, прижала, как родную. Вера твердила про измену подруги, Наташа же обнимала все крепче. Наконец Вера оттолкнула Наташу и посыпалась на Наташу слова, которые от Веры никак нельзя было ожидать. И про то, что уродина, и выползла невеста откуда, про мужа-преступника и мерзких сыновей, про безвкусницу быта и еще про что-то, в чем Вера сама заблудилась, споткнулась, буквы рассыпались и отчетливые звуки слились в рыдание.

Наташа же с каждым новым Вериным выпадом хорошела и через какие-то секунды достигла такой прелести, что все ее косметологи диву бы дались. И когда Вера запнулась и залилась слезами, Наташа подождала немного, а потом

сказала, что совсем на Веру не обижается, прощает и, кстати, про своего отчима она тогда пошутила. Он ее и пальцем не трогал, заботился, в кружок водил, а потом ей сюда копейки сэкономленные присыпал, пока не помер.

\* \* \*

Скудные средства шли на убыль, искусственные лохмы Вера больше не снимала, посуду не мыла. Впрочем, особой нужны в этом не было — из-за недостатка средств Вера почти ничего не ела. К счастью аппетит сокращался вместе со сбережениями.

Рефлекторно, без интереса прокручивая свиток сетевой хроники, она обнаружила, что существует еще одна Вера.

Точно такая, но не она.

Фотография, как у нее, фактически ее фотография. Имя совпадает и прочее. Но главное, что ее собственные заметки и картинки ничем не отличались от заметок и картинок той, другой.

Вера решила виду не показывать, притаилась.

И та притаилась.

Но однажды Вера настоящая получила от Веры поддельной бредовое, бессмысленное и оттого совершенно жуткое послание.

«Хорошего мужика найти трудно. Надо себя не уважать. Я не лысый. Скоро всему конец. Добрался хорошо. Желаю вам счастливо здесь жить. Трусы тоже. Одна беременная была и того. Очень одаренный мальчик».

Вера удалила все свои фотографии и та удалила.

Вера вытравила о себе все и той след простыл.

Избавившись от подозрительной слежки, она подолгу проводила в ничьей комнате, вглядываясь в дебри обойного узора, в фотографические лица, в корешки книг, в слои древесного спила на дверцах шкафа.

Инъекция того дня, когда впервые увидела дверь, сработала. По ней стало расползаться, заполнило клубком, щекотало, перебирало, владело ей. Она уносилась в далекие, смутные миры, где нет ни полных сомнения осеменителей, ни блистающих повышенной всхожестью подруг. На свежий воздух выбиралась редко, приборы обесточила, телефонный аккумулятор ослаб и новым электричеством подпитан не был.

Однажды Веру разбудил неприятный шум. Уличный фонарь светил слишком громко. Взяв кошелек, где водительское и ключи с фонариком, она прошла в ничью комнату. Перегоревшую при первом визите лампочку так и не заменила.

Она вытащила из шкафа тряпье, выковыряла кнопки, булавки и гвоздики, крепившие фотографии, завесила окно и дверь, выключила фонарик и осталась в кромешной, безупречной темноте.

Тьма была гостеприимной. Принимала и укутывала.

Вера задремала.

Приснилось, что гуляет с детской коляской и вдруг коляска на что-то наткнулась. Посмотрела, а под колесами ребенок, которому положено находиться в коляске. Она его сапожком отпихнула и дальше покатила. А ребенок как замяукает вслед.

Вера очнулась. Рядом в темноте кто-то ходил.

Пара ног прошла от шкафа к двери, а затем в ее сторону и замерла прямо возле.

Впервые за долгие годы Вера стала по памяти говорить, что верует во

Единого Бога-Отца, Творца Неба и Земли, видимого и невидимого. Верует во Единого Господа Иисуса Христа, сошедшего с Небес, распятого, страдавшего, погребенного и вознесшегося. Вера повторяла, что верует, верует, верует и одновременно нащупывала связку ключей с фонарем, не зная, что лучше: увидеть или оставить во мраке. Фонарь отползл от пальцев, но она настигла его и выпустила луч.

И тут же вскочила на кровати в полный рост, вжавшись в стену.

Пыльный пол был покрыт отпечатками разных, больших и маленьких, размера баскетболиста и делающего первые шаги малыша, рифленых и гладких обувных подошв.

Она стала разметывать пыль.

Стала ползать, растирая следы ладонями. Пыль клубилась в скачущем луче. Уничтожив последний отпечаток, Вера поднялась, отряхиваясь и чихая. Настало время проветрить.

Рванула импровизированную занавесь. В том месте, где недавно было окно, теперь стояла капитальная, оклеенная обоями стена, ничем не отличающаяся от соседней.

Вера кинулась к двери, ведущей из ничьей комнаты в ее арендованную.

Дверь на месте.

Дернула.

Заперто.

Толкнула.

Заперто.

Принялась пинать и стучать.

Неужели замок защелкнулся? Не может быть. Это не такой замок. Этот с большим ключом и широкой старомодной скважиной. Он не мог защелкнуться.

Прильнула к скважине.

Темень и едва ощутимый ветерок.

«Ночь», — поняла Вера и уже собралась отнять глаз, как заметила по ту сторону движение.

Моргнула.

В скважине дрогнуло.

Она отстранилась и посветила.

И поползла прочь от двери, ногами и руками отталкиваясь. Ее тряслось, как плохо закрепленную стиральную машину.

Печень на почки, почки на сердце.

Серебряный глаз глядел на нее из скважины.

Ужас наполнил Вера целиком, как гипс, которым помпейские археологи музеинным зевакам на потеху заполняют человеческие, оставшиеся в застывшем пепле пустоты. Подвывая, она каталась по комнате, но глаз настигал везде.

Вот бы подскочить к окну, распахнуть и прыгнуть.

А лучше прямо через стекло. Проломить оконные перекладины, избавиться навсегда.

Только окна нет.

Тогда за город, на шоссе.

Стала собирать разбросанные тряпки. Пригодятся. Фонариком светила аккуратно, чтобы с улицы не заметили. Хоть окна нет, а рисковать не стоит.

Протиснулась за шкаф, отодвинув его от стены.

В клиновидном закутке было надежно, но тесно. К задней стенке лепилась

покоробившаяся бумажка со штампом фабрики, годом выпуска, номером изделия.

Осветила.

Цифры скакали, ссорились, перестраивались. Четверка подталкивала остной коленкой круглый бок девятки, семерка клевала двойку, римские палочки-галочки дребезжали частоколом. Цифры складывались, становясь увесистым числом, разбивались в брызги о край дробного столбика. Цифры охамели не случайно, они что-то знали. Они специально выкрутиасничали, кривлялись и дразнили.

— Да, я рухлядь! — завопила Вера.

Шкаф был выпущен в год ее рождения, в один день с нею. Он давил на грудь. Халат зацепился за шляпку гвоздя. Она рванулась. Материя затрещала. Шкаф шумно придинулся к стене.

Перевернула кровать, отыскала на днище наклейку.

Тот же год и день.

На старом пальто бирка из прачечной.

Смятый кассовый чек.

Цифры, цифры, цифры.

Вера погрозила кулачком вокруг себя. Повсюду камеры и микрофоны. Стараясь выглядеть непринужденной, оторвала прозрачную обложку от водительских прав, соскребла фотографию. Теперь никто не догадается, что это она.

Что-то коснулось головы.

Вскрикнула.

Махнула фонарным лучом.

Прямо перед ней покачивался абажур с огрызком взорвавшейся лампочки. Он опускался вместе с потолком. Шкаф полз на нее, стены сдвигались. Страшный скрип и скрежет обрушились на слух.

Под нажимом потолка шкаф хрустнул, боковые стенки и дверцы распались. На макушку надавило.

Склонила голову к плечу. К уху прижалась потолочная штукатурка, до которой еще несколько минут назад не смогла бы допрыгнуть.

Прислушалась к потолку, как к земле прислушиваются.

Нарастающий гул.

Полоснув по стене лучом, высветила новую дверь, которой раньше не замечала. Переставляя собой, будто куклой, приблизилась. Дверь сокращалась вместе с отведенным ей в стене местом. Вера толкнула ее головой и выплюнулась из ничьей комнаты.

Потолок и пол тотчас сомкнулись.

\* \* \*

Вера обнаружила себя на полу в помещении, напоминающем ее нынешнее место жительства. В окно проникал осенний свет.

Тело ходило ходуном. То голову тряхнет, то колени стукнут, то всю передернет. Под лицом будто бегала мышь. Справившись кое-как с дрыгающимися конечностями, она осторожно выглянула — улица, сквер, карапузы на качелях.

Обследовала место.

Коридорчик. Кухонька. Санузел. В углу святая покровительница. Все, как у нее.

В зеркале опухшие, растертые глаза, царапина на лбу, халат испачкан и порван.  
Умылась.

Снова глянув на отражение, отпрянула со вскриком — вместо грудей у нее торчали свиные рыла.

Стучать зубами, стала метаться, ища выход.

Коридор, кухня, опять коридор, дверь.

Вернуться не получается.

Снова дверь.

Вера завопила истошно и злобно, а затем стала издавать отдельные вопли и было отчего. Прямо перед ней стояла мать.

Прекрасная проходимка, дважды соблазнившая Сулеймана Федоровича, оправила пышные локонь, сняла их с головы и протянула Вере.

И улыбнулась при этом доброжелательно.

Не помня как, Вера вырвалась и вот уже бежала по лестнице от преследующего стука высоких каблуков.

Световой день то ли начинался, то ли подходил к концу. Из густого синяка, расползающегося метастазами по небу, лил дождь. Каркнула взлетевшая с отбросов ворона. Вера задрала голову к своему окну на четвертом.

К стеклу прильнуло женское лицо.

Прячась в махровый капюшон, бросилась прочь. Споткнулась, расшибла колено. Пешеходный бетон блестел и выворачивался на сторону, проезжий асфальт гнулся черной змеей.

Животы домов распирало индивидуальным уютом, они едва не лопались от переваривающихся людей и мебели. Того и гляди кирпичные и монолитные пузя прорвутся и стандартный и перепланированный быт хлынет наружу.

Встречные существа, сплошь мужской породы, пихали Веру, едва не сбивая с ног, роняли вслед гнусности, плевались, чадили потом, куревом, пищеварением. Она пробиралась среди плащей, курток и пиджаков.

Мокрые ткани липли и цеплялись.

Вывески рушились на голову.

Шлюзы светофоров едва сдерживали потоки автомашин.

Провода, звенящие от натяжения, стягивали разъезжающийся по швам улиц город.

Голова чесалась, Вера то и дело засовывала под парик пальцы и яростно скребла.

— Сестра, помоги чем можешь. Деньги и паспорт украли, ночую на вокзале, — морда обряженного в добротную, запачканную одежду смердила.

Вера стала рыться в карманах халата, но обнаружила, что поделиться нечем. Убедившись в ее финансовой немощи, проситель харкнул ей в ноги.

— Попробуй ягодок, — окликнула баба с корзиной. Вся укутанная, краснощекая, будто сидящая на самоваре. — Ягодки сочные, спелые, свежие. Волосы длинные, густые, хорошие. Комнатка теплая, уютная, ничья. Девять полюбишь, десять разлюбишь, с одним останешься.

Вера приблизилась.

— Распоясалась, — приветливо оскалилась баба вставным цветметом. — Блудить пошла! По кругу пошла! А отец кто, знаешь? Как сына назовешь? Халабурдун Билибердоевич?!

Лицо бабы показалось совсем не жирным. Гнусная предпринимательница хорошела на глазах, это уже была не жирная, а просто фигуристая девица, вовсе не красномордая, а просто румяная.

Более того, ее лицо казалось Вере знакомым.

Ее лицо было Вериным.

Вера подмигнула Вере, задрала подол и заговорила:

— Надо себя не уважать. Я не лысый. Ребенок — это ответственность.

Скоро всему конец. Очень одаренный мальчик.

Неся околосицу, она вконец обнаглела и стала превращаться в девочку. Вера схватила Вера за патлы.

— Это мои волосы!

Ягоды покатились по асфальту, пожилая собирательница звала на помощь. Вера царапала ей щеки, пытаясь содрать маску.

Кто-то торопился мимо, кто-то глазел. Неравнодушные схватили, поволокли.

Вера вырвалась и побежала, она притихла, только когда забилась в закуток за мусорными баками.

\* \* \*

Сколько времени она провела в укрытии, неизвестно, но когда раздались голоса, выговаривающие непонятные, спотыкающиеся, перековырнутые слова, она была в забытьи. Мусорные контейнеры один за другим стали откатываться и вот уже трудовые мигранты в дворничьих робах весело рассматривали Вера.

Спрячьте меня, спрячьте, пожалуйста!

Явился старший, бугай с вислыми усами. Помолчал и велел отвести ее в старый, приговоренный на снос дом, где на разлинованных хлипкими перегородками, некогда просторных квадратных метрах теперь жили семьи одомашненных кочевников. Предки их жгли и рубили, а эти смиренные, летом метут, зимой скребут.

Вера провели кроссвордовым лабиринтом и оставили в комнатушке шириной и длиной равную трехъярусным, по периметру, нарам.

Толстая женщина притащила и бухнула, расплескав, ведро. Озинаясь на дверцу, Вера сняла халат и принялась обтираться. Она не сразу заметила, что в щель подсматривают дети, выдавшие себя пыхтением и шорохом. Увидев завороженные глаза и онемевшие рты, она смутилась, махнула в их сторону, окропила любопытные мордочки, но дети не ушли, а захихикали.

На шум пришлепала толстая, прогнала детей и оглядела недобро голую Вера, бросила к ее ногам грязный ком.

Пока Вера терла пол, толстая забрала ее халат. Вера сначала крепко держала, а потом выпустила. Чтобы не мерзнуть, зарылась в коечные тряпки. Натянула и забылась.

Очнулась от голосов.

Вокруг было полно мужчин. В некоторых узнала отыскавших ее.

Они громко лопотали, шутливо толкали друг другу, вели себя, как в раздевалке после физры.

Вера сначала удивлялась, что ее не замечают, а потом поняла, что о ней хорошо помнят, но сейчас заняты другим, и до рассмотрения ее дела еще дойдет.

На полу между нарами установили электроплитку, вздвинули полный казан и скоро, пошептав под нос и сделав над лицами молитвенно-умывательные движения, стали загребать пальцами и сгружать в разинутые рты.

Наевшись, вытерли руки и заспорили. Когда пришли к согласию, старший стащил с Веры покрывала.

Она держала край, как держала до этого халат, но старший без злости, по деловому ударил ее по пальцам и драпирующие материи скатал.

Мужчины, которых оказалось больше, чем девять имеющихся койко-мест, теснились, разглядывали, вставали на цыпочки, просовывали колючие темные лики, цокали золотыми ртами. Вера лежала, как новорожденный ягненок в окружении пастухов, не страдающих вегетарианством.

Множество пальцев сначала несмело, как вступающие в права новые собственники, коснулись ее.

Пальцы перебирали, щупали, шарили, мяли, проникали.

— Я хочу ребенка, — Вера села на кровати.

Вокруг засмеялись.

— Сделай мне ребенка! — обратилась Вера к ближайшему.

Тот, смелый пока она с ним не заговорила, потупился, как двоечник, залыбился, отстранился.

— А ты? — схватила за руку другого.

— Ты? — Вера вскочила, заглядывала в дощатые лица, но они свои глазные прорези отводили.

— Ну что же вы?! — она стала наступать, разгоняя вздыбленных мужчин. Одного по щеке, другого, третьего. И только седьмой ее руку перехватил.

И посмотрел в ее серебряные своими ржавыми.

И мимика с её лица исчезла, отчёлтивые черты разгладились, она стала веществом.

И он запустил пальцы в ее шевелюру, стащил парик, отбросил, крепко взял, заломил, как овечку заламывают прежде, чем по шее полоснуть.

Как отец заломил, когда косички оттяпал.

И пока он, держа ее одной, другой расстегивал себя, она вся дрожала, косясь алчувшим зрачком. А потом он спустил ее на себя и она впилась с жадностью гончей.

Утоленного сменил другой. За ним следующий. Вереница темных, иконных тел тянулась к Вере. Мужчины, тяготимые нарастающим бременем, мяли и скимали свои дрожащие, пульсирующие, толстые, тонкие, длинные и кочерыжки, точно креветки или лобстеры, гнувшиеся обезвоженными садовыми шлангами и стоящие торчком ручками старинных холодильников.

По одному и группами, они содрогались над ней и откатывались обессиленные, чтобы тотчас начать томиться и с заново растущим нетерпением ждать череда причащения этой женщины. Она ощупывала их мягкие тела, твердые лица, сиреневые губы. Запоминала. Передвигаемая, перемещаемая, умоляющая прекратить и не останавливаться, вырывающаяся и отдающаяся, перекатываемая, как волны перекатывают прибрежный камушек, перебираемая чужими руками, как корни растений перебирали церковь, своим подчинением подчиняющая, ошеломленная никогда не пережитым и теперь переживаемым, приоткрывала губы, хмурилась, прислушиваясь к чужому и своему, прикрыв ставшие ненужными глаза. И когда они, выстроившиеся в ожидании быть допущенными и принести дар, иссякли, она была полна и очертания ее сделались дымчаты и расплывчаты.

Вместе с тем их прикосновения заставляли Веру возникнуть. Она проявлялась, как площадь в итальянском городе Лукка, где долгие годы жители пристраивали к древней арене свои дома, используя камни самой арены. И однажды обнаружилось, что арены больше нет, зато есть площадь, повторяющая ее форму. С тех пор арена навсегда присутствует в городе Лукка и выполнена она из самого долговечного из всех имеющихся материалов, из пустоты и преданий. Так и Вера, прежнюю себя совершенно утратив, возникла из тел коричневых людей заново.

И слезы стали падать из ее глаз. И все, кровожадно ею насыщающиеся, скокожились.

— Ты чего? Ты чего? — только и талдычили они, желая приласкать, но не умеющие этого своими руками, приспособленными к нуждам коммунальных служб.

А Вере их наждачные ладони по нраву пришлились и плакала она не от печали — само потекло.

— Не обращайте внимания, — размазывала она лицо и улыбалась конвульсивно. — Просто очень жалко всех стало.

И она умылась из чайника, а потом каждого водой обтерла. А на самого решительного свой крестик надела, еще отцом вешанный.

Из недр дальних конур, из-за фанерных слоев донесся плач ребенка. Мать утешала его курлыканьем.

Вера свернулась у перегородки, сделанной из фрагментов мебели, и глаза ее встретились с заскорузлой от старого клея этикеткой.

Клеймо, номер изделия.

Цифры не совпадали.

Вера сомкнула веки, отгородившись ими от задней стенки шкафа, который когда-то свел ее родителей, от разлинованной на клетухи, полученной танкистом, расширенной матерью и отцом, захваченной и реализованной фруктовницей, а ныне выселенной под снос жилплощади.

Она заснула без сновидений, подтянув колени к подбородку, как зародыши в брюхе спят, как древние своих мертвцев в земляную постель укладывали.

\* \* \*

Еще студенткой, катясь поездом, Вера видела вблизи ничтожной станции, как вокруг груды разлагающегося хлама с радостным визгом бегает девочка. Она знала, что однажды беззаботная хохотунья проснется несчастной. Собственный уголок в облупленном доме покажется убогой норой, мать — непригодной старухой, двор — не таинственным миром, а свалкой.

Теперь каждый отпадающий от нее мужчина возвращал ее в сад беззаботности и вечности, недоступный разумным и опытным. Она сбрасывала желание побеждать, обгонять, работать над ошибками, быть сильной и ответственной, пользоваться уважением. С неесыпались доспехи осторожности, скрытности и недоверчивости. И когда последние пылинки чести, надежды, стремлений и страха отлетели от нее, когда она совсем слилась с коричневыми мужчинами и перестала существовать, она возникла заново и уже навсегда.

Женщины ее невзлюбили и не допускали к ней чад. Мужчины посещали дважды в день после смены. Они рассказывали о семьях, ожидающих в далеких селениях, о подводе воды на огород летом и отводе зимой, о топке печи навозом, о мясе, специях и прочей национальной кухне, которая там вкуснее, чем здесь.

Мужчины несли ей помидоры, картошку и яблоки. Старший приволок ананас и долго говорил, как воином-интернационалистом красиво сносил краем брони глинобитные, как на родине, жилища, славно повоевал, а потом государство схлопнулось, теперь разнорабочим, недавно назначили бригадиром.

Вера высуналась за дверь. Перед ней разверзся родной подъезд-колодец с лестницей, вьющейся к заляпанному купольному стеклу неба. На этом пороге, поднявшись по желобу, протертому в каменных ступенях многолетней рекой ног, она когда-то топталась, забыв ключи, а родителей не было дома.

Она стала ходить по закуткам. Нащупывала памятью прежние очертания.

Здесь, под трехъярусными шконками, была ее комната. Вот и дверной наличник сохранился с отметками роста. Поднявшаяся со дна памяти привычка, занесла руку к выключателю.

Щелчок, погасло, щелчок — вспыхнуло.

Галочка раскаленной спирали прилипла к зрению, узкие очи толстой поварихи полоснули.

Здесь спали и ругались родители, сидели на Пасху, мать не в духе, отец шутит.

Здесь жила бабушка, перебирала пальцами пустоту и вся была какая-то набок.

Здесь когда-то стояла ванна. Теперь помывочный резервуар был почему-то удален, стена делилась на грязный, в подтеках подол и кафельную рубаху, сохранившую белизну.

Пригляделась.

Утенок с оборванным клювом. Вспомнила, как неловко перенесла мокрую переводилку с бумажной подложки на стену и кончик под ноготком оборвался.

Вечером Веру навестил всего один посетитель.

Молодой, который, в отличие от прочих, к ней ни разу не прикоснулся.

Сидел на полу, водил пальцами по паркету, а потом сказал, что слои дерева похожи на слои грунта, который они рыли под кабель. Асфальт, осколки, мусор, пучки корней, красная глина.

И Вера подумала, что раскаленное сердце, кипящее в середине Земли, надежно покрыто слоями веков. И чем дольше человек здесь живет, тем больше слоев, тем дальше он от этого сердца.

Молодой отвлек ее — предложил замуж.

Она не стала возражать, что годится в матери, что познакомились не в то время и не в том месте. Сказала, как есть — она не хочет. Он хороший, просто не хочет. Вообще.

Молодой свое предложение повторил, а когда усвоил отказ, потемнел весь, сгустился, хоть и без того не белокожий был, и в таком накаленном настроении подался вон.

Произошел скандал. Старшая сестра жениха, та самая толстуха-повариха ворвалась к Вере и набросилась, обвиняя на смеси языков в коварстве, колдовстве и соблазнении.

Вера не сопротивлялась, злобную женщину уняли не сразу, мужчины некоторое время с любопытством наблюдали, как повариха Вера треплет.

Негодующая сестра требовала возмездия. Она сулила всем гнев Всеобщего за то, что связались с уличной подстилкой, которая побрезговала ее братом. Она призывала наказать виновную, перечисляя все вышедшие из употребления, практикуемые и ею же сочиненные казни.

Речь возымела действие. Часть мужчин стали переговариваться, что баба, пожалуй, права, они позволили вовлечь себя в неугодную высшим силам связь и единственным способом искупления может стать справедливая кара, которую они обязаны на предмет искушения обрушить.

Кто-то схватил Вера, кто-то повалил, а кто-то вязал веревкой, придевив коленом, как придавливают парнокопытное, предназначеннное на мясо.

На Верином лице, прижатом к тому самому паркету, чьи философско-археологические свойства только что подметил несложившийся муж, нельзя было прочесть ничего кроме покорности и принятия, и даже какого-то осознания того, что будущее ей уже вполне известно и никаких сюрпризов не таит.

Перед Верой топтались разнообразные ноги. Сношенные туфли безденежных щеголей, подделки под Париж, Милан и Дубай, имитации дорогой спортивной обуви, рабочие боты, облезлый лак на крепких, торчащих из домашних босоножек, ногтях толстухи.

Опутав Веру, мужчины и женщины, наперебой, как школьные всезнайки, стали предлагать варианты наказания. Побивание камнями, сотня ударов плетью, отрубание головы и, наконец, высказанное самим стеснительным женихом — насаживание на кол.

Под гневные крики Вери потащили в пустующую, разгромленную квартиру на последнем этаже. В ней когда-то жила бабушка с опухшими руками. Она разводила на балконе герань и другие двудольные, постоянно там торчала, то и дело окликая соседок из своих благоухающих кущ. Теперь и герани и бабушки след простыл, а из-под ободранных кое-где обойных завитушек выглядывала газетная героическая жуть ушедшего века.

Веру толкнули на пол и стали суматошно приводить в исполнение все замыслы одновременно. Одни бросали в нее едва початыми, тлеющими сигаретами и мелким подножным сором. Другие стегали ремнями, третьи плевали, толстуха била мухобойкой. Кроме мухобойки толстуха принесла пластмассовую лоханку, в которой купали детей. В эту лоханку она намеревалась спустить нечистую Верину кровь, для последующего ритуального слива в унитаз. Несогласованность в рядах истязателей избавляла Вери от существенных повреждений, но жених уже выламывал подходящий брус, собираясь хоть как-то Верой в первый и последний раз овладеть.

Вера по своей природе мученицей не была и к подобному никогда не стремилась. Она не просила о пощаде и не сопротивлялась потому, что для нее вдруг сам собой разрешился вопрос, тревоживший с детства. Отец и мать говорили, что Бог повсюду и это пугало. Вера боялась увидеть Бога под кроватью, на потолке или в шкафу. Ей казалось, что Бог может выскочить сразу отовсюду со своей любовью и нотациями.

Когда Вера повзрослела, страх этого непостижимого всеприсутствия продолжал иногда охватывать ее. В такие минуты она слышала шаги и шорохи, и это ввергало в такие психоневрологические пучины, из которых удавалось выбраться только при помощи препаратов, отпускаемых по рецепту. Теперь же она почувствовала, что Бог, наконец, оставил ее в покое, как отец когда-то привел в школу и отпустил, и дальше она шла сама, а отец смотрел издалека и улыбался, и она сначала оборачивалась и видела его, а потом уже не видела.

Разгоряченное, копошащееся вокруг стадо нельзя было обвинить в жестокости. Ведь жестокость — осознанный выбор, а эти поступали согласно пусть и разбавленным советской колонизацией, но традициям. Они не нарушали норм, скорее старались их соблюсти.

Тут и явился голубь. Врезался в окно.

Видимо, перепутав отраженное небо с натуральным, пернатый бедолага на всем лету треснулся головой, оставив на стекле красную капельку.

Привлеченные ударом палачи принялись расталкивать друг друга, чтобы рассмотреть сидящую на карнизе птицу.

Голубь спорхнул вниз, в закоулки двора, но его появление не прошло бесследно. Оправившись от испуга, шумно обсуждая событие, изверги засомневались. Тут-то и вмешался старший с усами. Сказал слово. На то он и старший, чтобы вовремя разъяснять не зависящие от него обстоятельства.

Он произнес речь о добре и зле, похожую на те, что произносят в кино

чернокожие персонажи — полную банальной мудрости, приправленную вольными цитатами из священных книг.

Он говорил иносказательно и туманно, однако из его слов можно было уяснить — если они не прекратят, то это отразится на их судьбе крайне неблагоприятно. Возможно, этого хочет Всевышний, но хотят ли этого присутствующие?

Перспективы непосильного откупа от полиции, изоляции в исправительно-трудовом учреждении, вечной потери временной регистрации, а главное явление голубя уняли оскорбленные чувства так же быстро, как их пробудили вопли толстухи. После недолгого совещания Веру размотали и, как была в халатике, сунув в карман все, что обнаружили при поимке, выволокли наружу и оставили.

И сказали, чтобы шла.

Как уличным привязчивым собакам говорят.

Иди, мол, иди. Нас благодарить не надо.

А один, неприметный, задержался, отстал от своих и полтинник смятый бросил. На билетик.

Вера подождала немного, расправилась и пошла мимо домов и деревьев.

\* \* \*

Люди не замечали ее.

Увидев осколки автомобильной аварии, она подобрала отражающий фрагмент.

В этих малых, неправильной формы зеркальных сантиметрах умещалась она вся: ступни, лодыжки, икры, колени, бедра, живот, грудь, руки, шея, голова, нос, губы, уши, серебряные глаза, волосы.

Только парика не было.

Добралась благополучно. Знала, что двери в ничью комнату больше нет.

И ее не было.

У всего есть последнее место и никогда не знаешь, где оно. Заезжает машина во двор и оттуда уже никуда. Хозяин заболел, запылился кузов, осела колесами. Ночной смельчак выбил боковое и вот уже, почуяв подранка, ее рвут, фаршируют пустой тарой и окурками взамен вывороченных сидений. Так и у людей, они вкатываются в больничные палаты, гостиничные номера, виллы и халупы, чтобы никогда больше их не покинуть.

За время проживания в снятом на одиннадцать месяцев пристанище, Вера не раз с отчаянием думала — здесь ее конец. Теперь ей стало все равно.

Она подошла к окну. Повсюду была вода. Она покрыла бугры усадеб и углы панельных, все малоэтажное и небоскребное зодчество. Кресты и звезды поблескивали из глубин.

Родившись сорок лет назад, Вера поплыла сверкающим айсбергом. Истаявала, топя корабли и служа пристанищем пингвинам. Теперь от нее не осталось ничего. Собой она затопила мир, раскинулась гладью, и стала концом всего, и началом всего, и прохладой.

Не любовь, единая участь с городом сизошла на Веру. Она дернула створки и впустила осенний простор. Простор заполнил помещение, ее саму и человеческую загогулину, распускающуюся в ней.

Земля подставляла Солнцу другой бок, погружая Веру в ночь. Вера поворачивалась вместе с Землей в бесконечном пространстве и Небо накатывало на нее.

*Рыгор Бородулин*

(1935—2014)

## Ушачский небосклон

*С белорусского. Перевод Ивана Бурсова*

Из книги «Евангелие от мамы» (Минск, 1995)

### *Мать и хлеб*

Вода святой стать может из болот,  
Растут и для икон деревья в пуще,  
Но поцелуй безгрешен только тот,  
Каким целуем мать  
и хлеб насущный...

### *Вечер отцовского вяза*

Вяз отца раскинул крону надо мною,  
Опахнул вечерним сумраком доверчиво.  
Внемля чуткою листвой  
Дыханью вечности,  
От забот земных прикрыл меня собою.

Над землёю,  
Над пугливой полумглою  
Серпик месяца мерцаёт тусклой свечкою.  
Вечер мой и вечер вяза  
С летним вечером  
Породнились под тенистою листвою.

Грусть моя слилась с вечерней тишиною,  
С затаёнными отцовскими печалями.  
Не изжив земной тоски своей,  
В молчании  
Вяз отца раскинул крону надо мною.

---

Бородулин Рыгор Иванович (1935—2014) — поэт, эссеист, переводчик. Народный поэт Беларуси (1992). Автор более 70 книг стихов, критических статей, эссе и переводов. Много переводил, в т.ч. «Слово о полку Игореве» (1986), книги Ф.Г.Лорки, Г.Мистраль, К.Войтылы, О.Хайяма, С.Есенина др. Лауреат Государственной премии им. Янки Купалы (1976).

Бурсов Иван Терентьевич — поэт, прозаик, переводчик. Родился в 1927 г. в г. Климовичи, в Белоруссии. Окончил в 1962 г. Литинститут им. А.М. Горького. Как поэт печатается с 1953 г. Автор 14 сборников стихов и 20 книг для детей. Живет в Москве.

*Васильки*

Небесная пушинка — василёк,  
 Весёлый блик  
 Нетленности и праха.  
 В зелёном жите  
 Яркий огонёк,  
 Где крылья неба сложены для взмаха.

Окинет взглядом Бог из-под руки  
 Свои владенья в перезвоне жита,  
 Увидит —  
 Голубеют васильки,  
 Вся нега лета  
 Ими перевита.

Как угольки,  
 Столетьям вопреки,  
 В просторах космоса — светло и строго —  
 Моих озёр ушачских васильки  
 Сияют синевой  
 Под взглядом Бога.

\* \* \*

Начинает осень не спеша  
 Обволакивать туманом душу,  
 И наследственную грусть пастушью  
 Всё сильнее чувствует душа.

Все мы пастухи  
 На день, на час,  
 И какая б ни была оплата,  
 Дней своих должны пасти мы стадо,  
 Пока наш костёрчик не погас.

Свет тусклее —  
 Злее тень беды.  
 Мы пасём судьбу:  
 Батрачим, княжим.  
 И следит за каждым шагом нашим  
 Волчим взглядом жуть из темноты.

В глубине рябиновых ночей  
 Радость резвой молнией взметнётся,  
 И печально небо отзовётся  
 Клёкотом осенних журавлей.

\* \* \*

Василю Быкову

Я деревеньку вспоминал Бычки  
В святых местах, благословенных Богом.  
И кланяюсь я утренним дорогам,  
Домой бегущим наперегонки,  
Где слово Быкова пропахло стогом,  
А полдень воду пьёт в реке  
С руки,  
Где леший лесу рад,  
Медведь — берлогам.  
Где Евфросиньи Полоцкой чело  
Сошло во мглу,  
Но до сих пор светло  
В Иерусалим дорогу освещает...  
Нет без пророка Родины...  
Она  
Ему во все лихие времена  
Всю боль свою,  
Вздох каждый доверяет..

\* \* \*

Мы замечаем по друзьям, Насколько постарели сами, И страх уже не за горами — За нами ходит по пятам...	Затеряться, Как спелый плод среди листвы.
Страх окунуться в грязь молвы, За чем-то важным не угнаться, Не состояться,	Как дух не напрягал бы взмах, Цель у него одна при этом. Мы живы?.. Будет нам ответом Лишь вечности безмолвный прах.

### *Скрипи, перо!*

Скрипи, перо!  
Ночей  
Не спи, — а как иначе?  
Скрипеть — всё лучше,  
чем  
Захлёбываться в плаче.

Скрипи, перо,  
пока  
Спеша, греша и каясь,  
Ещё бежит строка,  
Устало спотыкаясь.

И хоть в душе мертвое,  
Спеши, как прежде,  
смелое...  
Тайком ни на кого  
Ты в жизни не скрипело.

\* \* \*

В мире,  
Который снаружи,  
Вечного нет ничего.  
Никто никому не нужен,  
Кроме себя самого.  
И понимаешь с тоскою,  
Что ты  
Только листик в листве,  
Что люди  
Между собою  
В очень дальнем родстве.

### *Святость*

Должно быть, языческим древним богам  
Выпала доля чернорабочих:  
Направил Господь их к земным берегам —  
К земным работам совсем неохочих.

Они появились в воде и огне,  
Стали деревьями, ветром, громами, —  
Служили слову и тишине,  
Рождению святости помогали.

Давно уже новой веры топор  
Вырубил всех их под корень с размаха.  
Однако их корни ещё до сих пор  
Шевелятся в сутеми нашего страха.

### *На Радуницу*

Я в этот день, с зажжённою свечой  
Склоню главу  
И помолюсь в молчанье.  
Доверившись печалим  
Всех прощаний,  
Припомню тех, кто снова стал землёй.

Здесь,  
В свете нерастаявшего дня  
Печаль слезится воском замутнённым,  
А там,  
Где всё по-божеским законам,  
Исплачет ли себя душа до дна?

Я помню всех,  
Кто в эту землю лег, —  
Оставил каждый мне себя частичку.  
И пламени невинную капличку  
Колеблет чей-то  
Запредельный вздох.

## Иордан

Листвою осенённый Иордан,  
Наполненный небесной благодатью,  
Безмолвно призывает к водосвятыю,  
Отшельнический препоясав стан.

Земной водой Креститель Иоанн  
Крестил Христа и омывал к распятию,  
Листвою осенённый Иордан,  
Наполненный небесной благодатью.

Не погасивши боль Христовых ран,  
Стремится мир спасти в своих объятьях,  
Листвою осенённый Иордан,  
Наполненный небесной благодатью.

\* \* \*

Я знаю, солнце, покидая сад,  
Должно ещё раз было оглянуться.

*Борис Пастернак*

Слова я лишь первые помню твои,  
Все остальные  
Бесследно пропали —  
Растаяли дымкой туманной вдали,  
Ушли за годами  
В бескрайние дали.

И мне не догнать их,  
Ни слов тех, ни лет,  
Покинули сами меня без возврата.  
Камин догорает,

Давно уже нет  
Ни дров,  
Ни надежд,  
Что нас грели когда-то.

Из давнего полдня, где нету дождя,  
Сквозь сад облетевший,  
Где ветви, как прутья,  
В воспоминанья мои уходя,  
Должна была ты ещё раз  
Оглянуться.

## Вече

У веча свой, медный рот.  
И речь — колокольный звон.  
Идёт на вече  
Народ,  
Гудит, как колокол, он.  
Вече — народный сбор.  
Вече — извечный спор.  
Колокол и народ —  
Всё,  
Как сам мир,  
Старо.  
У веча — голодный рот,  
У народа — нутро.  
Диктует всё —  
Аппетит.  
Вече  
Вечно гудит...

*Возвращаясь...*

Ішоў я, ішоў я  
З поўначы з карчмы.  
Знайшоў я, знайшоў я  
Салаўя ў карчмы...

*Из ушачской песни*

Я в полночь возвращаюсь из корчмы.  
Нет, жизнь-корчма меня не упоила,  
В душе всё так же  
Грёзы легкокрыло  
Из розовой взлетают полуьмы.

Я пил со временем на брудершафт,  
Плыла по кругу налитая чарка.  
Судьба,  
Как захмелевшая корчмарка,  
Всё подливала в чарку,  
Не спеша.

Случалось,  
Наслаждался соловьём,  
Но чаще рядом  
Вороны кричали...  
Но отпускали сны меня ночами,  
Чтоб я в корчме  
Забыть мог обо всём.

*Когда в Ушачах ночевал Наполеон*

Когда в Ушачах ночевал Наполеон,  
Душа июля в сонной неге млела,  
Дух суеты покоем был пленён.  
Ушачка-речка исподволь мелела,  
Пылил помолом звёздным  
Небосклон.

Печалились о ветре ветряки,  
Рассохшаяся ратуша скрипела  
И на рубашке неба  
Васильки  
До самого утра цвели несмело...  
В парижском сне пиликали сверчки.

Попасть бы к императору хоть в сон  
Ушачские прелестницы мечтали,  
Любовь всегда —  
И эшафот, и трон,  
Какие мысли их обуревали,  
Когда в Ушачах ночевал Наполеон?

## Как мотылек

Как мотылек свой кокон тесный,  
 Моя душа  
 Покинет тело,  
 Ей солнечные веретена  
 Спрядут рубашку, чтоб  
 Блестела...

Ведь и на свет она —  
 Вся в белом —  
 В своей рубашке появилась.  
 Но износилась вместе с телом  
 И снова к небу устремилась.

Земное всё  
 Душе чужое.  
 Экклезиаст сказал в начале:  
 Увидеть лучше всё очами,  
 Чем в темени блуждать душою.

В круговоращены  
 Вечной Сути  
 Душа постигнет благость Слова.  
 И на землю вернётся снова,  
 Но мной уж  
 Никогда не будет...

\* \* \*

Человек не является вдруг —  
 Он свершается,  
 Проявляется,  
 Как художник,  
 Как мастер,  
 Как друг,  
 От которого мир отражается.

Человек не кончается вдруг,  
 Как растаявший в полночи звук.  
 Он стирается о дороги,  
 Разбивается о несчастья,  
 Переходит во все тревоги  
 Века,  
 Сам, становясь его частью.

Но пред тем,  
 Как смежиться векам,  
 Человек должен стать  
 Человеком.

\* \* \*

Оставить свой наказ хотел бы,  
 Да боюсь я,  
 Что ненароком разбужу беду.  
 Всю жизнь свою  
 Молюсь я Беларуси,  
 С молитвой этой к предкам отойду.  
 С собою Беларусь носил по белу свету,  
 Куда бы ни ступал —  
 Там и она была.

Потомок кривичей,  
 Я верен был обету —  
 Отбелывать, как холст, и слово добела.  
 Чтоб белым ручником отёр потомок очи,  
 Увидел край свой, взглядом прояснев.  
 Мне освещали дни  
 И озаряли ночи  
 Кривицкий вольный дух,  
 И доброта, и гнев.

Когда почувствую — пора в иные дали,  
Одно лишь попрошу у Бога  
Для души,  
Чтоб ветры надо мной  
По-белорусски причитали,  
По-белорусски тосковали камыши.

Лесная тень моя  
Пройдёт седой травою —  
Из дома и домой трава ведёт одна.  
Не устаёт держать зелёной головою  
Ушачский небосклон  
Ушачская сосна.

*Из книги «Ксты» (Минск, 2005)*

\* \* \*

Молюсь,  
Чтобы позволил Бог  
Ещё по свету поскитаться,  
Из всех дорог,  
Из всех тревог  
Прийти в себя...  
И задержаться...

### *Идти будет...*

*Отцу Александру Надсону*

Как будто молодость вдруг подарили  
И легче сделался с лихом кулёк...  
Держит сына  
Дева Мария,  
А у младенца в руке —  
Василёк.  
В тихой светильне служба святая —  
Свет дарит миру,  
Чтоб в свете святом  
Не затихала борьба вековая  
Духа Вселенского  
С вечным злом.

И сердце вдруг окунётся в тревогу,  
Забьётся доверчивым мотыльком...  
Пойдёт душа белоруса к Богу  
Со свечкой небесною —  
С васильком.

### *Ответ*

Если б спросили меня:  
— Что ты из жизни своей  
Больше всего запомнил?  
Я бы ответил  
Словом,  
Сплетённым из солнечных лучей,  
Словом — эхом самого одиночества —  
МАМА.

*Андрей Столяров*

# Дайте миру шанс

*Повесть по мотивам реальности*

Осенью 1977 года Германия находится в каком-то шизофреническом состоянии. Так бывает, когда вдруг до удущья сгущается атмосфера, наползают, застилая все небо, хмурые тени, съедает звуки и краски сумеречная пелена, и неожиданно с дьявольской высоты начинают бить молнии, будто каюя землю ударами ослепительного огня.

Некуда бежать от раскатистого грома небес.

Негде укрыться от разрядов тысячевольтного электричества.

Все пребывает в растерянности. Все — в напряжении, предвещающем апокалиптический взрыв. Надежда мгновенно переходит в отчаяние. Шепот, едва слетающий с губ, срывается на истерический крик. Еще в апреле происходит убийство генерального прокурора ФРГ Зигфрида Бубака. Когда «мерседес» чиновника, едущего на работу по тихому Карлсруэ, останавливается у светофора, рядом с ним тормозит затянутый в кожу, прикрытый шлемом мотоциclist с пассажиром на заднем сиденье, оба они мгновенно наводят пистолет-пулеметы и всаживают внутрь салона двадцать шесть пуль. Бубак убит на месте. Также погибают двое его охранников. Личность мотоциклиста остается неустановленной до сих пор, однако уже через четыре часа ответственность за убийство берет на себя подразделение РАФ (Роте Армee Фракцион<sup>1</sup>) имени Ульрики Майнхоф. Как разъясняется в его заявлении, это «операция возмездия»: именно генерального прокурора З. Бубака один из членов организации РАФ Ян-Карл Распе назвал на суде непосредственным виновником смерти Ульрики Майнхоф в тюрьме Штаммхайм.

Главные события, однако, разворачиваются с конца лета. 30 июля происходит неудачная попытка похищения президента «Дрезденер-банка» (одного из крупнейших в Германии) Юргена Понто. Ответственность за акцию берет на себя подразделение РАФ «Красный рассвет». Убивать банкира никто не плани-

---

Андрей Михайлович Столяров — петербургский писатель и аналитик. Окончил биологический факультет ЛГУ по специальности эмбриология. Несколько лет работал в научно-исследовательских институтах, занимался тератогенезом (уродливое развитие животных и человека), экспериментальной биологией и медициной. Имеет ряд научных работ. Автор 17 книг, лауреат 12 литературных премий. Автор многочисленных статей по аналитике современности, книги по философской аналитике «Освобожденный Эдем» (2008). Лауреат Всероссийского интеллектуального конкурса «Идея для России», эксперт Международной ассоциации «Русская культура». Последняя публикация в «ДН» — № 11, 2014.

<sup>1</sup> Rote Armee Fraktion (RAF) — Фракция Красной Армии.

рут, его предполагается обменять на содержащихся в тюрьме членов РАФ. Однако Понто, в загородный дом которого врываются террористы, неожиданно оказывает сопротивление и получает пять пуль в грудь. Германия ошеломлена: террористов в дом Понто привела Сюзанна Альбрехт, его крестная дочь. Дети восстают против родителей. Настал конец света. Значит, уже никому верить нельзя?

А 5 сентября РАФ похищает одного из высших сановников ФРГ — президента западногерманского Союза промышленников Ганса-Мартина Шляйера. Операция поражает тщательной спланированностью и размахом. Среди бела дня в центре Кельна машину Шляйера окружают пятеро террористов в масках. Огонь ведется из автоматического оружия — нападающие прекрасно вооружены. Убиты несколько полицейских. Самого Шляйера увозят в микроавтобусе, где позже будет найдена записка с требованием освободить узников тюрьмы Штаммхайм (там содержатся арестованные члены РАФ). Несмотря на титанические усилия, обнаружить место, где прячут Шляйера, полиции не удается.

И наконец 13 октября, будто действительно бьет с небес одна молния за другой, группа боевиков из Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) захватывает самолет «Ландсхут» компании «Люфтганза», вылетевший с Майорки во Франкфурт с 86 пассажирами на борту. После нескольких транзитов и дозаправок лайнер приземляется в Могадишо, столице Сомали. Командир террористов, представившийся как «Капитан Мученик Махмуд», также требует освободить арестованных членов РАФ. В противном случае он угрожает взорвать самолет. В прямом эфире он заявляет: «Группа, которую я возглавляю, требует освобождения наших товарищей из немецких тюрем. Мы не намерены отступать. Мы сражаемся с империалистическими правительствами по всему миру».

В высших кругах Германии паника. Только что под звон официозных фанфар немецкое правительство объявило о своей величайшей победе: все руководители «Красной Армии» арестованы, согласно закону, осуждены — опаснейшие террористы отныне будут содержаться в тюрьме; кризис преодолен, в стране опять воцаряются спокойствие и порядок — и вдруг все его широковещательные декларации лопаются, как пузыри. Оказывается, террористы вовсе не истреблены: на место одного арестованного встает десяток новых бойцов. У них существуют уже целые подразделения — хорошо обученные, вооруженные, не испытывающие, видимо, недостатка денежных средств. Это целая армия, скрывающаяся в непроницаемой темноте, и борьба, которая уже казалась законченной, неожиданно вспыхивает новым беспощадным огнем.

Самым же неприятным для немецкого правительства является то, что терроризм явно приобретает международный характер. Всплывает давний кошмар, мучающий политиков в потных снах: мировое террористическое подполье, объединив все силы, начинает наступление на Германию. Где будет нанесен следующий удар? Откуда вновь выскочат ангелы ночи, чтобы посеять вокруг ужас и смерть? Под угрозой все немецкие авиалинии, и у правительства не хватает сил, чтобы их как-то прикрыть. Под угрозой посольства ФРГ во множестве стран — персонал принимает срочные меры, чтобы обезопасить себя. Под угрозой банки и правительственные учреждения. Под угрозой немецкие предприятия за рубежом. Зловещим предупреждением выглядит заявление РАФ, опубликованное после акции в Карлсруэ: «Правосудие свершилось... Мы докажем властям, что убийства наших товарищей не решат никаких проблем».

Страх прокатывается по Германии. Не защищен никто. Как признак

редкого идиотизма вспоминает прессы высказывание начальника полиции ФРГ, сделанное после ареста Андреаса Баадера. Дескать, «теперь любой немец может спокойно гулять возле дома со своей собакой». Какой немец? С какой собакой? Шляйера охраняло пять или шесть специально подготовленных полицейских, ему это не помогло. И никому не помог пакет чрезвычайных законов, спешно принятый парламентом ФРГ перед началом суда над членами РАФ. Опять встают заставы на немецких дорогах — идет тотальная проверка машин, ищут оружие. Опять волна облав накрывает немецкие города — идет проверка квартир, ищут подозрительных лиц. Уровень истерии непрерывно растет. Террористом считается каждый, кто хоть в чем-то противоречит властям. Во Франкфурте полицейский стреляет в прохожего — тот не сразу остановился на оклик. В Гамбурге получает ранение журналист — он пытался снимать, как полицейские избивают участника демонстрации. Инциденты происходят чуть ли не каждый день, и левая пресса задает законный вопрос: кто же, в конце концов, представляет для граждан страны истинную опасность — террористы, которые нападают на дискредитированных чиновников, или полиция, которая, не разбираясь, стреляет во всех подряд?

Не действуют больше никакие успокоительные заявления. Правительство уже показало, что все его заявления — это политический блеф. Оно бессильно перед яростными демонами темноты, и потому бургеры, поднимаясь утром с постели, или, напротив, выключая свет перед сном, напряженно прислушиваются — не вздрогнет ли дом от взрыва, не раскатится ли по улице вой полицейских сирен, не прозвучат ли за окном автоматные очереди?

Позже этот период будет охарактеризован как «немецкая осень». Райнер Фасбиндер, режиссер крайне левого направления, снимет фильм с аналогичным названием — «Deutschland im Herbst». Фильм будет представлять собой явный артхаус: понимать, о чем идет речь, сможет только включенный в события человек — слишком много аллюзий, слишком много отсылок к деталям, о которых зритель иной страны представления не имеет. К тому же Фасбиндер — демонстративный гомосексуалист, в фильме содержится ряд откровенных сцен взаимоотношений его с тогдашним любовником. В дополнение Фасбиндер на экране пьет, нюхает кокаин, произносит путаные речи о демократии. Тем не менее, атмосфера тех дней передана с трагической точностью: страх и бессилие, гнев и отчаяние, невыносимое напряжение, в котором пребывает страна. Сам Фасбиндер через некоторое время умрет от передозировки наркотиков. Фатальный в творчестве возраст — тридцать семь лет — окажется пределом и для него.

Никто не понимает, что происходит. Кажется диким абсурдом, что Германия, только что пережившая Вторую мировую войну, коричневую чуму, разгром, национальную катастрофу, только-только начавшая понемногу дышать, вновь погружается в хаос ненависти и насилия. Откуда это взялось? Почему немцы, едва начав жить, опять охвачены жаждой саморазрушения? Что за проклятие омрачает сознание нации? Какая неведомая болезнь жжет ее изнутри? Может быть, прав был средневековый хронист, писавший, что «немцы — народ, отторгнутый богом, они слишком жестоки к другим, чтобы быть милосердными даже к самим себе»?

Ответов на эти вопросы нет. Точнее, ответов множество, а это значит, что «истина где-то не здесь». Ясно только одно: болезнь, чем бы она ни была, достигла критической фазы, сердце уже захлебывается, мозг отказывается

служить, меркнет в кровяных шумах сознание, шансы на выживание пациента уменьшаются с каждым днем...

Ульрика идет по «мертвому коридору». «Мертвым» коридор называется потому, что стены его покрыты толстой акустической изоляцией. Такой же изоляцией покрыты потолок и весь пол — шаги надзирательниц, двух здоровенных теток, следующих за Ульрикой, практически не слышны. Бесшумно затворяется дверь камеры. Бесшумно входят в пазы металлические пальцы замка. Больше — ни одного звука снаружи. Тишина — словно в одночасье умер весь мир. И она сама тоже — уже умерла. Только сердце еще чуть-чуть шевелится, не веря в загробную жизнь.

Это называется «сенсорная депривация». Человек, надолго погруженный в непроницаемую тишину, начинает постепенно сходить с ума. Искривляются пространство и время. Реальность, как гнилая ткань, расползается — не с чем себя соотнести. Если нет мира снаружи, если не существует устойчивых внешних координат, то хаос темного подсознания, внутренний искаженный мир поднимается, как вода, и заполняет собою все. Возникают фантомы звуков: шорохи, шуршания, писки. Образуются рыхлые струи то ли блеклого света, то ли тусклых теней. Странные загробные голоса начинают произносить слова на неведомом языке. Будто неудержимо проваливаешься в мир иной. Минута длится, как час. Час проскаивает, как миг. От одного дыхания до другого проходит год. Заключенный готов изуродовать самого себя — сломать палец, выколоть глаз — лишь бы получить доказательство, что он еще жив.

Ульрика вспоминает об этом так. «Ощущение будто вся камера едет куда-то во тьму... Закрываешь или открываешь глаза — разницы никакой... Невозможно с этим бороться, все время трясет — от жары, от холода, от чего-то другого, чему названия нет... Может быть, от страха, который подступает откуда-то изнутри... Чтобы что-то сказать нормальным голосом, приходится изо всех сил кричать. Все равно получается неразборчивое ворчание: в уши словно залили горячий воск... Охранники, посетители, прогулочный дворик — все это видишь будто сквозь пленку... Волнами — головная боль, кружение, приступы тошноты... Когда пишешь, то — заканчивая вторую строчку, уже не помнишь, что было в первой... То апатия, то нарастающая агрессивность, которая жаждет выплеснуться вовне... Тут же убила бы, если бы было — кого... Ясное ощущение, что у тебя нет ни малейшего шанса выжить... Кругом — тихий ад, окутывающий тебя немотой... Невозможно ни с кем поделиться этим — при посещении адвоката, как ни старайся, ничего не можешь толком сказать, слова разбегаются, не в состоянии сформулировать простейшую мысль, через полчаса после встречи уже не уверена, было это сегодня или неделю назад... Чувствуешь себя так, словно с тебя сняли кожу»...

Она помнит, как выглядела Астррид Пролл в тюрьме Оссендорфа: почти ничего не видит, почти ничего не слышит, практически не может ходить. Клетка человеческих ребер, в которой едва теплится жизнь. Список заболеваний, составленный при медицинском осмотре, звучит как окончательный приговор: потеря 40% массы тела, гипертония, сильная сердечная аритмия, болезнь вестибулярного аппарата, болезнь желудочно-кишечного тракта, аномалии печени, суставов, кожи; афазия, абазия, анорексия, amenoreя... Одна из сотрудниц

общественного «Комитета против пыток» воскликнет, подписывая протокол: «Такое я видела только в Заксенхаузене!»<sup>1</sup>

Ульрика понимает, что то же самое ждет и ее. Если не сегодня, то через месяц, если не через месяц, то через год. Мертвая тишина в конце концов растворит ее без следа, превратит в человекоподобное существо, издающее мычание вместо слов, расчесывающее кожу до крови обгрызенными зубцами ногтей. За последнее время она прочла много литературы о последствиях одиночного заключения и хорошо представляет, как это будет происходить. Почти все авторы говорят об одном: «психоз одиночного заключения» — это клаустрофobia, внезапные приступы гнева, длительная депрессия, притупление эмоциональных реакций, апатия, аутизация: человек, будто в раковину, уходит в некий внутренний мир, расстройства зрения, головные боли, расстройства сна, спутанность сознания, разговоры с самим собой, руминация (многократное повторение одних и тех же мыслей и фраз), аутодеструктивное поведение, галлюцинации, бред... «Все в камере начинает двигаться и качаться, будто хочет тебя раздавить»... «Входят охранники, говорят: Мы задушим тебя, сейчас ты умрешь»... «Ползают по стенам суставчатые пауки»... «Противны любая пища, любые запахи, есть ничего не могу»... «Непрерывные разговоры с людьми, которых в камере нет. Вижу их лица, даже если закрываю глаза. Полная темнота, они на меня кричат»... «Бесишься из-за звука, который издает свет лампы под потолком. Они (то есть тюремщики) специально вставили в лампочку какой-то шум. Изводит так — день за днем, день за днем»...

Главное, никакой надежды. На первом суде, полтора года назад, когда ее обвиняли в содействии побегу Андреаса Баадера, приговор гласил — восемь лет. Казалось, вечность; восемь лет в тюрьме не прожить. А сейчас на «Большом процессе РАФ», где специально для них введен «принцип коллективной ответственности» (это значит — виновны все, не важно, что именно ты совершил), ей грозит пожизненное заключение. Адвокаты считают, что этого не избежать. И словно в насмешку: через двадцать четыре года, согласно закону, она может подать прошение о помиловании. Если, конечно, все двадцать четыре года будет себя «хорошо вести».

Ульрика не знает (и не узнает уже никогда), что Клаус Юншке, вместе с ней начинавший борьбу, проведет в одиночной камере целых шестнадцать лет, по выходе заново будет учиться говорить и писать, но точно так же — при слове «фашизм» будет стискивать кулаки; что Бригитта Монхаупт из второго поколения РАФ отсидит в тюрьме все двадцать четыре года, от звонка до звонка, будет освобождена только в 2007 году, никакого раскаяния, даст сдержанное интервью, где скажет, что ей надо изучить современную ситуацию, после чего исчезнет из поля зрения, вызвав тревогу немецких властей; что двадцать один год проведет в тюрьме Ева Хауле (это уже из третьего поколения РАФ), участвовавшая в нападении на американскую военную авиабазу «Райн-Майн» во Франкфурте; что Карл-Хайнц Дельво, Кнут Фолькерц и Лутц Тауфер, даже проведя в заключении 15 — 17 лет, еще находясь в тюрьме, не зная, когда будут освобождены, станут по-прежнему в горячих спорах между собой обсуждать стратегию и тактику революционной борьбы. Ничего этого она, конечно, не знает. Будущее скрыто от нас непроницаемой пеленой. Не каждый способен

<sup>1</sup> Заксенхаузен — концлагерь в фашистской Германии.

выдержать тяжкий груз настоящего, не каждый способен жить туманной надеждой, когда не остается ничего, кроме нее.

Тем более, что надежды вспыхивают и угасают. Сначала блеснул луч света во тьме, когда «Движение 2 июня» захватило в заложники Петера Лоренца. Грязнуло, как гром средь ясного дня. Петер Лоренц — главный кандидат на пост мэра Западного Берлина от Христианско-демократического союза (ХДС). Во всех газетах была опубликована его фотография с табличкой, прикрепленной к груди, «Пленник Д2И». Человек, которому осталось жить считанные часы. И ведь дрогнули, дрогнули правительственные свиньи! После Мюнхенской катастрофы на Олимпиаде 1972 года, когда при штурме погибли все спортсмены-заложники, захваченные боевиками «Черного сентября», они потеряли уверенность в своих силах: арестованные члены «2 июня» через три дня были освобождены и в обмен на Лоренца высланы в Аден. Казалось, что начинается время побед. В Штаммхайм была немедленно передана записка: «Нашим товарищам по борьбе! Мы хотели бы вытащить из тюрьмы больше людей, но пока не в состоянии этого сделать. Однако не падайте духом, мы помним о вас»... Происходит это в начале марта. А уже в апреле «Хольгер Майнц Коммандо» (на самом деле — «Социалистический союз пациентов», который к тому времени почти полностью вошел в «Д2И») захватывает посольство ФРГ в Стокгольме. В заложниках — более десятка сотрудников, которые оказались в этот день на местах. Требования «пациентов» просты: освободить из тюрем 26 политических заключенных, в том числе — арестованных членов РАФ. Чтобы доказать серьезность своих намерений, они сперва убивают военного атташе барона фон Мирабаха, а затем — атташе по экономике Хиллегаарта. Дальнейшее, правда, не слишком понятно. Разрешение на штурм перепуганное шведское правительство вроде бы не дает. Однако в здании неожиданно раздается взрыв, возникает пожар, двое террористов убиты, заложники получают ожоги. По официальной версии властей ФРГ — это был случайный подрыв. Вместе с тем, когда в 1986 году при выходе из кинотеатра будет застрелен премьер-министр Швеции Улоф Пальме, то неизвестный, позвонивший в полицию, известит, что Улоф Пальме казнен за то, что, будучи тогда главой правительства Швеции, разрешил немецким подразделениям штурмовать посольство. Значит, штурм все-таки был?.. А в декабре, когда уже полгода длится «Большой процесс», происходят и вовсе фантастические события. Боевики Национального Фронта Освобождения Палестины, которыми предводительствует Ильич Рамирес Санчес по кличке Карлос Шакал, захватывают в Вене штаб-квартиру ОПЕК, сорок два заложника, среди них — одиннадцать «нефтяных министров», собравшихся на конференцию. В числе террористов, как почти сразу же сообщает пресса, Ганс-Иоахим Кляйн, член немецких «Революционных Ячеек», а в перечне требований — освободить содержащихся в заключении членов РАФ. Правда, дальше разворачивается опять-таки не слишком понятный сюжет. Самолет с заложниками вылетает в Алжир, затем — в Ливию, затем — снова в Алжир. Получен огромный выкуп, заложники освобождены, террористы скрылись, члены РАФ почему-то остаются в тюрьме. А как же братская солидарность в борьбе против империализма? Где та помощь, которую должны оказывать друг другу революционеры всех народов, всех стран? Позже, однако, доходят слухи, что Карлос Шакал никого и не собирался освобождать, целью акции было именно получение денег

для финансирования палестинской борьбы. И все же для узников тюрьмы Штаммхайм — это крах.

Ульрика слышит, как у нее бьется сердце — то вдруг колотится бешено, словно будильник, то замедляется до перестука, точно умирающий метроном. Врачи этого почему-то не слышат, а она сразу же ощущает, как только остается одна. И еще она видит себя как бы со стороны: вот сидит, будто на дне колодца, ссугуленная, нечесаная, скавшаяся в тряпичный комок, с пальцами, которые временами начинают мелко дрожать, с жирным опухшим лицом, где тонут, как в тесте, черные изюминки глаз. Стены колодца выкрашены в отвратительный белый цвет, днем и ночью горит зарешеченная лампа под потолком, сквозь окно — узкую полоску вверху — можно разглядеть лишь белесую небесную муть. Все, из этого колодца не выкарабкаться. Она представляет, как ползет вверх по стене: странное, неуклюжее существо, похожее на полураздавленного жука, добирается до потолка, тычется в него, срывается вниз, беспомощно лежит на спине, перебирая конечностями, чувствуя, как вытекает из тела едкая слизь. Кажется, у Кафки есть новелла о том, как человек превращается в насекомое? Видимо, она уже превратилась: на руках вместо кожи нарастает ломкий хитин. Вот и на суде, куда она сегодня через силу явилась, на нее таращились сотнями изумленных глаз. Словно на скамье обвиняемых никого больше нет. Впрочем, их, присутствующих, тоже можно понять. Это же сенсация на весь мир: знаменитая журналистка, богатый и влиятельный человек, бросила мужа, двоих детей, переломила всю жизнь, ушла в террор. А Гудрун передернула плечами и отодвинулась.

Или она это искаженно воспринимает? Ведь что такое суд после многомесячного пребывания в омертвляющей тишине — слишком яркое освещение, слишком много людей, слишком громкие голоса обрушаются сразу со всех сторон. Выдержать невозможно. Точно попадаешь в обвал. Или как если бы насиливо перекормить человека, голодавшего много дней. Человек сразу умрет. И ведь не просто умрет, а — после судорог и мучений.

Гудрун, кстати, не случайно отодвигалась. «Мертвые коридоры» уродуют и ее, хоть она это пытается отрицать. Как она кричала при последней их встрече, когда общение между камерами на седьмом этаже еще было разрешено: «Ты нас предала!.. Мы публично объявили, что больше не считаем тебя членом РАФ!»... Руки вытянуты, пальцы искривлены. Едва не вцепилась Ульрике ногтями в лицо. Что такого Ульрика ей сказала? Ничего, лишь процитировала известную мысль Че Гевары, что террор подрывает то, на чем держится революция — контакт с массами. Абсолютно верная мысль. А если применить ее к нам, то — мы не можем бороться с фашизмом, используя фашистские методы. Чем мы тогда будем отличаться от них? Взять тот же Стокгольм. Лутц Тауфер (один из лидеров «пациентов»), разумеется, рискуя жизнью, боролся за нас, однако как это выглядит со стороны: вывели несчастного фон Мирбаха на лестничную площадку, хладнокровно убили, поставили Хиллегаарта у окна, под прожекторы, под объективы фотографов, выстрелили в затылок, сбросили тело на мостовую. Так фашисты убивали своих жертв в концлагерях. Можно, конечно, сказать, что всякий чиновник, занимающий в государстве хоть сколько-нибудь значимый пост, несет персональную ответственность за действия этого государства. Так считали, например, русские террористы. Даже прислуга, даже технический персонал, по их мнению, был виноват. Помните знаменитый ответ на

смерть кучера после очередного теракта? — «А не вози царя!.. И все же в глазах большинства — это убийство ни в чем не повинных людей. Разве мы с этого начинали? Мы же декларировали публично: невинные не должны пострадать!.. Следует вообще корректировать тактику нашей борьбы конкретной политической ситуацией. Сейчас уже ясно: мы самоизолировались от широкого демократического движения, из организации, рассчитывающей на поддержку обширных слоев, превращаемся в группу, в sectu фанатиков, которые не столько сражаются, сколько мстят. Возможно, нам следовало бы по примеру ИРА<sup>1</sup> образовать легальное политическое крыло: люди, формально не связанные с «Фракцией Красной Армии», могли бы совершенно открыто излагать наши цели, объяснять наши действия, формировать общественное мнение, наконец — одних листовок и заявлений здесь недостаточно...»

Ничего Гудрун не докажешь. На любые замечания у нее ответ один — яростный взрыв. Вспыхнула, едва лишь услышав о легальной борьбе: тоскуешь о своем загородном доме, о своих двух «мерседесах», о своих платьях и жемчугах!.. Мы будем делать всю черновую работу, сражаться со *свиньями*, сидеть в тюрьме, нас будут одного за другим убивать, а ты будешь с этого сливки снимать — ходить на приемы, по телевидению выступать, пить шампанское, жрать икру!.. Гудрун — фанатичка, фурия революции, немецкая Теруань де Мерикур, готовая растерзать каждого, кто хоть слово скажет ей поперек, она и мысли не допускает, что РАФ где-то может быть неправа, для нее такие рассуждения равнозначны предательству. Утихомирить ее не мог даже Баадер, только в растерянности орал: чертовы бабы! Уймитесь!.. С вами с ума сойдешь!.. Впрочем, Баадер — что? Баадер как был, так и остался — уличный хулиган. На него любые теоретические рассуждения нагоняют тоску. Ему нужно действие — мчаться на машине, стрелять, взрывать тротил, чтобы пламя выманивало до небес... В одном он прав: в Штаммхайме они все понемногу сходят с ума.

Однако будем честными сами с собой, в яростной ненависти Гудрун есть определенная правота. Нельзя простить *свиням* многих смертей. Нельзя им простить Онезорга, нельзя простить Майнца, умершего за нас, нельзя им простить Томми Вайсбекера, Георга Рауха и Петра Шельм. А Катарина Хаммершмидт, которая погибла лишь потому, что к ней *свиньи*, называющие себя правосудием, не допустили врачей!.. И все равно это тупик. Не оправдалась главная мысль, поднявшая нас на борьбу. Мы выманили фашизм наружу. Мы показали, что под благопристойной маской немецкого государства скрывается тот же нацистский оскал. Коричневое чудовище вновь вынырнуло из тьмы и пожирает людей. Ну и что? Кого это хоть сколько-нибудь взволновало? Кто ощутил в себе силы встать в полный рост? Бюргеры по-прежнему жрут свой айсбан<sup>2</sup>, пьют свое пиво, тупо смотрят по вечерам телевизор. Им все равно. Для них наша борьба — это шоу, которое шекочет сырью кровь. Хочется выйти на улицу и кричать: смотрите, вот — люди умирают за вас! Вот — люди идут на смерть, чтобы вы были свободными!.. И не услышит никто... В этом, по-видимому, и состоит главный вопрос. Почему немцы не хотят быть свободными?

<sup>1</sup> ИРА — Ирландская республиканская армия. Сепаратистская террористическая организация, ставящая своей целью выход Северной Ирландии из состава Великобритании и воссоединение с Ирландской республикой. Имеет легальное политическое представительство в виде партии Шинн Фейн, которая свою связь с ИРА категорически отрицает.

<sup>2</sup> Айсбан — сосиски с тушеной капустой, национальное немецкое блюдо.

Гитлер отшиб им мозги? А почему не захотели быть свободными русские, когда пришел Сталин? А почему так легко расстались со свободой французы, когда явился Наполеон? Инстинктивная жажда хозяина? Психика вечных рабов, которым не свобода нужна, а лишь — похлебка и кров? Вот что надо признать: революции в Германии, вероятно, не будет. Надежды не оправдались. Мы не сумели превратить уродов в людей. Они не хотят быть людьми. Они предпочитают оставаться уродами.

Ульрика поднимает руку. Рука ее удлиняется и касается противоположной стены. Тотчас же белая краска темнеет и по ней, будто рябь по воде, начинают распространяться фиолетовые разводы. Они переплетаются в сложном узоре, бегут одновременно и снизу вверх, и падают сверху вниз. Будто играет музыка, мгновенно перерождающаяся в цвет. И Ульрика знает, что если эту музыку ухватить, если защипнуть ее пальцами и отдернуть, как ткань, то она, именно как ветхая ткань, разойдется по всей своей колышущейся длине, и стены камеры распахнутся, и откроется небесный простор, в котором не будет границ, и можно будет в него, как птица, взлететь и обозреть весь мир с недосягаемой высоты, и сразу же начнется новая прекрасная жизнь, и все исчезнет, точно еще не родившись, и боли больше не будет, и этот свободный полет не прервется уже никогда...

В смерти Ульрики Майнхоф много загадочного. Официальная версия, опубликованная полицией через несколько дней, гласит, что это было самоубийство. «Самоубийство удушением. Никаких признаков постороннего вмешательства нет», констатирует протокол. Правая пресса ликует: «королева террора», как ее окрестили газеты, сама признала свое поражение. Она осознала бессмысленность и безнадежность революционной борьбы. Это окончательный приговор — и не только ей, но и всей «Красной Армии», дни которой теперь сочтены. Левые издания, напротив, пишут, что это было спланированное убийство. Они задают вопросы, ответы на которые не получены до сих пор. Почему, например, такая пуганица в документах? В одних сказано, что самоубийство произошло восьмого мая, в других черным по белому утверждается, что — девятого. Сначала полиция заявляет, что веревка была сплетена из нескольких носовых платков, потом — что из лоскутов разорванного полотенца. Сначала говорится, что подсудимая использовала крюк в потолке, а когда выясняется, что до потолка в тюрьме не достать (там — четырехметровая высота), объясняется, что веревка была привязана к решетке окна. Это при том, что камера № 179, где содержалась Ульрика Майнхоф, обозревалась через глазок каждые пятнадцать минут, а каждые два часа в ней происходил тщательный обыск. Вскрытие, произведенное по требованию сестры Ульрики через несколько дней, вроде бы подтверждает версию самоубийства, но позже независимая комиссия британских врачей вновь ставит ее под сомнение: нет притока к голове крови, нет вывиха щейных позвонков, характерных для смерти через повешение. Была ли Ульрика жива, когда тянулась со стула к окну, или в петлю повесили уже мертвого человека? Кроме того, почему нет предсмертной записки? Знаменитая журналистка, любящая и умеющая писать, освещавшая в прессе каждое действие РАФ, почему-то оставила без объяснений этот свой, возможно, самый главный поступок.

Показательно то, что даже церковь отказывается признать Ульрику Майнхоф самоубийцей — ее хоронят на евангелическом кладбище Альт-Мариендорф,

со всеми полагающимися церемониями, в освященной земле. На похороны приходят около четырех тысяч студентов, многие в масках, чтобы их не взяла на заметку полиция, сомкнуты шеренги, подняты сжатые кулаки: «рот-фронт!», двадцать шесть человек арестованы, доставлены в ближайший участок, несут знамена, плакаты: «Ульрика, мы будем за тебя мстить!»

Мощные демонстрации прокатываются в этот день по Германии. В Гамбурге, Ганновере, Бремене, Киле, Кельне, Дортмунде, Любеке они перерастают в настоящие уличные бои. Демонстрации также проходят в Вене и Инсбруке, в Антверпене и Брюсселе, в Париже и Лондоне, в Риме и Генуе, во Флоренции, в Берне, в Женеве, в Белграде, в Барселоне, в Гааге и Амстердаме. Грохочет взрыв в западногерманском консульстве в Ницце (ответственность берет на себя «Коммандо Ульрики Майнхоф»), гремит мощный взрыв на базе ВВС США во Франкфурте (ответственность опять-таки берет на себя подразделение РАФ). В Испании и Италии правительственные и коммерческие представительства ФРГ подвергаются внезапным вооруженным атакам.

Кажется, что начинается всеевропейская революция. Западные правительства в панике: они не знают, как этому противостоять. Срочно усиливается полиция, приводятся в готовность внутренние войска. Идут межправительственные переговоры — необходима координация всех имеющихся в наличии сил. Масштабы гражданских протестов катастрофические. И тем не менее, для самой «Красной Армии» это страшный удар. Ульрика Майнхоф — самая известная из членов РАФ, ее имя не сходит с газетных страниц уже несколько лет. Она — героическая фигура, символ сопротивления для десятков, возможно, сотен тысяч людей. Кто станет их теперь вдохновлять? Кто будет служить примером того, чему следует посвятить жизнь? Если исчезнет символ, будет ли вообще продолжаться борьба?

Многим левым идеалистам Германии представляется, что все кончено. Атака на гнетущий капитализм захлебнулась, зажженный факел угас, все жертвы, все усилия были напрасными. Новый мир, забрезживший было на горизонте, развеялся, как мираж.

Разумеется, это не так.

История, как случалось уже не раз, движется непредсказуемыми путями. Поражение она неожиданно превращает в победу. Катастрофа предвещает не гибель, а последующее возрождение.

Границы будущего никогда не бывают четко определены.

Ничто еще не закончено.

Основная трагедия, главные драматические коллизии еще впереди.

Ничтожный эпизод обозначает рубеж эпохи. В апреле 1968 года четверо молодых людей приезжают из Западного Берлина во Франкфурт, намереваясь подлечь там супермаркет. Можно, конечно, воскликнуть, что за дикая мысль? Что за хулиганство, что за юношеский бандитизм? Однако в том-то и дело, что это не хулиганство, не бандитизм, а тщательно продуманная политическая акция.

Конец 1960-х годов — особое время. Внезапно, будто пламя из темных недр, по всему миру начинают вспыхивать протесты студенческой молодежи. Причин не понимает никто. Казалось бы, в самом деле: только-только завершилась катастрофическая Вторая мировая война, разобраны руины, отстроены

разрушенные города, зализаны раны, которые, заметим, болят до сих пор, налажена жизнь, преодолен экономический хаос, и вот когда все кровавые ужасы уже позади, когда вроде бы можно наслаждаться спокойствием и благополучием, вдруг точно трескается земля — молодежные митинги и демонстрации выплескиваются на улицы. Выходят десятки и сотни тысяч людей, несут лозунги, от которых «традиционных политиков» бросает в дрожь, произносятся речи, открыто призывающие к мятежам, издаются листовки, газеты, журналы, где фотографии и статьи звучат как революционный набат. Аналитики ломают головы над загадкой происходящего, власти заявляют о безответственных действиях экстремистов, разжигающих низменные инстинкты толпы, правая пресса кричит о «руке Москвы», пытающейся расшатать западный мир. Точно возрождается шизофрения 1930-х годов, ввергнувшая человечество в геенну взаимного истребления.

В действительности все очень просто. Воплощением «бэби-буна» (резкого подъема рождаемости первых послевоенных лет) в жизнь вступает совершенно новое поколение. Это поколение не сельских общин, а университетов, поколение не патриархальных семей, а кампусов (студенческих общежитий и городков), поколение, которое воспитывают уже не отец и священник, а радио, телевидение, газеты, университетские профессора. И что они видят вокруг себя? Что они прозревают, вступая во взрослую жизнь? Да, фашизм сокрушен и главные нацистские преступники осуждены. Да, мировая война, унесшая жизни пятидесяти миллионов людей, завершена. Однако мир остается таким, каким был. Политики, точно мгновенно утратив память, впадают в новую военную истерию. Начинается противостояние громадных блоков — НАТО и стран Варшавского договора. Обе стороны непримиры, обе лихорадочно накапливают ядерное оружие. Глава Советского Союза Н.С.Хрущев стучит ботинком по трибуне в ООН и обещает показать Америке «кузькину мать». Министр обороны Соединенных Штатов в приступе паранойи кричит: «Русские идут!.. Они везде!.. Я вижу русских солдат!...» Разражается сначала Берлинский кризис, когда танки бывших союзников в полной боеготовности стоят лоб в лоб у пограничной черты, затем — Карибский кризис, и небо над обеими странами уже готовы прочертить шлейфы ракет. Вовсю полыхают малые войны. Бельгия воюет в Конго, пытаясь удержать для себя этот источник сырья, Франция воюет в Алжире, где требует независимости Национальный фронт. Соединенные Штаты вторгаются во Вьетнам, один из американских «ястребов» заявляет: «Мы вбомбим эту страну в каменный век», другой «ястреб» требует, чтобы Вьетнам превратили в «стоянку для автомобилей». На весь мир гремит расправа американских солдат с жителями деревни Сонгми: хладнокровно убито более пятисот человек, в том числе сто пятьдесят детей, сто восемьдесят женщин (некоторые были беременными), более шестидесяти стариков. Реакция властей США такова: привлечены к ответственности восемьдесят американских солдат, двадцати пяти предъявлены обвинения, перед военным трибуналом предстают всего шесть человек, лишь один, лейтенант Уильям Келли, осужден на каторжные работы, три дня спустя решением президента Никсона он переведен под домашний арест, через три года помилован и освобожден. В ответ начинает расследование Общественный трибунал по Вьетнаму под председательством Бертрана Рассела. «Они ничего не поняли, — пишет одна из левых французских газет. — Они готовы уничтожить весь мир ради своих идиотских амбиций».

Вот против чего протестует революционная молодежь. Вот с чем они более не желают мириться. Лозунги демонстрантов просты: «Нет ядерному оружию!», «Нет насилию и угнетению!», «Нет войне!», «Нет колониальному рабству, все люди равны!» Сам протест пока носит театральный характер. В Америке студенты, борющиеся с расовой дискриминацией, устраивают «сит-ины»: приглашают своих приятелей-негров в кафе, где висит табличка «Только для белых», и требуют, чтобы их обслужили. В той же Америке они выдвигают на президентских выборах в качестве кандидата свинью — симпатичный поросенок Пигасус (по-русски — Свинтус) обретает всемирную славу. Кумир молодежи Джон Леннон проводит в Монреале и Амстердаме «постельную акцию». Вопреки ожиданиям, ничего эротического в данном мероприятии нет: молодожены Леннон и Йоко Оно принимают в гостинице репортеров, сидя во вполне благопристойных пижамах. Они таким образом выражают протест против войны. И в эти же дни Леннон записывает знаменитую песню «Дайте миру шанс» — студенты поют ее на митингах и демонстрациях.

Вот чего в действительности требует молодежь: дайте миру шанс стать лучше, чем прежде. Хватит буржуазного лицемерия, хватит насилия, хватит лжи, хватит политической демагогии. Студенты вставляют в дула полицейских автоматов цветы: мы хотим жить по-новому, не в ненависти, а в любви.

Характерна в этом смысле Декларация йиппи<sup>1</sup> по поводу съезда Демократической партии США в Чикаго. «Дух перемен охватил Америку. Новое врывается в музыку, поэзию, танцы, газеты, кино, празднества, магию, политику и театр... Все новые трайбы собираются в Чикаго. Мы всех ждем с открытым сердцем. Мы будем всем делиться бесплатно. Берите с собой одеяла, палатки, призывные повестки, краску, чтобы расписывать ваши тела, "бешеное молочко"<sup>2</sup> от мистера Лири, еду, чтоб можно было накормить тех, кто придет, музыку, ощущение радости. Угрозы Линдана Джексона (тогдашний президент США. — A.C.) не остановят нас. Мы идем! Мы идем со всех концов света! Америка опасно больна: она страдает от насилия и распада духа, она подсела на бомбы и на напалм. Мы требуем Политики Экстаза! Мы — нежная пыльца, из которой родится новая, кайфовая, радостная страна! Мы создадим нашу собственную реальность. Мы — это свободная Америка. И мы не приемлем фальшивое представление на подмостках Съезда Смерти!»

Протесты вырастают до глобальных масштабов. Двести тысяч американцев выходят на демонстрацию против войны во Вьетнаме. Сто тысяч людей выходят на демонстрацию в Лондоне. Во Франции студенты захватывают Сорbonну, строят баррикады, ведут с полицией настоящие уличные бои. Молодежные волнения происходят в Бельгии и Югославии, в Скандинавии и Пакистане, в Мексике и Испании. Начинается романтическая «Пражская весна», угрожающая, тем не менее, расколом лагерю социализма.

Кажется, что мир действительно преображается. Кажется, что исполняется вековая мечта человечества о справедливости и любви. Однако не следует забывать об органических свойствах власти. Никакая власть никогда не хочет

<sup>1</sup> Йиппи — молодежное движение в Америке, исповедовавшее радикальную контркультуру: «йиппи может делать все что захочет и когда захочет».

<sup>2</sup> «Бешеное молочко» — имеются в виду наркотики. Тимоти Лири — американский психолог, исследователь психоделиков, пропагандист наркотического «расширенного сознания».

никаких перемен. Перемены — это новые правила жизни, это новая политическая философия, это приход новых людей, это риск для существования самой власти, и потому она противится переменам, сколько хватает сил. А что касается конкретной власти конца 1960-х — начала 1970-х годов, то она, победив фашистский тоталитаризм, сама — что на Западе, что на Востоке — страдает теми же родовыми болезнями. Она пытается удержать привычное прошлое. Она рассматривает любых протестантов как безумных смутьянов и бунтовщиков. На требования молодежи она отвечает запретами. На митинги и демонстрации — дубинками, пулями и репрессиями. В октябре 1967 года погиб Че Гевара, пытавшийся поднять на борьбу боливийских крестьян. «Чикагская семерка» (лидеры движения йиппи) по приговору суда на пять лет заключены в тюрьму. В мае 1970 года национальная гвардия стреляет по студентам Кентского университета в Америке, четыре человека убиты, девять ранены. А еще через две недели полиция переносит огонь на Джексоновский университет, тут убиты два человека, ранено — более десяти. Расстреляны студенческие демонстрации в Мексике (правительство этой страны берет пример с «Большого соседа»), подавлены выступления молодежи в Бельгии и Испании. Чехословакия, требовавшая всего лишь, чтобы социализм имел «человеческое лицо», размолота советскими танками.

Это классический социальный тупик. И как всякий социальный тупик он чреват катастрофическим взрывом. Предчувствия уже носятся в воздухе. В начале шестидесятых годов Гюнтер Грасс печатает книгу «Жестяной барабан», которая мгновенно становится бестселлером. Книга, правда, довольно скучная (как, впрочем, и все культовые книги тех лет), но она метафорически выражает дух времени: мальчик не хочет взрослеть, чтобы не жить в мире фашизма, он непрерывно колотит в игрушечный барабан из жести, но его грохота-предупреждения не слышит никто. А на другом континенте, видимо тоже ощущив некие прогностические вибрации, Рэй Брэдбери издает роман «Грядет что-то страшное»: маленький городок, типичный для тогдашней Америки, оказывается во власти жестоких сил, пришедших из тьмы, только люди с чистой душой способны спасти его жителей от превращения в зомби. Отчетливее всего, однако, звучит пророчество Микеланджело Антониони. Герой фильма «Забриски Пойнт», один из участников студенческих беспорядков, убит, его девушка, с которой он провел всего пару часов, узнав об этом, представляет, как взрывается здание фирмы, где она работает: выплескивается из окон пламя, взлетают к небу обломки бетона, дерева и стекла. Режиссер будто воочию прозрел события ближайших огненных лет.

«Больным человеком» Европы становится в этот период Западная Германия. У Германии в двадцатом веке вообще исключительная судьба: отсюда начались обе мировые войны, здесь возник немецкий фашизм, принесший Европе неисчислимые бедствия, здесь существовали концлагеря, где были уничтожены миллионы людей. Только что немцы были повелителями Вселенной, могущественный Третий Рейх простер свои коричневые цвета от Африки до Москвы, и вдруг оказывается, что они — виновники всех бед, униженный порабощенный народ, вынужденный исполнять высокомерные повеления победителей. Деструкция национальной психики колossalная. К тому же нынешняя Германия — безнадежно расколотая страна: есть ее восточная часть (ГДР), которая входит в советский блок, есть западная часть (ФРГ), где располагаются

американские военные базы. А в Берлине, на границе западной и восточной его частей, высится глухая стена, являющаяся символом мировоззренческого раскола. Кроме того, Западная Германия — это страна «взрывного образования». В послевоенные годы остройшей проблемой ее становится дефицит квалифицированных специалистов — многие эмигрировали, погибли на фронте, были умерщвлены в концлагерях — чуть ли не в каждом городе теперь открываются университеты, куда стекается молодежь. И что она опять-таки видит в той новой реальности, которая укрепляется с каждым днем? Западная Германия вступает в НАТО — теперь на американских базах тренируют «командос» для вьетнамской войны, западногерманские заводы выпускают бомбы, которые затем падают на вьетнамских крестьян. Правительство ФРГ запрещает демократические организации: Культурбунд, Комитет борцов за мир, Объединение лиц, преследовавшихся при нацизме, Демократический фронт Германии, Демократический женский союз. Зато свободно чувствует себя «Братство», объединение высших офицеров бундесвера, которое открыто требует возродить немецкую военную мощь, более того — «смыть позор Нюрнберга». На многих административных постах сидят люди с нацистским прошлым, они, не скрываясь, высказываются за пересмотр результатов войны. А когда молодежь, не желающая милитаризации, начинает протестовать, правительство ФРГ принимает пакет чрезвычайных законов, ограничивающих гражданские права. Как это прикажете понимать? Ведь то же самое делал Гитлер, когда стал канцлером Германии в 1933 году!

Фашизм возрождается! Фашизм наступает! Фашизм вновь пытается развязать мировую войну! Вот ясное ощущение молодых людей — в студенческих клубах, в аудиториях, в бурлящих молодежных кафе. Клаус Юншке, один из немногих доживших до нашего времени членов первого поколения РАФ, скажет: «После войны все три начальника кельнской полиции были бывшими сотрудниками гестапо или руководителями карательных отрядов. Они были массовыми убийцами». И он же скажет: «Каждый день мы видели по телевизору картины войны во Вьетнаме — уничтоженные напалмом деревни, сожженных детей. Мы хотели протестовать против войны, против того, что Западная Германия является союзником США. Ведь кто еще был тогда в НАТО? Диктаторская, колониальная Португалия, диктаторская Испания. В Греции к власти только что пришла военная хунта. В Италии всерьез рассматривались идеи установления военной диктатуры... И если вначале мы выходили на демонстрации с лозунгами "Ни марки, ни солдата на войну во Вьетнаме!", то вскоре мы пришли к лозунгу "Даешь победу в мировой гражданской войне!"».

Политической альтернативы этому нет. Именно в конце 1960-х гг. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), рассматривавшаяся ранее как оплот демократических сил, неожиданно вступает в союз с правым блоком ХДС\ХСС и отказывается от многих социальных идей. Как раз данное парламентское большинство и штемпелюет пакет чрезвычайных законов. Радикальная молодежь считает это предательством. Если уж крупнейшая оппозиционная партия фактически отказывается от борьбы, значит демократические методы оппонирования себя исчерпали. Требуется нечто иное. Нужны новые формы и методы, чтобы остановить приход тьмы. В результате возникает внесистемная оппозиция (этот термин в политике появился уже тогда) — Социалистический союз немецких студентов, координирующий молодежный протест.

Взрыв происходит во время визита в Германию иранского шаха Мохаммеда Реза Пехлеви. Этого монарха, пришедшего к власти после свержения демократического правительства Моссаддыка, очень привечают на Западе. Он провел частичную модернизацию отсталой страны, стабилизировал экономику, в политике твердо ориентируется на западные образцы. Однако есть и оборотная сторона. У себя дома Реза Пехлеви ведет себя как жесточайший тиран: всякая политическая деятельность в Иране запрещена, людей, заподозренных в критических настроениях, подвергают чудовищным пыткам — сдирают заживо кожу, сажают на кол, поджаривают на огне, бросают в ямы с голодными крысами. Может ли подобного политика принимать демократическая страна? Может ли президент Германии пожимать ему руку, давать обед в его честь? Разумеется, нет! В противном случае вся наша демократия — ложь. Начинаются протестные демонстрации, и во время одной из них убит 26-летний студент из Ганновера Бенно Онезорг.

Это колоссальный удар по репутации западногерманских властей. Бенно Онезорг — филолог, член христианской евангелистской общины, никакой политики, на демонстрацию пошел из чистого любопытства, дома у него осталась беременная жена, полицейский выстрелил ему в затылок, когда студент и без того был избит.

Вся демократическая Германия возмущена. Молодежные клубы, имеющиеся чуть ли не в каждом городе, неудержимо кипят. На собрании одного из них девушка по имени Гудрун Энсслин кричит: «Это фашистское государство, готовое убить нас всех!.. Это поколение, создавшее Освенцим!.. С ним бесполезно дискутировать!.. Насилие — это единственный способ ответить на насилие!..» Бурная овация заключает ее слова. Траурный кортеж, везущий тело Онезорга из Берлина в Ганновер, сопровождают 200 машин, на кладбище собирается более 10 000 студентов.

Но даже это не отрезвляет власти Германии. Они пытаются переложить вину с большой головы на здоровую. Бургомистр Западного Берлина заявляет, что «убитый студент является жертвой бесчинств, которые были спровоцированы экстремистами, цинично злоупотребляющими свободой, чтобы добиться их конечной цели — подрыва демократического порядка в стране». Официозная пресса неистовствует. Главный ее удар обрушивается на лидера Союза студентов Руди Дучке. Это яркая фигура в послевоенной Германии: великолепный оратор, блестящий организатор, инициатор протестных акций, на которые выходят десятки тысяч людей. Считается, что он руководит беспорядками («раскачивает лодку», как выразились бы официозные газеты сейчас). Особенно ненавидит его пресса Акселя Шпрингера, которому принадлежит большинство правых газет. К сожалению, у Дучке неблагоприятная внешность: низкий лоб, огромный рот, который его противники называют не иначе как «пасть», черные волосы, нездоровая бугристая кожа. Сфотографированный в определенном ракурсе, он выглядит как дегенеративный бандит. Именно такие фотографии и печатает пресса Шпрингера. «Страшнее Маркса, растленнее Фрейда», — пишет о нем «Бильд-цайтунг». Газеты публикуют призывы к «честным немцам» «остановить врага». Последствия не заставляют себя долго ждать. Весной 1968 г. некий Йозеф Бахманн, кровавый неонацист, стреляет в Дучке. Полиция находит при Бахманне вырезки из шпрингеровских газет, где Дучке называется «врагом номер один». Дучке тяжело ранен, всю оставшуюся жизнь он страдает от

чудовищных головных болей, внезапных обмороков, потери зрения, приступов эпилепсии и паралича, фактически он вынужден уйти из политики. Сам Бахманн после покушения пытается отравиться, а потом при невыясненных обстоятельствах погибает в тюрьме.

Настоящая буря прокатывается по Германии. Уже через час после известий о покушении на митинге в здании Технического университета Бернд Рабель, один из лидеров студенческих комитетов, кричит: «Я хочу напомнить о том, какая травля была устроена после событий 2 июня!.. Я хочу напомнить, что собирался сделать с внепарламентской оппозицией правящий бургомистр!.. Я скажу прямо: настоящие убийцы Дучке — это Аксель Шпрингер и Большая партийная коалиция!» Рабель говорит то, что думают остальные. В одиннадцать часов вечера того же дня многотысячная толпа студентов окружает здание концерна Шпрингера, расположенного недалеко от Берлинской стены, в окна летят камни, бутылки с зажигательной смесью, сожжены пять машин, предназначенных для утренней развозки газет, еще десять грузовиков перевернуты и повреждены. Группа студентов, вооруженных палками, прорывается сквозь оцепление в вестибюль, другая группа захватывает водомет и направляет его на полицию. Беспорядки продолжаются в течение всей пасхальной недели. Демонстранты блокируют издательства и типографии Шпрингера в Западном Берлине, Гамбурге, Ганновере, Мюнхене, Франкфурте-на-Майне, Штуттгарте, в других городах. Журнал «Шпигель» в эти дни пишет, что волнения «доходят до уличных битв, каких Германия не знала со времен Веймарской республики».

Все, Рубикон перейден.

Возврата к прежнему бургерскому спокойствию уже не будет.

«Пули, выпущенные в Дучке, покончили с нашими мечтами о мире и ненасилии», — скажет потом Ульрика Майнхоф, ставшая одним из лидеров подпольного сопротивления.

Необычная пара появляется в это время в Союзе немецких студентов. Юношу зовут Андреас Баадер и, по воспоминаниям его тогдашних приятелей, это был немецкий Марлон Брандо<sup>1</sup> — красавчик, с задатками лидера, энергичный, раскованный, девушки были от него без ума. У него типичная для тех лет биография: вырос без отца, пропавшего на Восточном фронте, ни образования, ни какой-либо специальности не получил, с детства был вожаком хулиганских банд, и чуть позже правая пресса не без оснований будет о нем писать: «бандит с интеллектуальной подкладкой», за ним уже тянутся драки на улицах, конфликты с полицией, колония для несовершеннолетних, угоны машин, он уже бежал из Мюнхена в Западный Берлин, чтобы не служить в бундесвере, здесь он формально числится студентом Свободного университета, но в действительности шатается целыми днями по барам, тусуется в клубах, устраивает бешеные гонки на мотоциклах. В Союзе немецких студентов к нему относятся не слишком серьезно. На его экстремистские заявления, что «история делается только кровью, только путем самопожертвований и убийств» особого внимания не обращают. Слишком очевидно, что Баадер все-таки не интеллектуал, его политический багаж весьма скучен: протестуя против войны во Вьетнаме, он не очень-то хорошо представляет, где находится этот самый Вьетнам, его стихия —

---

<sup>1</sup> Марлон Брандо — знаменитый уже в те годы американский киноактер.

не теория, а открытая уличная борьба, не доктрина, а ее практическое воплощение в жизнь. Здесь Андреас Баадер незаменим: в хаосе студенческих беспорядков, среди звона стекла, горящих машин, водометов, слезоточивого газа он чувствует себя как рыба в воде. Здесь он исполняет главную роль, здесь он — на сцене, а зрительный зал, ошеломленно следящий за ним, это весь мир.

Девушка является его полной противоположностью. Ее зовут Гудрун Энсслин — та самая, что после гибели Онезорга кричала о поколении, создавшем Освенцим. Гудрун Энсслин воспитывалась в евангелистской семье и, по отзывам тех, кто ее в эти годы знал, была религиозна до фанатизма. Одно время она даже всерьез подумывала, чтобы уйти в монастырь. Такой она останется до конца своих дней. Ей нужно было ни много ни мало — Царства божия на земле. Гюнтер Грасс, хорошо знакомый с Гудрун, писал о ней как о законченной «идеалистке с врожденной ненавистью к компромиссам, верующей в Абсолют». А по отзывам психиатров, обследовавших ее в тюрьме, Гудрун Энсслин представляет собой «сплав ненависти и насилия. Ради достижения своих целей предаст даже родного брата. У нее отсутствует всякое чувство вины... По сути дела это — фанатик, верящий в то, что более справедливое общество может быть создано лишь путем насильственных действий»... Сама о себе она говорила так: «Я верю в бога потому, что я экстремистка». На мужчин она производит неотразимое впечатление: хрупкая эффектная темпераментная блондинка, готовая, как фурия, броситься на любого, кто не разделяет ее пламенных взглядов. Даже муж, которого она хладнокровно оставила, скажет через несколько месяцев на суде, что «если уж такой человек, как Гудрун, в которой нет ничего отрицательного, смогла совершить этот антисистемный акт — значит, плоха вся ваша система». Впрочем, муж ее, писатель Бернард Веспер, типичный интеллигент: он ненавидит общество, в котором живет — общество обывателей, общество потребления и накопительства, общество доносчиков, общество убогих мещан, где «не только подсчитывают, сколько минут ты провел в туалете, но и сколько листков туалетной бумаги ты при этом использовал». Его гложет непрерывное чувство вины: его отец — крупный нацистский поэт, много лет искренне прославлявший фашизм; в 1971 году Веспер покончит с собой... А Гудрун Энсслин учится в Тюбингенском университете, изучает философию, социологию, германистику, педагогику, пишет докторскую диссертацию, после «предательства социал-демократов» демонстративно выходит из состава СДПГ. Она придает интеллектуальную форму хулиганским порывам Баадера, превращает его необузданную энергию в действие, обретающее социальный смысл. Сходятся они в одном — хватит болтать, хватит трепать языком, когда наших товарищей убивают одного за другим. Необходимо открытое действие, необходима решительная борьба, которая только и может остановить надвигающийся фашизм.

Так полагают не только они. После гибели Онезорга идея революционного праксиса<sup>1</sup> начинает обретать популярность. Действительно, сколько можно отступать под натиском бесчинствующих *свиней*? Неужели нет в Германии сил, способных нанести сокрушительный удар по Системе?

Общественные ожидания материализуются в соответствующих концептах. Еще в 1950-х гг. Альбер Камю печатает работу «Бунтующий человек», где

<sup>1</sup> Праксис — действие как противоположность созерцанию и осмыслению.

исследует смысл восстания личности против абсурдного и бессмысленного существования. Далее Франц Фанон пишет о мистике революционного насилия, которое очищает нацию и через коллективный катарсис возрождает ее. В свою очередь, Сартр заявляет об электоральной комедии, разыгрываемой буржуазными партиями, и том, что на смену ей неизбежно приходит «иллегальная легитимность». Ги Дебор говорит о «революции сознания», которая должна стать основой революции социальной. Жан-Люк Годар выпускает фильм «На последнем дыхании», героем которого является молодой бунтарь. Леннон пишет песню с характерным названием «Революция № 1», и она мгновенно разлетается по всему свету. А Джерри Рубин, один из лидеров йиппи, провозглашает доктрину «спонтанного сопротивления». «Сначала действуй, а потом думай», призывает он, что, заметим, не помешает самому Рубину стать впоследствии вполне буржуазным и преуспевающим бизнесменом. Однако это произойдет значительно позже, а тогда красивый романтический лозунг вызывает в сердцах молодежи немедленный резонанс.

Супермаркет же в качестве цели акции выбран далеко не случайно. Колossalные магазины, как муҳоморы, вырастающие по всей стране, сразу же становятся для молодежи негативным символом общества потребления. Это — чудовищные «машины порабощения». Здесь человек низводится до «одномерного состояния», как называет это Герберт Маркузе. Одномерные люди — закономерное следствие капитализма. Одномерное мышление направлено исключительно на приобретательство и комфорт. Производительность в современном мире побеждает чувственность, ложные потребности, культивируемые Системой, порождают новое рабство. Бунт против вещей — это духовная гигиена. Противопоставить обществу потребления можно только одно: Великий отказ от примитивного обывательского благополучия.

В общем, что делать, понятно. К Гудрун и Андреасу присоединяются Торвальд Пролл, студент факультета искусств, и Хорст Зонляйн, давний приятель Баадера. Четверка едет во Франкфурт, который Энсслин презрительно именует «центром капиталистической эксплуатации». В качестве целей назначаются два крупных универмага: громадный склад-магазин «Каухоф» и магазин модной женской одежды «Шнейдер». Одну из самодельных зажигательных бомб Энсслин, прикинувшаяся посетительницей, прячет в кипах костюмов на стеллаже, а другую Баадер, также незаметно для продавцов, засовывает в большой деревянный шкаф. Таймер из батареек и маленького будильника установлен на полночь, это обсуждается предварительно: ни персонал магазинов, ни посетители не должны пострадать. Баадер, правда, легкомысленно заявляет, что чем больше жертв, тем выше внимание прессы. Мы же хотим, чтобы о нашем протесте услышали миллионы людей. И Андреас знает, о чем говорит. Недавно грандиозный пожар вспыхнул в крупнейшем Брюссельском универмаге, погибло около трехсот человек, новость вышла на первые страницы европейских газет. Однако Баадера никто не поддерживает. Более того, его замечание встречает резкий отпор. Нет, мы воюем не против людей, а против вещей!

Ровно в полночь Гудрун звонит в Немецкое агентство печати и сообщает, что поджог двух универмагов — это возмездие, целенаправленный политический акт. Мы выступаем против лицемерного буржуазного общества! Мы выступаем против грязной вьетнамской войны!..

Сами начинающие террористы уже сидят в это время в молодежном клубе

«Вольтер» и когда начинается шум, выходят вместе со всеми, изображая случайных зевак. Они видят пламя и дым, вырывающиеся из-под крыши, наблюдают паническое скопление полицейских машин, слышат истеричные завывания пожарных сирен. Для них это грандиозный спектакль, они преисполнены гордости, что такое шикарное представление — дело их рук. Вероятно, у них начинается эйфория. Они не понимают еще, что такое настоящая революционная конспирация. Они еще не догадываются, что путь, на который ониступили, это канат, протянутый на головокружительной высоте. Один неверный шаг и разбиваешься насмерть. Гудрун Энсслин, захмелевшая не столько от пива, сколько от радости, которую рождает успех, намекает одной из подруг, кто в действительности организовал этот веселый спектакль. Никаких имен она, естественно, не называет, но и нескольких неосторожных слов оказывается достаточно. Приятель подруги — тайный осведомитель полиции, информация достигает соответствующего отдела буквально через пару часов. Уже утром следующего дня все четверо арестованы, а в квартире, где они ночевали, и в «вольксвагене», на котором приехали, найдено такое количество очевидных улик, что отпираться бессмысленно.

Грохочут засовы камер, топают тяжелые башмаки, падает занавес, меркнет в зрительном зале свет. Веселое представление завершилось, теперь его постановщикам требуется заплатить по счетам. Правда, платить им, кроме своей жизни, нечем. Они банкроты. Теперь их удел — тоскливая тюремная тишина. Борьба закончилась, фактически еще не начавшись. В первой же схватке с Системой они потерпели сокрушительное поражение.

И тут происходит удивительная метаморфоза. То, что, на первый взгляд, выглядит как поражение, внезапно превращается в блестательную победу. История любит различные хронологические сюрпризы. Практически в тот же день, когда запылали универмаги во Франкфурте, на другом конце света, в Мемфисе, США, был убит лидер движения чернокожих американцев, доктор теологии Мартин Лютер Кинг. 3 апреля, выступая на митинге, доктор Кинг произносит знаменательные слова: «Я не знаю, что случится сейчас. Впереди у нас тяжелые дни. Но это не имеет значения. Потому что я побывал на вершине горы... Я посмотрел вперед и увидел Землю обетованную. Может быть, я и не буду там с вами, но я хочу, чтобы вы знали сейчас — все мы, весь народ эту Землю увидит. И я так счастлив сегодня! Я ни о чем не волнуюсь! И я не боюсь ничего»... А 4 апреля, в 18 часов гремит выстрел снайпера (по официальной версии — одиночки), через пятьдесят пять минут доктор Кинг мертв... Черная буря прокатывается по Америке. Пылают подожженные здания в Вашингтоне, Балтиморе, Луисвилле, Чикаго — более чем в тридцати городах. Бушующая толпа находится всего в двух кварталах от Белого дома, на лужайках вокруг него размещаются и возводят укрепления пулеметчики. А еще через несколько дней, уже в Берлине, совершено покушение на Руди Дучке...

Все меняется буквально в считанные секунды. Из хулиганов — а именно так «франкфуртскую четверку» первоначально пытаются именовать — они превращаются во вдохновенных героев, которые в самом сердце Европы подняли знамя революционной борьбы. Значит, еще не все потеряно. Значит, есть еще люди, готовые жертвовать собой ради других. На одном континенте свеча погасла, но на другом она загорается — и светит всем. Сами «франкfurты» это быстро осознают. В первом же выступлении на суде Андреас Баадер

заявляет: «Мы зажгли факел в честь Вьетнама, в знак протеста против равнодушного согласия общества потребления с массовыми убийствами мирного населения в этой стране». О том же говорит Гудрун Энсслин: «Мы поняли, что без реальных действий слова бесполезны. И мы решили к этим действиям приступить»... Их заявления перепечатывают все газеты. Час пробил, таинственные звездные знаки сошлились. Молодежное сопротивление получает своих кумиров. Выражая общее мнение, Фриц Тойфель (тот, который позже создаст подпольное «Движение 2 июня») провозглашает на пресс-конференции в Союзе немецких студентов: «Лучше поджечь супермаркет, чем управлять супермаркетом!» А один из адвокатов, указывая на подсудимых, объясняет суду: «Если их отправят в тюрьму, значит, тюрьма — это единственное место для приличных людей».

Они становятся не просто героями. Они становятся суперзвездами, непрерывным источником ярких медиановостей. Суд находится в центре внимания всей Германии, и «четверка», интуитивно или осознанно, делает все, чтобы этот интерес поддержать. Они сидят на скамье, развалившись, точно в театре, они курят сигары и перебивают судей внезапными репликами, они то и дело вскакивают и кричат: «Свиньи!.. Фашисты!.. Вы не имеете права нас судить!» Они превращают судебное действие в фарс. Когда судья впервые вызывает Андреаса Баадера, вместо него поднимается Торвальд Пролл и судья, не замечая подмены, допрашивает его до тех пор, пока государственный обвинитель не указывает на ошибку. За это Баадера и Пролла удаляют из зала суда, но вместе с ними в знак солидарности уходит и Хорст Зонляйн. А когда тот же судья за вызывающее поведение приговаривает их всех дополнительно к трем дням ареста, Зонляйн во весь голос кричит: «Да чего там! Давай сразу четыре!» Процесс над «франкфуртскими поджигателями» открытый, зал полон сочувствующих, сюда стекается студенческая молодежь. Их защищают известные немецкие адвокаты — Отто Шили, который в 1998 году сам станет министром внутренних дел, Хорст Малер, весьма состоятельный и авторитетный юрист, преподаватель Гудрун — профессор Хайнциц. Тем не менее, всех четверых приговаривают к трем годам заключения. Суд есть суд, и поджог, чем бы ни мотивировали его, есть поджог. Однако общественное негодование оказывается настолько сильным, что уже к лету вся «франкфуртская четверка» выпущена «под подписку». Важную роль тут играет и апелляция, поданная их адвокатами в Федеральный Конституционный суд. Условия же временного освобождения таковы: обвиняемые обязуются не покидать пределов Германии, более того — сразу же вернуться в тюрьму, если апелляция будет отклонена.

Вместе с тем — это свобода. И она особенно сладостна тем, кто обретает ее в ореоле мучеников и героев. Выйдя на волю, четверка «франкфуртских хулиганов» мгновенно чувствует, как изменилась вся ситуация вокруг них. Из обычных людей они превратились в политические фигуры. Из бесвестных анархистов они стали символом революционного сопротивления. Они всем интересны. Они — в фокусе всех дискуссий, сплетен, легенд. Популярные газеты берут у них интервью, молодежные клубы приглашают их на вечеринки и выступления. Множество людей почитает за честь поговорить с ними хотя бы пару минут. Радикальные интеллектуалы, которые раньше презрительно смотрели на «недоучек», теперь с уважением выслушивают мнение «людей действия», не побоявшихся преступить черту. Они непрерывно получают денежные пожертвования: «шикарные левые», как их иронически называют,

тоже хотят быть причастными к революционной борьбе. А некая богатая дама, владелица магазина модной одежды (подожгли они, кстати, именно такой магазин) даже дарит им в порыве восторга новенький «мерседес». Жизнь становится похожа на красочный фейерверк. Тем более, что после покушения на Руди Дучке поднимается новая волна молодежных протестов. Непрерывно идут по улицам демонстрации, студенты, вдохновясь примером Сорбонны, начинают уже не обороняться, а наступать: летит зажигательная бомба в Министерство внутренних дел Западного Берлина, летит бомба в здание, где находится ректорат Западноберлинского университета, летит бомба в кортеж президента США Ричарда Никсона, когда тот посещает Берлин, горит подожженная неизвестными библиотека имени Джона Кеннеди. А когда одного из адвокатов «четверки» Хорста Малера вызывают в суд, чтобы предъявить ему обвинение в осаде концерна Шпрингера, вокруг здания суда разыгрывается сражение, сразу получившее название «Битвы на Тегелер Вег». Уличных боев такого масштаба Западная Германия еще не знала: ранения получают 130 полицейских и 22 демонстранта. Именно после «Битвы на Тегелер Вег» немецкую полицию начинают экипировать специальными щитами и шлемами, а также снабжают дубинками большей длины.

Конечно, и речи не может быть, чтобы после такого успеха покорно вернуться в тюрьму. Это значило бы развеять весь тот блестящий ореол, в лучах которого они уже привыкли сиять. Не покорности и смирения от них ждут. От них ждут новых подвигов, новых экстравагантных поступков. А потому когда наконец приходит известие, что апелляция Конституционным судом отклонена, в полицию, чтобы отсидеть назначенный срок, является только Хорст Зонляйн. Не будем за это его осуждать: не каждому дано зачеркнуть всю прежнюю жизнь и ринуться в водоворот неизвестного. Не всем быть героями, особенно в ситуации, когда героизм и злодейство еще друг от друга не отделены. Кто был тогда прав, а кто нет, станет ясно лишь по прошествии множества лет. А может быть, что вероятнее, не станет ясно вообще никогда. Во всяком случае ни Баадер, ни Энсслин, ни Пролл в полицию не идут. Узнав об отклонении апелляции, Гудрун лишь пожимает плечами: «Ладно, значит нам придется продолжать в том же духе». А затем они просто садятся в машину и уезжают в Париж. Зачем им тесные клетки? Зачем им долгая и унылая, как ракит, тюремная жизнь? Они — свободны. Перед ними открыт весь мир. Их ждут новые горизонты, сияющие зарницами новых побед.

И вот тут их постигает жестокое разочарование. Нет, поначалу все складывается как нельзя более благополучно. Французские радикалы, с которыми они заранее связываются, разумеется, готовы помочь немецким товарищам по борьбе. Они предоставляют им квартиру в Париже, принадлежащую, кстати, Режи Дебре, соратнику Че Гевары, французскому журналисту, отбывающему ныне тридцатилетний срок заключения в боливийской тюрьме, снабжают их определенными средствами, налаживают контакты с лидерами молодежного сопротивления — с «Красным Дени» (Даниэль Кон-Бендит), с Жаном-Марселем Бугеро, активистом Национального союза студентов Франции. Удается даже раздобыть фальшивые документы — теперь им не грозит задержание со стороны французской полиции. Правда, из группы неожиданно уходит Торвальд Пролл, который по примеру Зонляйна решает сдаться, но зато к ним присоединяется его младшая сестра, Астрид Пролл, и она пойдет по дороге сопротивления до конца.

На первый взгляд, вроде бы все нормально. И вместе с тем, здесь, во Франции, где до сих пор бродят величественными тенями Дантон, Робеспьер и Марат, «франкфуртские мятежники» впервые начинают осознавать истинные масштабы революционного возрождения. Ураган «майского бунта», конечно, уже идет на спад, но все равно кажется, что воздух Парижа еще пахнет слезоточивым газом. Непрерывно анализируются эпизоды недавних боев. Не прерывно обсуждается тактика и стратегия прошлогоднего сопротивления. Ведь тогда студенты фактически захватили весь Латинский квартал. Висел огромный плакат: «Этот квартал живет при коммунизме!» Центр Парижа был перегорожен заторами баррикад, горели машины, дым, полный копоти, проникал в окна буржуазных квартир, к студентам почти сразу же присоединились рабочие: трехнедельная забастовка, в которой приняли участие восемь миллионов человек, парализовала страну. Власть была полностью деморализована. Один из полицейских начальников даже предложил Кон-Бендиту ключи от префектуры, на что Кон-Бендит ответил: «Нет, это категорически исключено. Мы не хотим брать власть в свои руки». Чего стоили одни лозунги восставших: «Запрещается запрещать!», «Вся сила — воображению!», «Оргазм — здесь и сейчас!», «Ни бога, ни господина!», «Нельзя влюбиться в рост промышленного производства!», «Ты нужен шефу, а он тебе — нет!», «Границы — это репрессии!», «Распахните окна ваших сердец!», «Секс — это прекрасно!», «Университеты — студентам, заводы — рабочим, радио — журналистам, власть — всем!» И наконец потрясающий результат: вынуждено уйти в отставку правительство генерала Де Голля. Де Голль — герой антифашистского Сопротивления, человек-легенда, национальный французский герой, вместе с частями «Сражавшейся Франции» вошел в Париж, дал свободу Алжиру, когда понял, что невозможно его удержать, подавил военный мятеж ОАС, вышел из блока НАТО, пережил около тридцати покушений, и вот — пал под напором восставших студентов. Это вдохновляющая победа! Никто, даже герой, не имеет права становиться тираном. Никто, тем более президент, не может отнять у нас нашу свободу!..

В растерянности пребывают беглецы из Германии. Только что они сами были героями, которым рукоплескала вся немецкая молодежь, только что они были в статусе ослепительных кинозвезд, и вдруг выясняется, что таких героев во Франции — тысячи и десятки тысяч. Что, собственно, сделали эти мальчики и девочки, именующие себя революционерами? Подожгли пару универмагов? Сбежали из-под суда? Что ж, молодцы, всякая искра годится, чтобы распространить мировой революционный пожар. Всякий, ктостал в строй бойцов — это герой. Им пожимают руки, их снисходительно похлопывают по плечу, и тут же забывают о них, возвращаясь к более серьезным проблемам. Никто ими особо не восхищается, никто не стремится взять у них интервью, никто не интересуется, что они собираются далее предпринять. Для тех, кто уже вкусили нектар славы, это невыносимо: быть на вершине известности и вдруг соскользнуть во всеобщую неразличимость толпы.

Именно в эти дни их находит Хорст Малер (тот адвокат, который защищал «франкфуртскую четверку» в суде). И не просто находит, а у него есть очень конкретный план: надо создать настоящую революционную организацию, надо сформировать боевую группу, которая начала бы систематическую борьбу против фашистующей буржуазии. По его мнению, момент исключительно подходящий: в Германии по-прежнему все кипит, причем накал гражданского

противостояния возрастают, волна за волной идут митинги и демонстрации, одна за другой происходят ожесточенные схватки с полицией, обычные методы уже исчерпали себя, правительство, как растерянный бегемот, бессмысленно тычется мордой то туда, то сюда. Нужен лишь центр, который возглавил бы сопротивление, нужны лидеры, которые повели бы бушующие массы на штурм. У Малера уже и название есть. Он предлагает считать себя «Фракцией Красной Армии». И это вовсе не потому, что Хорст Малер с почтением относится к СССР. Напротив, Малер, как и большинство европейской социалистической молодежи, считает, что в Советском Союзе давно победил ревизионизм. СССР отказался от идеалов мировой революции, обуржуазился и готов пойти с капитализмом на стратегический компромисс. К тому же неприемлема тирания советской власти, которая поставила общество под тотально-репрессивный контроль. Нет, «Красная Армия» — как символ той силы, что победила фашизм.

Малер в этом отношении не одинок. Через год возникнут «Красные бригады» в Италии, а еще через год — «Японская Красная Армия» (Нихон сэкигун), которая пойдет по тому же пути. У Советского Союза нет монополии на красный цвет. Красное знамя — это знамя общемировой революции.

Предложение возникает как нельзя кстати. Им самим, особенно Баадеру и Энсслин до зеленой тоски надоедает нынешняя полубогемная жизнь: бесконечные блуждания по кафе, переезды из города в город, бесплодные разговоры о том, что следовало бы что-то делать. Зерно падает на богатую почву. Не пора ли и в самом деле сделать решительный шаг? Не настал ли час, когда следует собрать все силы в кулак? Революция не намерена ждать. Она придет, хотя они этого или нет. Довольно пребывать за кулисами. Надо вновь выйти на сцену и сыграть там главную роль.

Буквально через несколько дней они возвращаются в Западную Германию. Однако они все еще романтические подростки, абсолютно не сознающие правил смертельной борьбы. Им все еще кажется, что это эстрадное шоу, веселое представление, где под цветными софитами, мигающими, как в кабаре, их ждет лишь буря оваций. Они все еще намереваются сыграть красивый спектакль. В результате первая же их попытка достать оружие заканчивается провалом. Человек, к которому обращается Андреас Баадер, оказывается провокатором. По дороге к месту, где якобы находится искомый тайник, «мерседес» Баадера прижимают к обочине машины криминальной полиции. Документы у Баадера достаточно крепкие, но по легкомыслию он не потрудился выучить данные, которые в них внесены. В результате он не может ответить ни на один вопрос «крипо». Его задерживают, опознают и отправляют в Тегельскую тюрьму отсиживать назначенный срок. Это колossalный удар по РАФ. Их всего несколько человек, и теперь они фактически остаются без лидера. Группа разгромлена, еще не успев ничего предпринять. Авантура с игрой в революцию завершилась. Детей взяли за ухо и посадили в темный чулан.

Кажется, что для «Красной Армии» все кончено.

Но тут в эту трагическую ситуацию вмешивается судьба.

Судьбу зовут Ульрика Майнхоф. Она известный всей Германии журналист, главный редактор молодежного журнала «Конкрет», талантливый полемист, участник многих телевизионных шоу, завсегдатай тусовок, имеющая связи и авторитет в немецкой интеллектуальной среде. У нее высокий доход, дом в

престижном районе Гамбурга, о каком может только грезить во снах любая бурггерская семья, два «мерседеса», муж Клаус Рель, издатель того же весьма популярного среди молодежи журнала (кроме того он с большой выгодой перепечатывает в Германии шведскую порнографическую литературу), две дочери-близнецы, модные платья, приемы с дорогими итальянскими и французскими винами — идиллия воплощенной мечты, прекрасная площадка для жизни, несомненный карьерный успех, свидетельствующий о том, что в обществе равных возможностей всякий может взойти на вершину.

Об этом же вроде бы свидетельствует и ее биография. Отец Ульрики — скромный немецкий служащий, директор музея, умирает после мучительной болезни в 1940 году. Ульрике тогда всего шесть лет. Ее мать — служительница того же музея умирает в 1948 году. Ульрика еще учится в школе. Девочку берет на воспитание Рената Римек, даже не родственница, просто подруга матери, тем не менее, безоговорочно принявшая ребенка, оставшегося сиротой. В этом отношении Ульрике повезло. Рената Римек — теолог, доктор наук, известный деятель христианского социализма в Германии, председатель Немецкого союза мира, сочувствующая коммунистам. В доме у нее царит интеллектуальная атмосфера, и неопределенные порывы юности, по крайней мере на первых порах, обретают гармоническую направленность. Ульрика поступает в Марбургский университет, а затем переводится в Мюнстер, где изучает психологию, педагогику, историю искусств. Правда, были до этого девичьи мечтания о монастыре, об отрешенности от скуки и суетности мещанского быта, о том, чтобы стать воплощением истины, сошедшей на землю с небес. В жизни однако побеждает университет. Ульрика становится членом студенческого «Движения за ядерное разоружение», она посещает молодежные клубы, которые возникают в те годы в Германии на каждом шагу, у нее неожиданно обнаруживается несомненный ораторский дар. Первая же ее речь производит на слушателей ошеломляющее впечатление, и, по свидетельствам очевидцев, даже опытные политики жаловались на то, как трудно выступать после фройляйн Майнхоф — такой мощный смысловой и эмоциональный тон она задает. Она сразу же оказывается в водовороте событий. Сразу же обретает десятки и даже сотни соратников, приятелей и друзей. Ничего необычного в этом нет. Многие политические деятели Германии начинали свой путь именно так — в неформальных тусовках, в пекле студенческих мятежей — что не помешало им впоследствии занять высокие государственные посты. Одновременно Ульрика начинает писать статьи для газет, и через некоторое время получает очень лестное предложение. Журнал «Конкрет», пользующийся популярностью среди молодежи, приглашает ее в число постоянных сотрудников. Этот шаг становится одним из решающих в ее жизни. Именно здесь начинающую журналистку ждет внезапный грандиозный успех.

Следует отметить, что журнал «Конкрет», который действительно читает в основном студенческая молодежь, пребывает в этот момент в жестоком кризисе. Первоначально, что не очень скрывалось, он субсидировался из ГДР, и был задуман как рупор молодого коммунизма в Германии. Однако к концу 1960-х годов отношения между Советским Союзом и ФРГ заметно стабилизировались, Западная Германия даже официально признала существование ГДР (хотя бы в виде тезиса о «нерушимости послевоенных границ»), а правительство Германской Демократической Республики (разумеется, с санкции СССР) решило

отказаться от наиболее одиозных мер, могущих помешать этой взаимовыгодной перспективе. Финансиование журнала прекращено, высокие гонорары сотрудников остались в прошлом, «Конкрет» тонет, он вот-вот захлебнется в рыночных волнах массмедиа, где почти безраздельно царит желтая шпрингеровская пресса.

И вот тут новый сотрудник, только что появившийся в штате, делает гениальный ход. Две темы интересуют сейчас читающую молодежь. Два направления, сфокусированные в едином луче, доводят до кипения молодые умы. Во-первых, это политика — как протест против душного лицемерия западногерманских властей, а во-вторых, это секс — как протест против душного лицемерия буржуазной семьи. Пожалуй, впервые в европейской истории и о том, и о другом можно говорить совершенно открыто. Можно открыто подвергать критике власть, не опасаясь репрессий, на которые был богат гитлеровский режим, и можно также открыто говорить и писать о преимуществах свободной любви, не стесненной ничем, кроме собственных спонтанных желаний. Последнее для молодежи особенно привлекательно. «Секс без границ» уже практикуют в различных сообществах хиппи. В Германии в эти годы возникает «Секс-коммуна № 1», которую создает будущий террорист Фриц Тойфель. Свободная любовь там следует принципу «никто не отказывает никому». И почти сразу же образуется «Коммуна № 2», показывая, что это явление вовсе не единичное. К тому же именно в шестидесятые годы происходит колоссальный прорыв на рынке фармакологических контрацептивов: начинается массовое производство таблеток, предотвращающих нежелательную беременность. По цене они доступны даже самым бедным слоям. Секс таким образом отделяется от деторождения, эротика становится самостоятельной отраслью рыночной экономики, барьеры пурitanства начинают рушиться, Ульрика Майнхоф чувствует это раньше других.

Последствия новой журнальной политики поразительны. Буквально за год журнал, которому недавно грозило банкротство, становится одним из самых читаемых в ФРГ. Его тираж достигает сначала ста, а потом двухсот тысяч экземпляров. Он продается во всех газетных киосках, в университетах, на всех вокзалах, в метро. Журнал яростно обсуждают, на его материалы ссылаются, опубликованные там статьи перепечатывают за рубежом. Ульрика Майнхоф становится одним из самых известных журналистов страны.

Однако это еще не судьба. Это лишь исходный рубеж, с которого судьба начинается. Тем, по-видимому, и отличаются «люди судьбы» от «людей обыденности», что внезапный успех не заставляет их почивать на лаврах. Он не становится для них источником самоуспокоения, напротив — это как удар гонга, обозначающий лишь самое начало пути. Кризис на вершине успеха — это жестокая закономерность. Он свидетельствует о том, что жизнь из умиротворенного быта превращается в тревожное бытие. Видимо, не случайно Ульрика в детстве мечтала о монастыре, и, видимо, не случайной чуть позже, в юности, была ее попытка найти смысл жизни в деятельности «Братства святого Михаила», странной организации, которая представляла собой то ли философскую группу, то ли мистический религиозный орден. Служение не себе, а тому, что выше тебя, вероятно, и превращает «человека обыденности» в «человека судьбы».

Не следует забывать и о Мюнстере, где находился знаменитый университет. Города, как и люди, тоже имеют свою судьбу. Во времена Реформации, когда вся Германия погрузилась в кровавый хаос, именно Мюнстер, символизируя огне-

дышащий вселенский разлом, поднял над руинами мира знамя раннего коммунизма. Анабаптисты («перекрещенцы», те, кто считал, что крестить следует не младенцев, а исключительно взрослых людей) Ян Матис, пекарь, и Иоанн Лейденский, портной, захватили в городе власть и объявили о наступлении истинного «Царства Христова». Впрочем, Ян Матис вскоре погиб, зато Иоанн, провозгласивший себя царем, начал строить тысячелетний «Новый Израиль» — отменил деньги, любые долги, ввел равенство, общность имущества, принудительное распределение, многоженство (согласно некоторым сведениям — вообще общность жен) — по всей Германии расходились его апостолы, призывающие к восстанию. Полтора года просуществовала эта коммуна. Ни осада, ни голод не могли сломить дух защитников веры. Знаменательный факт: Ульрика Майнхоф родилась ровно через 400 лет после мюнстерского эксперимента, и хотя мистическая нумерология вряд ли может здесь что-нибудь прояснить, но для личной реальности, для самого человека это, разумеется, имеет значение. Ведь это тот самый Мюнстер, где началась борьба: тайный воздух истории, память средневековых камней. На церкви святого Ламберта сохранились железные клетки, в которых были выставлены тела казненных анабаптистов. Есть от чего почувствовать головокружение. Вы думаете, что человек рождается для того, чтобы есть, пить, работать и совокупляться? Вы думаете, что счастье — это сытый и благоустроенный хлев? Нет, человек рождается для свободы. Он рождается для того, чтобы искоренить все зло на земле... В этом угадывалась перспектива, как угадывается весна, когда ее еще нет: в слабой просине неба, в запахе почек, где уже начала пульсировать насыщенная ферментами кровь...

Так или иначе, но в конце 1960-х годов Ульрика Майнхоф действительно пребывает в тяжелом кризисе. И вряд ли причиной этого, как считают некоторые биографы, являются участившиеся конфликты в семье. Скорее уж сами конфликты являются следствием более глубоких причин. Во всяком случае она внезапно покидает «Конкрет», разводится с мужем, забирает обоих детей и, словно ныряя в темную воду, переезжает в неофициальную столицу Германии — Западный Берлин. Это опять-таки еще не судьба, но — это, несомненно, дорога, которая к ней ведет.

У Западного Берлина совершенно особое географическое и политическое положение. После разгрома фашизма он был оккупирован войсками союзнических держав. Каждая из сторон имела в городе собственный сектор и каждая, соответственно, осуществляла в нем верховную власть. Однако, когда Германия разделилась на ФРГ и ГДР, три западных сектора (английский, американский, французский) были объединены и составили «западный островок в восточном море». А в 1961 году, после известного кризиса, власти ГДР возвели Берлинскую стену, наглухо блокировавшую западную часть города — бетонным ограждением, колючей проволокой, контрольно-следовой полосой. Было разделено и метро: станции западных линий, находящиеся на территории ГДР, были забетонированы и превратились в «станции-призраки», где ни войти, ни выйти было нельзя, то же было сделано и со станциями восточных линий, которые находились на территории «западного островка». Берлинская стена стала символом «холодной войны». Президент США Дж. Кеннеди назвал ее «пощечиной всему человечеству». Теперь свободное перемещение с востока на запад (или с запада на восток) было запрещено. Как на настоящей границе встали вооруженные блокпосты. Даже окна домов в ГДР, находящиеся выше стены, были

нагло закрашены белой краской: «социалистическим немцам» незачем было смотреть на «чуждый им западный мир». В отместку Аксель Шпринтер, западногерманский медийный магнат, возвел буквально впритык со стеной громадное по тем временам двадцатиэтажное здание, штаб-квартиру концерна, в верхней части которого располагался электронный экран, транслировавший новости Запада «немцам, поработленным коммунистической тиранией». Возникло весьма специфическое государственное образование, по крайней мере формально, не входящее в состав ФРГ. У Западного Берлина свой сенат и свой бургомистр, однако верховную власть в городе осуществляет трехсторонняя военная комендатура союзников. Конституция ФРГ в Западном Берлине не действует, однако денежной единицей его является западногерманская марка. Граждане Западного Берлина могут не служить в армии ФРГ, но на его территории располагается военная база НАТО. Возникает нечто вроде «вольного города» — республика, со всех сторон окруженная завистливо-враждебной средой, — именно в таких городах в период Средневековья зрели и вспыхивали предвещающие Новое время яростные гражданские мятежи.

Здесь Ульрика оказывается в самом пекле громокипящих дискуссий. Это, конечно, не Мюнстер времен осады его армадой католических войск, но ощущение, что «враг у ворот» почти такое же, как тогда. Атмосфера в городе раскалена до предела. Что делать, ведь фашизм действительно наступает? — вот вопрос, который обсуждается в клубах, на улицах, на площадях. Фашизм уже оправился от военного поражения, зализал нанесенные ему раны, набрался сил, и теперь, как чума тех же Средних веков, бесшумно и незаметно захватывает одну позицию за другой. Нынешняя немецкая власть не собирается ему противостоять. Еще правительство Аденауэра критиковали за то, что в составе его присутствует ряд явных нацистов: Ганс Глобке, юридически оформлявший фашистские расовые законы, по которым евреи лишились всех прав, Теодор Оберлендер, оберштурмбанфюрер СА, член «Черного рейхсвера», участник гитлеровского «пивного путча», руководитель спецбатальонов «Бергман» и «Нахтигаль». В Министерстве иностранных дел ФРГ бывшие нацисты вообще составляли 2/3 сотрудников. Какую политику будут они проводить?.. И что тогда ответил на критику Аденауэр? А ничего, сказал, что «пора прекратить бессмысленное вынюхивание нацизма», и тут же был принят закон, восстанавливающий все имущественные права членов гитлеровской НСДАП. Восемь миллионов фамилий оказалось в кадровой картотеке нацистской партии, которая попала в руки союзников после войны. И кто был осужден? Фактически только самые отъявленные главари. Но даже те, кого отдавали под суд и заключали в тюрьму, отбывали свой срок далеко не полностью. Альфред Крупп (член НСДАП, президент фонда Адольфа Гитлера, разграбление оккупированных стран, использование рабского принудительного труда), например, вместо двенадцати лет, назначенных по приговору суда, отсидел всего два с половиной года; Йозеф Дитрих, обергруппенфюрер СС приговорен к пожизненному заключению, негласно освобожден уже в 1955 году; Карл Оберг, группенфюрер СС, и его ближайший помощник Гельмут Кнохен, руководившие фашистским террором во Франции, получили от французского суда смертные приговоры, были выданы властям ФРГ, тут же освобождены; Иоганн Кремер, врач-палач из Освенцима, заочно приговоренный к смертной казни польским судом, тоже освобожден; «палач Дании» Вернер Бест, лично виновный в убийстве около

восьми тысяч людей, не был осужден вообще, спокойно жил, занимая высокооплачиваемую должность юрисконсультта в концерне Стиннеса; нацистские судьи, выносившие смертные приговоры антифашистам, сотнями и тысячами отправлявшие на виселицы «паникеров» в последние недели войны, не понесли наказания вообще — никто, «ни один-единственный человек», как с горечью писал немецкий драматург Рольф Хоххут; из тысячи двухсот палачей Бабьего Яра, чья вина была документально подтверждена, перед судом предстали только двенадцать (сотая часть) — один был повешен в Нюрнберге, еще одиннадцать человек судили лишь в 1967 году — все они отделались символическими наказаниями.

С точки зрения демократической молодежи, в ФРГ проходила не денацификация, а целенаправленная ренацификация. В 1955 году парламентская комиссия во главе с Ойгеном Герстенмайером, председателем бундестага и другом небезызвестного Отто Скорзени, принимает решение, которое открывает путь в бундесвер всем бывшим гитлеровским офицерам вплоть до оберштурмбанфюрера СС, причем каждому из них сохраняется прежний воинский чин. Принимается закон об изменении 131-й статьи Конституции ФРГ: теперь все бывшие нацистские чиновники подлежат восстановлению в своем прежнем статусе, а если это невозможно — государство должно выплачивать им внутильный пенсион. А в 1961 году к этому закону принимается дополнение, которое распространяет его и на членов СС — организаций, официально признанной на Нюрнбергском процессе преступной. Процветают промышленники, чье соучастие в преступлениях против человечества было доказано — и владелец концерна Флика (принудительное использование труда на оккупированных территориях), и глава фирмы Дегусса, занимавшейся при нацизме переплавкой золотых коронок людей, умерщвленных в Треблинке. Шоковое впечатление производит на немцев роман Димфны Кьюсак «Жаркое лето в Берлине», где рассказывается о том, как вольготно чувствуют себя высокопоставленные нацисты в послевоенной Германии, о том, что их вовсе не гложет чувство вины и что они готовы начать все сначала.

Свидетельствует об этом не только писательница из Австралии. Советский журналист Юlian Семенов, создатель знаменитого Штирлица, приводит в одной из своих статей миниопрос, проведенный им в те дни на улицах Западного Берлина: «Вы спрашиваете, где выставлены фашистские ордена? Я провожу вас, неподалеку открыт специальный магазин»... «Марки с портретом Гитлера? Это рядом, в "Европейском центре". Там вообще большой выбор марок с портретами наших национал-социалистских вождей. Марки отменного качества, печать просто великолепна»... «Как достать грампластиинки с речами Гитлера и Геббельса? Хм-хм... Есть, конечно, определенные трудности. Приходится, знаете ли, учитывать ситуацию. Подождите до завтра, я постараюсь все устроить, мой господин»... ««Майн Кампф»? Речи Гиммлера? Можно, конечно, купить, но зачем? В библиотеке это прекрасно систематизировано. Что бы там ни говорили, а это наша история»...

Тысячи задокументированных свидетельств собирают левые силы Германии о нацистских военных преступниках. Тысячи обращений представляют они в соответствующие правительственные инстанции и суды. Реакции властей — практически никакой. Денацификация завершилась. Такова официальная политика ФРГ, и благодаря своим связям и своему положению Ульрика Майнхоф

понимает это лучше других. Все острее становятся ее статьи, все более крайние политические позиции она занимает. Она пишет, что «война в XX веке недопустима. Потери — как материальные, так и человеческие — не могут быть компенсированы никакими территориальными завоеваниями, никакой военной добычей». Она пишет, что демократия и ядерное оружие несовместимы: «гонка вооружений и ликвидация демократии обусловливают друг друга». Она пишет, что «не фашизм, а основа для его преодоления вновь вытравлена из немецкой истории» и что «из всех свобод нам остается только одна: свобода беспрекословно поддерживать власть». Она возмущена жестоким подавлением молодежных протестов: «Ну конечно, преступление — не бомбы с напалмом, сброшенные на женщин, стариков и детей, — а протест против этого. Не уничтожение посевов, что для миллионов людей означает голодную смерть, — а протест против этого. Не разрушение электростанций, лепрозориев, школ, плотин — а протест против этого. Преступны не террор и пытки, применяемые частями специального назначения, — а протест против этого. Недемократично не подавление свободного волеизъявления в Южном Вьетнаме, преследование буддистов, запрещение оппозиционных газет — а протест против этого в "свободной" стране. Считается дурным тоном бросать в политиков пакеты с творогом и пудинговым порошком, а не официально и с почестями принимать тех, по чьей вине стираются с лица земли деревни и уничтожаются города. Считается дурным тоном проведение публичных дискуссий об угнетении вьетнамского народа, а вовсе не колонизация целой страны под знаком антикоммунизма»... Она напоминает, что ради благополучия Запада множество людей в Третьем мире умирает от голода. Она считает, что в борьбе за свободу и справедливость никто не должен стоять в стороне. Она дает четкие определения, которые повторяет потом немецкая молодежь: «Протест — это когда я заявляю: то-то и то-то меня не устраивает. Сопротивление — это когда я делаю так, чтобы то, что меня не устраивает, перестало существовать. Протест — это когда я заявляю: все, я больше неучаствую в этом. Сопротивление — это когда я делаю так, чтобы в этом не участвовали — все». И наконец, видя, что правительство не считается ни с какими митингами и демонстрациями, ни с какими обращениями, кто бы их ни писал, она прямо призывает к вооруженной борьбе: «Ответное насилие должно превратиться в такое насилие, которое соразмерно насилию, осуществляемому полицией, в такое насилие, где бессильную ярость заменит продуманный и четкий расчет, в такое насилие, которое на использование полиции в качестве вооруженной, военной силы тоже даст вооруженный, военный ответ». «Шутки кончились, — заявляет она. — Когда право обращается бесправием, сопротивление становится долгом!»

Время шуток действительно завершается. Бездвзвратно уходит та романтическая пора, когда Клаус Юншке вклеивал себе в паспорт фотографию Мао Цзэдуна и убеждал полицейских, что это и есть его истинное духовное «я». Или когда последователи «Бомми» Баумана (Секс-коммуна Западного Берлина) шатались по улицам голыми, надев лишь венки, сплетенные из колючей проволоки. Всеобщая шизофрения, которую Бауман хотел сделать оружием революционной борьбы, начинает приобретать зловещие очертания. В молодежных клубах звучит уже не джаз, «музыка забытья», как это было по окончании Первой мировой войны, звучит рок — музыка протesta, тревоги и пробуждения.

Это доминирующие настроения тех бурных лет. Разочарование в демокра-

тии среди немцев почти такое же сильное, как и перед Второй мировой войной. Впрочем, демократией это уже никто не считает. Карл Ясперс, например, характеризует политическую систему, сложившуюся в ФРГ как «олигархию партий», конкретизируя известное высказывание Маркса о том, что на выборах буржуазия подхватывает одной рукой то, что выпускает другой. Ему вторят Сартр, называющий выборы «электоральной комедией», и Маркузе, говорящий как о манипулятивности медийной среды: обыватели верят телевизору и более ничему, так и о «репрессивной толерантности» современного буржуазного общества: оно способно терпеть и даже поддерживать любую, самую экстравагантную оппозицию, не угрожающую его основам, вместе с тем, оппозиция, намеревающаяся реально трансформировать мир, будет подавляться самыми жестокими методами. Более того, полемизируя с классиками марксизма, Маркузе пишет, что пролетариат перестал быть революционной силой истории, сейчас эту роль играют интеллигенция и молодежь — либо используя рабочий класс как инструмент для воплощения своих идей, либо вовсе обходясь без него. Главной же целью молодежных протестов Герберт Маркузе провозглашает тот самый «Великий Отказ» — отказ от любого сотрудничества с существующими общественными институтами, борьбу ради самой борьбы, разрыв «со всеми рутинными способами видеть, слышать, ощущать вещи и познавать», «тотальную революцию» как переход от настоящего к будущему, между которыми связи нет. Еще радикальнее выражается Джерри Рубин: «международная молодежная революция начнется с массового разрушения авторитетов, с массового восстания, с тотальной анархии в каждой клеточке, в каждом сегменте, образующем западный мир». И как венец всего: «В задницу выборы! Да здравствует революция!»... Тактику же протестов формулирует Руди Дучке, предлагающий в качестве основного метода революционной борьбы «субверсивные действия» — постоянное нарушение законов буржуазного государства: «Санкционированные демонстрации должны быть превращены в проходящие нелегально. Надо обязательно искать конфликта и столкновений с государственной властью. Один удар полицейской дубинкой просвещает сознание масс больше, чем сто теоретических кружков». Ульрика Майнхоф, призывая к активной борьбе, ничего не придумывает. Она лишь как талантливый журналист подхватывает из воздуха ментальные вибрации общества и воплощает их в горячих словах.

Личный кризис, тем не менее, продолжается. Журналистская деятельность, пусть даже обеспечивающая высокий доход, больше не удовлетворяет ее. Ведь что такое, по сути говоря, журналистика? Статья в газете живет один день и потом сгорает, как мотылек, развеиваясь легким пеплом. Конечно, журналистика создает определенную общественную атмосферу, но никакая атмосфера сама по себе не способна ничего изменить. Где та сила, которая могла бы остановить надвигающийся фашизм? Где те люди, которые бы рискнули открыто поднять знамя революционной борьбы и повести за собою других? Она чувствует себя принарядженной куклой, выставленной в витрине напоказ равнодушным гостям, той самой «прирученной оппозицией», которая колеблет воздух, но не сотрясает основ. Это, по-видимому, непрерывно мучит ее, и тем сильнее оказывается эффект, когда, попав в качестве журналиста на процесс «франкфуртских поджигателей», она вдруг видит на скамье подсудимых людей, которые предпочли силу действия бессилию слов. Происходит нечто вроде прозрения. Это, разумеется, не тот случай, когда Симон, пронзенный внезапной верой, поднял

крест и пошел вслед за Христом. На Иисуса Христа лидер «четверки» Андреас Баадер похож меньше всего. И не в конкретном человеке здесь дело. Звучит призыв истории, указывающей истинный путь. Внезапно озаряется тьма, пропадает дорога, по которой можно идти. Звонят вдохновляющие колокола. Девочка, грезившая о монастырском служении, видит расширенными глазами огонь нетленной свечи.

Это в ней уже не угаснет. Пламень, вспыхнувший в сердце, превращает тусклую жизнь в творческое житие. Уже ничто не может ее удержать, ничто не пугает, никакие испытания ей не страшны. И потому когда весной 1970 года к Ульрике обращаются с предложением помочь освободить Андреаса Баадера из тюрьмы, она не колеблется ни секунды. Хватит болтать! Хватит играть по правилам, которые навязывает нам фашистско-буржуазный истеблишмент. Настало время конкретных и решительных действий.

План отличается идиллической простотой. Ульрика Майнхоф обращается к тюремной администрации с просьбой разрешить ей встречу с заключенным Баадером в библиотеке Института социальных исследований — она якобы готовит книгу о людях, не сумевших вписаться в нормальную законопослушную жизнь. Ей необходим соответствующий материал. Тюремная администрация не возражает. В ее глазах Баадер — мелкий политический хулиган, который особой опасности не представляет. Утром 14 мая — этот день считается днем рождения «Красной Армии» — двое охранников привозят Баадера в институт. С него даже снимают наручники. Ульрика Майнхоф уже ждет его там. Через некоторое время раздается дверной звонок: в библиотеку заходят две девушки, якобы тоже собирающие материал о подростковой преступности. Никаких подозрений они у охраны не вызывают. В действительности это Ингрид Шуберт и Ирэн Гергенс, члены зарождающейся РАФ. Через некоторое время раздается еще звонок: в библиотеку врываются женщина в парике и мужчина в маске. Все четверо выхватывают пистолеты: не двигаться!.. Руки на голову!.. Лицом к стене!.. Выглядят они, впрочем, не слишком серьезно, и дежурный библиотекарь Георг Линк пытается выбежать в зал — в него стреляют, библиотекарь ранен, растерянные охранники особого сопротивления не оказывают. Все разворачивается в считанные секунды: распахивается окно, налетчики вместе с Ульрикой и Баадером бегут через сад, на улице их ждет машина, за рулем которой сидит Астрид Пролл. Мотор включен, «альфа-ромео», угнанная незадолго до этого, скрывается за углом. На следующий день газеты сообщают о сенсационном побеге. В статьях особо подчеркивается, что организатором его является Ульрика Майнхоф — это действительно «бомба», которая взрывает поток обыденных новостей. Все, теперь возврата к прежнему нет. Решительный шаг сделан. Пересечена граница, отделяющая жизнь от судьбы. Театральный занавес поднимается. Вспыхивают софиты. Оркестр играет бравурный марш. История, блестательная и жестокая, получает своих героев.

Однако это еще не все. Конечно, красавая увертюра исполнена, внимание зрительного зала привлечено. И вместе с тем, теперь, когда актеры вышли на сцену, им нужен яркий драматургический жест. Необходимо с первых же мгновений взбудоражить аудиторию, встряхнуть ее, сфокусировать эмоции на себе, продержать сквозь нее такой силы разряд, чтобы она с неослабевающим

напряжением смотрела спектакль до конца — забыв обо всем, смиряясь с неизбежными в каждом сюжете медлительностями и пустотами.

Трудно сказать, осознают ли это бойцы «Красной Армии» или сама история, которая по природе своей есть выдающийся режиссер, создает эффектные мизансцены, где им остается только точно сыграть, но буквально в первые же дни после побега они совершают именно то, что придает всей пьесе нужный акцент.

Прежде всего они выпускают политическое заявление, где темпераментно объясняют, какие задачи ставят перед собой. Выдержки заявления перепечатывают большинство немецких газет — оно написано таким ярким и выразительным языком, что не может не привлечь общественного внимания. Чего стоит, например, следующий пассаж, принадлежащий, по некоторым сведениям, Гудрун Энсслин: «Неужели эти свиньи поверили, что мы позволим товарищу Баадеру два или три года гнить в тюрьме? Неужели они поверили, что мы будем только болтать о развертывании классовой борьбы и не будем в то же время вооружаться? Неужели эти свиньи, которые начали стрелять первыми, поверили, что мы безропотно позволим убивать себя, словно скот? Тот, кто не защищается, умирает; тех, кто не умирает, хоронят заживо в тюрьмах, в исправительных колониях, в заводских трущобах, в каменных гробах спальных районов, в переполненных школах и детских садах, в новомодных кухнях и спальнях с невообразимой мебелью, приобретенной в кредит»... И заканчивается заявление громогласным призывом: «Начни вооруженную борьбу! Создай Красную Армию!»

Но еще до публикации заявления, напечатанного в анархистском журнале «Agit 883» (под заголовком «Die Rote Armee aufbauen!») РАФ совершает действия, которые свидетельствуют о том, что это не просто слова. Ведь сколько уже было слов! Сколько было громких призывов, пламенных манифестов, шокирующих заявлений, обнаруживших через короткое время свою деятельностную пустоту. Словам уже не верит никто. И РАФ осуществляет акцию, показывающую, что в данном случае все будет всерьез. Акция выглядит парадоксальной. Казалось бы, после громкого побега Баадера группе по всем правилам конспирации следует затаиться, спрятаться в темноте, закопаться в придонный ил, подождать, пока схлынет первая волна полицейской активности, бытьтие тише воды, ниже травы. Вместо этого уже на следующий день «Красная Армия» совершает дерзкое ограбление «Банк фюр Индустри унд Хандель». Это пока еще времена детских игр. Немецкая полиция неплохо умеет бороться с обычными уголовниками, но она понятия не имеет, как нужно действовать против политических террористов. Баадер, Малер и Майнхоф, участвовавшие в налете, без особого риска берут 200 тысяч дойчмарок, огромная сумма, если учесть, что среднестатистическая бургерская семья могла бы безбедно жить на эти деньги несколько лет. Однако тут важнее другое. Тезисы, провозглашенные в заявлении, теперь подкреплены конкретным революционным действием. Это уже не хулиганские поджоги универмагов, с чего они начинали два года назад, и не бросание шариков с краской в мелких политических прощельг. За ограбление банка грозит многолетнее тюремное заключение. Этой акцией «Красная Армия» сразу же ставит себя вне закона. Теперь пути назад у них нет: корабли сожжены, они могут либо победить, либо погибнуть в борьбе. Во всяком случае, завязка драмы, которая далее превратится в трагедию, блистательно осуществлена. О «Фракции Красной

Армии» пишут все газеты Германии, и «зрители», не подозревающие еще, что скоро они сами станут участниками спектакля, ждут от них новых необыкновенных чудес.

Правда, для чудес нужна материальная база. Как бы ни были молоды бойцы первого поколения РАФ, как бы ни были они опьяняны своими фантастическими успехами, но даже им совершенно понятно, что невозможно надеяться исключительно на везение в смертельной схватке со спуртом полицейского государства. Повезет один раз, как в Институте социологии, повезет другой раз, как в случае с Индустриальным банком, а затем — провал, черная яма, из которой будет не выкарабкаться уже никогда. Нужны навыки революционного действия, нужен опыт подпольной борьбы, который нарабатывается десятилетиями. И такой опыт, как они полагают, может им дать Организация Освобождения Палестины (ООП), уже много лет ведущая отчаянную борьбу против Израиля. ООП финансируется богатыми арабскими странами, у нее есть деньги, оружие, сеть военно-тренировочных лагерей, она располагает целой армией прекрасно подготовленных боевиков, которые уже совершили ряд громких террористических акций. В 1968 году палестинцы под руководством Лейлы Халед захватывают самолет «Эль-Аль» и, угрожая оружием, сажают его в Алжире; в результате освобождены 12 террористов, содержавшихся в израильских тюрьмах. В том же 1968 году боевики палестинцев обстреливают и забрасывают гранатами самолет той же «Эль-Аль» в аэропорту Афин. А осенью 1970 года они захватывают сразу четыре авиалайнера, которые посажены в Иорданию, и в обмен на заложников освобождены палестинцы из тюрем различных западных стран. Блестящий результат с точки зрения РАФ. Здесь есть чему поучиться.

Не последнюю роль играет и то как это воспринимается левым европейским сознанием. Палестинцы встречают в Европе всеобщее сочувствие и поддержку: народ, изгнанный со своей земли израильскими оккупантами, народ, вынужденный жить во временных лагерях, мужественный народ, сражающийся за свое право быть. Левые европейские интеллектуалы удивительным образом не замечают, что евреи имеют в Палестине точно такие же исторические права, как и арабы, поскольку древний еврейский народ сформировался именно здесь, что нарушено не только решение ООН об образовании арабского Палестинского государства, но и решение той же Организации Объединенных Наций об образовании государства Израиль. Уже в первые дни после его провозглашения арабские страны заявили, что никакого государства евреев в Палестине не будет, они сбросят Израиль в море, ни одного еврея не останется на священной арабской земле. Это же подтверждает и Палестинская хартия 1968 года, где говорится о ликвидации государства Израиль, устраниении всякого сионистского присутствия в Палестине и провозглашается создание Палестины в качестве «неделимого регионального образования в границах, который определил Британский мандат» — то есть в тех старых колониальных границах, когда еще никакого Израиля не было.

Так или иначе, палестинцы готовы помочь «товарищам по борьбе». Устанавливаются контакты с неким швейцарским банкиром по имени Франсуа Жэну (был лично знаком с Гитлером, в годы войны являлся нацистским эмиссаром в арабских странах, издал дневники Геббельса, где в предисловии отозвался о нем как о великом мыслителе; не единственная сомнительная

фигура, блуждающая в темных закоулках террора), а этот банкир, в свою очередь, сводит РАФ с одним из лидеров палестинцев Вадей Хаддадом. Летом 1970 года две группы «красноармейцев» вылетают в Бейрут, чтобы оттуда добраться до тренировочных лагерей палестинцев, расположенных в Иордании. Здесь происходит показательный инцидент. Ливанские таможенники их задерживают, поскольку не у всех членов группы есть необходимые документы. Их даже временно заключают в тюрьму. Ситуация становится угрожающей. Информация о поездке членов РАФ на Ближний Восток уже потекла, и правительство Федеративной Республики Германия в любой момент может потребовать их выдачи. Ведь они — преступники, находящиеся в розыске. Согласно международным законам, их надлежит арестовать и судить. Но тут появляется вооруженный палестинский отряд, вызванный Хорстом Малером, избивает таможенников, освобождает из заточения членов РАФ и без каких-либо формальностей переправляет их через границу. Вот как все просто! На «Красную Армию» это производит сильное впечатление. Выросшие в законопослушной европейской среде, они теперь своими глазами видят подтверждение известного тезиса председателя Мао о том, что «винтовка рождает власть».

Однако, на этом взаимные восторги заканчиваются. Кросс-культурный контакт очень быстро перерастает в непримиримый кросс-культурный конфликт. Обе стороны фатально не понимают друг друга. Для палестинцев, которые сражаются уже почти двадцать лет, на первом месте стоит военная дисциплина — безусловное подчинение командирам, готовность без рассуждений выполнить любой боевой приказ. Их шокирует демонстративная анархия членов РАФ — их вечные пререкания между собой, споры, желание возразить в самый неподходящий момент. А у членов новорожденной «Красной Армии» именно дисциплина вызывает психологическую идиосинкразию. Это ведь как раз та тирания, против которой они восстали. Европейское представление об индивидуальной свободе сталкивается с арабским представлением о предопределенной судьбе. Ни тех, ни других, разумеется, не переубедить. Конфликт достигает высшего напряжения в тот момент, когда немецкие девушки начинают загорать обнаженными на крышах казарм. Для арабов это уже больше, чем шок: большинство из них никогда не видело обнаженной женщины. Комендант лагеря алжирец Ахмед, который читал рафовцам курс по ограблению банков, кричит в бешенстве: «Что вы себе позволяете? Здесь вам не пляж!», на что Баадер высокомерно отвечает ему: «Антиимпериалистическая борьба и сексуальная революция идут рука об руку. Стрельба и секс — это одно и то же». Нашел кому объяснять. Заканчивается это тем, что ночью палестинцы проникают в немецкий барак и аккуратно забирают у РАФ оружие. Тем не менее, соглашение о военном сотрудничестве подтверждено: палестинцы гарантируют безопасное и конспиративное возвращение членов РАФ в Германию.

Перед отъездом Ульрика Майнхоф обращается к арабам с неожиданной просьбой. У нее есть две дочери, объясняет она, и ей хотелось бы, чтобы они воспитывались в палестинском лагере для детей-сирот. Пусть они вырастут среди тех, кто борется за свободу. Палестинцы взять детей соглашаются, но честно предупреждают, что больше она не увидит их никогда. Ульрика, в свою очередь, это условие принимает, и позже данное обстоятельство будет квалифицировано как необычайная жестокость фрау Майнхоф, как ее патологический фанатизм, как готовность пожертвовать ради идеи даже детьми. В действитель-

ности это, вероятно, те же романтические иллюзии — когда мир за чертой мещанства воспринимается исключительно в пастельных тонах, когда не видны ни его боль, ни его страдания, ни его ядовитая грязь, когда каждый борец за свободу одет в сияющие доспехи.

К счастью, детей в последний момент удается спасти. Один из бойцов «Красной Армии» Питер Хоман, уже разочаровавшийся к тому времени в идеологии РАФ, вернувшись в Германию, сразу же сообщает об этой бредовой идее Штефану Аусту, который знаком с Ульрикой по журналу «Конкремт» (позже он напишет подробную монографию о деятельности РАФ), тот немедленно летит на Сицилию, где девочки находятся в колонии хиппи неподалеку от Этны, забирает их и возвращает отцу.

Самим членам РАФ, как выясняется, тоже везет. Через несколько дней после их высылки из Иордании там начинается так называемый «черный сентябрь»: король Хусейн, раздраженный тем, что ООП, контролирующая двухсоттысячный контингент палестинских беженцев, претендует на политическую власть в стране, двинет против нее правительственные войска. Начнутся ожесточенные столкновения. Почти весь состав тренировочного лагеря палестинцев, где пребывала РАФ, погибнет в междуусобной войне.

Вместе с тем, поездка на Ближний Восток оказывается не напрасной. Кое-какие навыки владения оружием члены РАФ все-таки получают. Теперь можно применить их на практике. Но главное, что необычайно укрепляет революционный дух, они обрели международную солидарность в своей борьбе. Они уже не одни, у них есть союзники, они стали частью той силы, которая пробуждается по всему миру, чтобы мечом веры и правды поразить империализм в самое сердце его.

У них нет сомнений, с чего начинать. Как раз в 1969 году бразильский революционный деятель Карлос Маригелла пишет книгу с характерным названием «Краткий учебник городской герильи». Книга мгновенно становится бестселлером в революционных кругах, переводится на множество языков, по ней учатся будущие партизанские командиры. Конечно, тезис великого Мао о том, что для победы в революционной борьбе «следует окружить города деревней», то есть поднять восстание в сельской местности, а потом, опираясь на народную армию, сокрушить столицу страны, своего значения не потерял. Это подтверждается и победой самой китайской социалистической революции, озаряющей ныне собой весь азиатский Восток, и блестательным маршем Фиделя Кастро, который во главе кубинских повстанцев вошел в Гавану. Однако ситуация в современном мире меняется. Стремительно, даже в беднейших странах, разрастаются и революционизируются города, беднейшая часть крестьянства непрерывно перетекает туда. Возникает принципиально иная — мегаполисная — среда, которая требует совершенно иной тактики и стратегии. Так вот, Маригелла считает, что в каменных джунглях города войну можно вести точно так же, как в сельской местности. Более того, городская герилья, если ее правильно организовать, может принести сейчас быстрый успех, поскольку город с его окраинами нищеты — неисчерпаемый ресурс для пополнения революционной армии.

Маригелла в своем учебнике дает и практические рекомендации. Городская война должна вестись небольшими мобильными группами, считает он, куда желательно включать автоматчика, снайпера, гранатометчика, огневой контакт

должен быть преимущественно коротким: группа появляется и исчезает внезапно, не пытаясь удерживать временно захваченную территорию, борьба на стационарных баррикадах бессмысленна: правительственные войска могут блокировать их со всех сторон, особенно эффективны действия в громадных «спальных районах», где герильерос имеют возможность раствориться среди десятков и сотен тысяч людей. Он также пишет о методах выявления провокаторов, о быстрой смене одежды и умении после акции мгновенно исчезнуть в толпе, о нанесении лака на пальцы, чтобы не оставлять компрометирующие отпечатки, о нападении наочные конвои и полицейские патрули, об организации локальных очагов возгорания (покрышек, автомашин), которые отвлекают внимание правительенных сил. Главной же целью герильи Маригелла считает вовсе не формальную победу в войне, а затягивание ее, психологическое изматывание противника, рост недовольства среди мирного населения, дестабилизацию политической обстановки в стране — это даст возможность армии герильерос продиктовать власти свои условия. «Долг революционера — во что бы то ни стало делать революцию, — пишет он. — Быть сегодня террористом или боевиком — качество, которое делает честь любому человеку любой воли, потому что это акт, достойный революционера, занятого в вооруженной борьбе против позорной капиталистической диктатуры и чудовищ, которые ее охраняют».

Кажется, первым книгу Маригеллы читает Хорст Малер, и она приводит его в бурный восторг. Такой же восторг испытывают и многие другие члены РАФ. Ведь теперь все понятно. Маригелла в простых словах конкретизировал то, что красиво, но слишком абстрактно провозглашали левые европейские интеллектуалы. Поди догадайся, что означает «иллегальная легитимность». Или «превентивная контрреволюция, вырабатывающая у общества амбивалентный социальный иммунитет». Зато мысль Маригеллы о том, что фашизму можно не только сопротивляться, но и уничтожить его, абсолютна верна. Сам Маригелла погибает в том же 1969 году. В июне он, находясь в подполье, пишет свою знаменитую книгу, а уже в ноябре убит в перестрелке с бразильской полицией. Что ж, революция невозможна без жертв. Мы помним тебя, товарищ! Маригелла погиб в том числе и за нас. Однако он успел сказать главное. Революция — это не «семейное дело» группы отчаявшихся людей. Революция — это великий всемирный процесс, разворачивающийся в том числе и с нашим участием. Призыв Че Гевары «создать два, три, много Вьетнамов» сейчас актуален как никогда. Где бы ни сражался революционер, он сражается за общее дело. «Умереть под флагом Вьетнама, Венесуэлы, Гвианы, Боливии одинаково почетно для американца, азиата, африканца и европейца».

Вот о чем не следует забывать. Мы сражаемся не за власть в конкретной стране, мы ведем всемирную борьбу против агрессивного империализма. Кон-Бендит не случайно отказался взять ключи от префектуры. Мы сражаемся против Системы, которая уродует человека.

Система — это термин, который они постоянно употребляют. Впрочем, не только они — здесь фокус всех политических дискуссий тех лет. Данный термин так обычно и пишется с заглавной буквы — Система, и означает он тот механизм, с помощью которого власть подавляет революционное сознание масс. Это главное оружие порабощения, отвратительный гигантский спрут, просовывающий свои щупальца во все ткани общества. Он незримо опутывает собой

человека, превращает его в мертвую куклу, в обезличенное существо, которым можно, дергая за ниточки, управлять. На это, собственно, и направлена индустрия сознания: примитивные комиксы, массовая культура, тотальное господство рекламы, уродующей зрение, слух и мозг. Человек, порабощенный Системой, не способен понять ни своего места в обществе, ни своего экзистенциального предназначения. Для него нет ничего выше собственного благополучия: его дома, его машины, его счета в банке, в действительности представляющего собой пустой набор цифр. «Бюргер» полностью подчинен Системе: его мысли, его желания не выходят из тех границ, которые навязывают ему рекламные образцы. Он принимает исключительно то, что есть, даже не пытаясь задумываться о чем-то другом. В его сознании «должное» полностью подавляется «сущим». Он живет как дрессированное животное, выполняющее наборы примитивных команд. В таких условиях уже не работают когда-то успешные средства и методы просвещения — единственный выход заключается в том, чтобы инициативное меньшинство, те, кто уже отверг догматы общества потребления, с помощью дерзких вооруженных акций прервало гипнотический транс, в который он погружен. Мы — за то, чтобы люди снова стали людьми.

Конечно, это будет не просто. Система чрезвычайно сильна, и она, несомненно, будет яростно сопротивляться. Мы знаем, как было свергнуто в Иране правительство Мосаддыка и как на смену ему пришел коронованный «прогрессивный палач». Мы знаем, какие провокации устраиваются против Кубы, где гордо поднято знамя свободы и революционной борьбы. Мы видим ковровые бомбажки Вьетнама — в огне напалма сгорает будущее этой страны. Мы знаем, что Че Гевара погиб в джунглях Боливии — торжествующие ублюдки отрубили ему кисти рук. Мы наблюдаем, какому злобному натиску подвергается ныне социалистическое правительство Сальвадора Альенде. Сможет ли оно устоять?.. Скорее всего, мы тоже погибнем в борьбе. Силы ужасающие неравны, и мы отчетливо представляем на что идем. Но даже если нам суждена близкая смерть, если революции потребуется возложить нас на священный алтарь, погибнуть мы должны так, чтобы за нами во вдохновенном порыве встали тысячи новых бойцов.

Что же касается конкретно Германии, то цель борьбы здесь можно сформулировать так: «мы должны выманить фашизм наружу», чтобы он сбросил либеральную маску и продемонстрировал свою звериную суть. Эта мысль принадлежит Хорсту Малеру. Хотя Руди Дучке тоже не раз говорил, что антиавторитарные формы деятельности должны заставить буржуазное государство прибегнуть к массовому насилию, которое структурно присуще ему. «Организованная иррегулярность» (так Дучке классифицировал спонтанно-экстремальный протест), систематическое нарушение правил буржуазного государства должны спровоцировать его ответную насильтвенную реакцию и политизировать сознание масс. «Революционер должен революционизировать себя сам: это является необходимым условием для революционирования всех».

Говоря проще, своими действиями мы должны создать ситуацию, при которой немцы другими глазами увидят окружающий мир.

Миру нужно дать шанс.

Вот этот шанс мы ему и дадим.

*(Окончание следует)*

# Поэзия

*Марина Кудимова*

## Одиночества русского жребий

### *Руки*

Вот-вот — и эти руки старые  
Обмечет сеточка и «гречка»,  
Но будут всё держаться парою,  
Как два совместных человечка.

Их сочленения скользящие  
Несут свой груз — и не роняют.  
Так в долгом браке состоящие  
Друг друга только дополняют.

И никого никто не хавает,  
И никого никто не строжит.  
Где левая поддержит правую,  
Где левой правая поможет.

Так катерок речной флотилии  
Страхует пароход усталый:  
Одна — в молитвенном усилии,  
Другая — со свечой подталой.

Им пособляет сила вышняя  
Плыть в соответствии с судьбою.  
А я меж ними — третья лишняя,  
Сама как будто бы собою.

Но никуда они не денутся —  
В последнем спазме встрепенутся,  
В предвечном рукобитье встренутся  
И на груди моей сомкнутся.

\* \* \*

Иzmорось, похожая на снег,  
Но ещё не снег.  
Времена, похожие на век,  
Но ещё не век.

Междуснежье это, междувечье —  
Как недомоганье человечье:  
Полусон, неразмыканье век,  
Недоговоренье, междуречье...

---

*Кудимова Марина Владимировна* — поэт, переводчик, публицист, литературовед. Родилась в Тамбове, там же в 1973 г. окончила пединститут. Печатается с 1969-го. Автор нескольких книг стихов. Лауреат ряда литературных премий. Работает в редакции «Литературной газеты». Живет в Переделкино.

### *Перед сном*

На окнах накипают стразы,  
Грядёт метель.  
Пусть устарели наши базы  
И наша цель,  
  
Пусть невподъём берём беремя  
И туп тесак,  
Пусть разное вершится время  
На всех часах,  
  
Но женщине дана отсрочка,  
Пока все спят,

И светится её сорочка —  
До самых пят.  
  
Переслоились поколенья  
Битьём, нытьём...  
И мы найдём упокоенье,  
И мы найдём —  
  
За вечной мерзлотою кольской,  
Где нет проблем...  
А женщина ладонью скользкой  
Наносит крем.

\* \* \*

С гнёзд не поднимается дичина —  
Значит, и у севера есть юг.  
Боль длиннее, чем её причина, —  
Острый угол и крепёжный крюк.

Боль многоэтажна, и за нею  
Ни тебя не сыщешь, ни меня...  
Бурный след кильватерный виднее  
Флагманского белого огня.

### *Держидерево*

За деревнею Потерево  
Не по климату, мятежно  
Палиурус — держидерево —  
Оградил предел коттеджный.  
  
Средь цветочков жёлто-кисленьких,  
Мелковатых, как минуты,  
Вместо выростов-прилистников —  
Два шипа: прямой и гнутий.  
  
И внезапно всем спохваченным  
Умозрением тугим  
Возвратилась я к утраченным  
Впечатленьям дорогим —  
  
Как с усердием любителя,  
Двигаясь от точки к точке,  
Рисовал мой дед Спасителя  
В Нотр-Дамовом веночек.  
  
Я, растя в тайге пиловочной,  
На большом лесоповале

Думала, колючкой проволочной  
Богу голову сковали.  
  
Зелена живая изгородь,  
Бур Его венец терновый.  
Полыхает, будто Искороть,  
От зари посёлок новый.  
  
Палиурус подвивается,  
Не обманываясь торгом:  
Шип, что прям, во плоть вонзается,  
Шип, что гнут, дерёт с поддёргом.  
  
Что же я, дитя режимное,  
Не подброшу пакли серной?  
Держидерево, держи меня  
На дистанции замерной.  
  
Пронизай, на всё готовую,  
В тонких маревах являйся  
И колючкою Христовою  
В мои помыслы вцепляйся.

\* \* \*

Накануне беды и разлуки  
Так надсадно воят поезда.  
Одиночества русского звуки,  
В гулком небе немая звезда.

Нет уже никаких средостений  
Для души, поглотившей хулу.  
Одиночества русского тени  
Бдят навыстойку в каждом углу.

Только совесть натуженно дышит,  
Только боль своё бремя несёт.  
Не стесняйся — никто нас не слышит,  
А услышит — никто не спасёт.

Присядни на воде и на хлебе,  
О Борисе и Глебе взгрустни.  
Одиночества русского жребий,  
Нам твои предуказаны дни.

Высшей пробы твоей, высшей меры  
Нам не внове добротный закал.  
И туда не пройдут БТРы,  
Где Христос напоследок взалкал.

### *Война*

Война — это сын, стон,  
Библейские мор, глад.  
Но гибель без похорон  
Ещё не ведёт в ад.

Война — это тыл, блуд,  
Измен и торгов ряд.  
Но там, где тебя ждут,  
Ты верен, любим, свят.

Подбит головной танк,  
Сожжён броневой гроб.  
Но, раз оголён фланг,  
Пехота пойдёт в лоб.

Война — это сырь, тиф,  
Трассёра больной свет.  
Но если герой — миф,  
То нас —  
никого — нет.

### *Лепёшка*

Если голод и кишки в гармошку,  
Никаких изысков не хочу.  
Но за самаркандскую лепёшку  
Что имею, то и заплачу.

И в чаду предсмертного угары  
Не куплю другую никогда —  
Только ту, с Сиабского базара,  
Где урюк, инжир и парварда.

Пусть от стенки вечного тандыра  
Маркою отклейтся патыр,

Тмином разразится на полмира,  
А уж маком — и на целый мир.

Огненный, с чернотцами припёка,  
С корочкой, цепляющей десну...  
Я его приму, как дар Востока,  
И ожгусь, и юность помяну.

И на каждом семечке сезама —  
Ну, кунжути, чтоб в словарь не лезть, —  
Древняя простишит анаграмма,  
Согдианы золотая весть.

# Проза

*Мариам Петросян*

## Два рассказа

### *Чёрные кости*

*Ane*

Если ты девочка, родившаяся в Армении, скорее всего, тебе хотелось бы родиться мальчиком.

В нашей земле слишком много костей. И все они, несомненно, мужские. Те, кому принадлежат эти кости, строили города, сражались, несли слово Божье и просвещение, придумывали алфавит, отправлялись в странствия и возвращались, совершали подвиги и предательства, описывали их в хрониках и с чувством выполненного долга добавляли свои кости к прочим, еще не истлевшим костям. А женщины все это время «хранили тепло домашнего очага». Вероятно, хранили, потому что история об этом умалчивает. Может у них даже кости были черными и рассыпчатыми. Незаметными.

Естественно, армянские отцы испытывают разочарование, обзаведясь дочерьми. Продвинутые и передовые умело это скрывают. Совсем не продвинутые демонстрируют свою скорбь так яростно, что могут пострадать невинные наблюдатели. При первом ребенке скорбь еще не так велика и разрушительна, потому что при первом ребенке второй подразумевается, как нечто само собой разумеющееся. И так же, само собой разумеется, что это будет мальчик. При второй дочери уже можно дать себе вволю поскорбеть. Окружающие поймут и посочувствуют. Существует множество утешительных фраз, традиционно употребляемых в подобных случаях. При третьей дочери окружающие хранят сочувственное молчание. Третья дочь — это уже беспредел. Конец всему. Род прерван, предки перевернулись в могилах, после нас останутся только черные кости, можно опускать занавес.

Поэтому, родиввшись первой дочерью, можно утешаться тем, что ты не третья. И даже не вторая. Никто не падал в обморок при известии о твоем рождении, не выдидал волос и не напивался с горя. Все еще было поправимо. Но

---

*Мариам Петросян* (родилась в 1969 г.) — армянская писательница и художник. Пишет на русском языке. Автор книги «Дом, в котором...», работа над нею заняла у автора 18 лет и сразу же после выхода принесла «Русскую премию» в номинации «крупная проза». Хотя писательница и заявляла, что новых книг от нее ждать не стоит, в 2014 г. увидела свет «Сказка про собаку, которая умела летать». Живет в Ереване. В «ДН» печатается впервые.

поскольку ты — та самая дочь, после которой само собой подразумевается сын, годы твоего детства будут отравлены ожиданием этого «само собой разумеющегося». Ты его заранее ненавидишь. Ты с ужасом ждешь его появления, потому что рано или поздно, он возникнет из ниоткуда и все испортит. Ты не сомневаешься в том, что он будет идеален. У него будет все, что есть у тебя и многое сверх того. Все, что в тебе несовершенно и нуждается в исправлении, в нем будет исправлено. А ты из центра вселенной превратишься в маленькую планетку-спутник и будешь мрачно вращаться вокруг нового центра. Вместе со всеми остальными.

А может у тебя это не так. Может это только мое. Ведь мы с тобой ни в чем не похожи, кроме даты рождения. Одно знаю наверняка, мы хотим видеть своих отцов счастливыми. Поэтому однажды поднимемся к радуге.

На территории дома отдыха, окруженной заросшими лесом горами, увидев радугу, мы дружно, не сговариваясь, возьмемся за руки и потопаем в гору. Туда, где совсем близко, раскинулась разноцветная арка. Пройдя под ней, станешь мальчиком. Если ты девочка. И наоборот. Трудно представить сумасшедшего мальчика, который решит стать девочкой, зато мы вполне представляем толпу девочек, которым может вздуматься нас обогнать, поэтому очень спешим.

На ходу трудно разговаривать, но думать подъем не мешает. Мне интересно, сработает ли волшебство для двоих. Есть подозрение, что вряд ли. То есть кто-то из нас идет напрасно.

Я знаю, что ты сильнее, но почему-то считаю, что в нужный момент смогу тебя обогнать. Пробежать под радугой первой. Эта мысль тревожит мою совесть. Тебе превращение больше необходимо. Откуда я это знаю? Сейчас уже не вспомнить. И мальчик из тебя получится более удачный. Ты и так почти мальчик. Сильная, напористая, бесстрашная, похожая на маленького бычка. Можешь взять в руки дохлую мышь. Влезть на самую верхнюю ветку высокого дерева. Поколотить кого угодно. Деремся мы всегда понарошку, если тебе вдруг хочется меня пощекотать, но дерись мы всерьез, ты так же легко скрутила бы меня, как делаешь это в шутку. Победить можно только хитростью. Неожиданным рывком под радугу в последний момент. Терзаясь мыслями о собственном коварстве и сомнениями, хватит ли духу на предательский рывок, я обнаруживаю, что тебя тоже мучают неприятные мысли. Правда, из другой области.

Ты бормочешь:

— Проходим под ней... и у нас что, вырастают письки?

Мы дружно останавливаемся и смотрим друг на друга с отвращением.

— Фу! — говорим мы. — Гадость! — и постояв в раздумьях, продолжаем путь.

Подвиг есть подвиг. Тут уж не до деталей. Даже если придется до конца жизни мучиться с чем-то, что не может не мешать.

Мы поднимаемся все выше. Радуга отодвигается. В траве вполне могут прятаться невидимые ямы. Ямы, ведущие в страну скелетов. Ту, что умеется в двух альбомах. Попасть туда легко. Достаточно прогуляться по зеленой лужайке. Пособирать цветочки. И провалиться в незаметную дыру. Съехать по подземному тоннелю и очутиться в стране скелетов. В очереди к котлам. Это огромные котлы, под которыми полыхают костры. Люди поднимаются к ним по шатким лесенкам, а скелеты подгоняют их костяными пиками. С верхней перекладины лестницы люди падают в котел. Всего котлов три или четыре, из

последнего, по такой же лесенке, спускаются готовые скелеты. Рабочие. Будут вечно трудиться на коренных обитателей страны. Это самая интересная часть истории. Дальше все не так драматично. Золотой скелет обитает где-то в конце альбома. Сидит на троне. Компанию ему составляют два скелета рангом пониже — красный и голубой. На их высокое положение указывают ордена: пришпиленные к ребрам языки людей из верхнего мира. Яркие красные медальки.

— А ведь с виду нормальные дети, — скажет твоя мама, пролистав альбомы. Особенно ее поразят котлы, но они и должны поражать, так и было задумано.

Твоя мама хорошо рисует. На шкафу у нее спрятаны два листа ватмана. На одном толстый кот, на другом — худой. Еще она рисует нам планетки. Каждой по планете, на каждой планете по волшебной птице, у каждой птицы что-то свое, особенное. У твоей — огромный апельсин. А что было у моей, уже не помню. Это добрые картинки. Мамины подарки нам. В стране скелетов нет ничего доброго. Но мы и не собираемся ее кому-то дарить. Она только наша. Как зарытые в землю секреты. Бусинки, фантики от конфет, цветы, ракушки. Они кладутся в ямку и накрываются стеклом. Если точно знать место, можно их откапывать и любоваться сквозь стекло своим личным кладом. А можно случайно наступить на чужой секрет и порезать ногу.

— Наверное, когда мы глядим на свои секреты, скелеты смотрят снизу на нас. Может даже они подкладывают туда свои красивости, чтобы мы удивились и подольше смотрели, — говоришь ты.

И простая ямка в земле превращается во что-то опасное. В глазок для пустой глазницы. Ты умеешь сделать обыденное страшным.

Мы поднялись высоко, радуга по-прежнему рядом, но выглядит как-то хуже. Расплывчата.

Мы начинаем понимать, что пройти под ней будет сложнее, чем казалось. Я понимаю, что на последний коварный рывок, скорее всего, не останется сил. Да и превращаться в мальчика, кажется, расхотелось. Но ты упрямо штурмуешь гору, и приходится следовать за тобой.

Мы никогда не станем мальчиками. Пройдет немного времени и тебя увезут в далекий город. Ты уедешь со своей мамой, а папа-дядя-брать-моей-матери останется и еще долго будет ждать появления само собой разумеющегося потомка. И дождется. Но это уже совсем другая история, в которой никто не покоряет горы, чтобы осчастливить своего папу.

## *Свекольная кровь*

Нет ничего страшнее замужества. О нем упоминают всякий раз, когда предстоит сделать что-то неприятное. Вымыть посуду. Подмести. Пропылесосить. Бабушка никогда не забудет упомянуть: «тебе это пригодится, когда ты выйдешь замуж». Тут и дурак сообразит: выходя замуж, обрекаешь себя на череду бесполезнейших и скучнейших занятий, без перерывов на игры и развлечения, потому что во взрослом виде не полагается играть. Тебе говорят, по сравнению с тем, что прилагается к замужеству, любая уборка сейчас — просто разминка. Цветочки. Ягодки будут потом. Очень неприятные ягодки. Потому

что уже сейчас (в восемь, десять, одиннадцать лет) видно, что хозяйка из тебя плохая. Будущая хорошая хозяйка с юных лет делает все легко, играющи, распевая веселые песни. Она все это любит. Любит приносить пользу окружающим. А ты — нет. У тебя на лице написано, как тебе это мало нравится. Оно мрачно и угрюмо. В перерывах между уборками ты не спешишь испечь тортик, чтобы порадовать семью. Потому что не умеешь. Все, на что ты способна — завалиться с книгой на диван-ковер-кровать, и лежать себе. Можно утешаться тем, что никогда не выйдешь замуж, но вслух об этом лучше не говорить. Взрослых такие заявления смешат. Потому что — и это самое страшное — замужество неизбежно. Как взросление. Как предстоящая когда-нибудь смерть. Хочешь не хочешь, а вырастешь, хочешь не хочешь, а выйдешь замуж. Потому что влюбишься. А мужчины бывают только двух видов — козлы и принцы на белых конях. Последние в природе почти не встречаются. Бабушка во всяком случае с ними не сталкивалась. Вернее, сталкивалась, но на проверку они оказывались замаскированными козлами. А поскольку «любовь зла», их все равно любишь, даже после разоблачения. Так что к занудным и неинтересным занятиям будет прилагаться «козел». Он будет поедать приготовленные ему обеды и носить выстиранную и выглаженную одежду. Это все, что о нем следует знать. Остальное: «время покажет». Козлы бывают разных пород, но у всех у них есть матери, о которых следует знать намного больше, чем о самих козлах, потому что козлы в основном «гуляют на стороне», а козлиные мамы всегда рядом, пристально следят за выполнением домашних работ. У каждой из них свои методы воспитания нерадивых, и мачехам Белоснежки и Золушки до них далеко. Относительно козлов еще можно питать какие-то иллюзии. Козлиные матери не оставляют надежды. Бабушка склонна к преувеличениям, но в данном случае скорее всего не преувеличивает, ведь в слове «свекровь» явственно слышится «кровь», а в слове «кисур» — «сур» — что означает острый, то есть если два великих языка не врут, сложив зашифрованную в этих словах информацию, получишь пугающую картину. Некто — склонный к кровопролитию и вооруженный острым предметом. В русской версии слышится еще «свекла», то есть оно будет темно-красным. Вероятно от пребывания в постоянном гневе. Наверное мальчиков пугают бяками, врачами и милиционерами. Может, особо изощренные родители пугают их тюрьмой, сумой и «кривой дорожкой». Но это пустяковые страшилки по сравнению со свекровью. Которой не пугают специально. О которой упоминают вскользь, как о чем-то само собой разумеющемся. Сокрушаясь. Потому что ты — совсем не то, что сможет одобрить свекровь. Она не одобряет даже танцующих с веником и распевающих веселые песни. Даже умеющих испечь тортик. Она не одобряет ничего, а меньше всего, не расположенного к труду, лежащее на диване тело. Так что надо уметь маскироваться. Прикидываться трудягой. Это программа выживания во взрослом мире. В вырабатывании у тебя полезных навыков мама сильно отстает от бабушки. Ее «еще успеешь», по-своему звучит не менее страшно, чем все, что говорит бабушка, и то, что она никогда не упоминает ни козла, ни свекольную кровь, вовсе не означает, что их не будет. Просто мама не хочет тебя пугать раньше времени. И непонятно, кто из них прав: бабушка — не скрывающая ничего и усиленно проходящая с тобой программу выживания во взрослом мире или мама — прикрывающая собой, не желающая заглядывать в печальное завтра. Скорее всего, права все же бабушка. Она старше. И была на войне. На настоящей

войне. К ней постоянно ходят желающие приобщиться к знаниям. Группами и поодиночке. У некоторых есть предлог для визита, у большинства его нет, но бабушка не нуждается в предлогах, чтобы радостно кого-то принять. Поэтому заходят все, кто действительно хотел повидать бабушку, те, кто шли мимо, те, кто живут далеко и нуждаются в отъезде перед долгой поездкой на транспорте, те, кто не прочь перекусить, те, кому нужно позвонить или зайти в туалет, назначившие друг другу свидание, и ученицы. Ученицы входят в отдельную категорию. У них есть предлог для визита. Они учатся шить. Целый год. Многие уже выучились, но продолжают приходить. Им надо поделиться своими историями с бабушкой и выслушать ее истории. Приобщиться к знаниям. В основном, приобщаются на кухне, попивая кофе. Иногда в рабочей комнате, в процессе шитья. Послушав их можно узнать о жизни намного больше, чем рассказывает бабушка. «Она — нежная и кроткая, а он — грубая скотина. Она — умница, красавица, профессорская дочь, три иностранных языка, два диплома, а он неграмотная деревенщина...» Это истории о совершенно разных козлах. О мелких, трусливых, прячущихся в кустах. О белых, с шелковистой шерстью и надменными глазами. О грязных, рыжих, ободранных... Все они носят выстиранные кем-то носки. Все невыносимы. У всех есть мамы. Скрыться от них невозможно. «Любовь зла, полюбишь и козла». Нет — обязательно полюбишь именно козла. И будешь любить вечно. Он подарит тебе одного или двух младенцев, маленьких козлят с острыми рожками, руки у тебя станут грубыми, лицо усохнет, а ноги посинеют. Синие ноги — обязательная часть истории. Они синеют оттого, что постоянно стоишь или бежишь, от этого в них лопаются какие-то важные сосуды и все становится синим. О синих ногах особенно любят упоминать бабушка. Синяя нога пугает сильнее, чем сестрина Черная Рука, привезенная из пионерских лагерей. Черная Рука карабкается по лестницам и стучит в запертые двери, чтобы задушить девочку, которая ей откроет, но, во-первых, можно не открывать, во-вторых, можно открыть, вооружившись молотком, а на худой конец, можно утешаться тем, что если тебя задушат, синих ног уже не будет никогда. От Синих ног можно спастись, не выйдя замуж. Но таких спасшихся отчего-то жалеют сильнее, чем самых пострадавших от козлов, свекольной крови и Синих ног. О них говорят «бедная», им по-настоящему сочувствуют. Это непостижимо. Иногда, рассказывая свои истории, женщины переходят на шепот и глотают слова. Из-за тебя, из-за того, что ты рядом. Проглощенное слово можно угадать по первой букве, по вытаращенным или прикрытим глазам, а иногда они отчетливо выговаривают его свистящим шепотом, так, что и угадывать не приходится. Это смешно. Они рассматривают гущу на дне своих кофейных чашечек. «Мне кажется, тут отчетливо видно сердце... хотя возможно, это не сердце, а верблюд...» Бросаешься со всех ног посмотреть на нечто, похожее одновременно и на сердце и на верблюда. В чашке, как всегда, ничего, кроме черноты на дне и вырастающих из нее коричневых сосулек. Увидевшая верблюда, которого в чашке нет, подковыривает кофейную гущу на донышке цикламеновым ногтем и все присутствующие взволнованно склоняются над ее чашкой. — Крест! О Боже! — Да, нет, это крыша дома, все в порядке... Крыша — это хорошо. — А вон еще ангел. Совсем крохотный, видите? Наученная горьким опытом, не присоединяешься. Нет там никакого ангела, как не было верблюда. Интересно, что они никогда не видят в своих чашках козлов.

Ни крохотных, ни больших. Иногда они обсуждают тебя. «Она живет в мире сказок» — сообщает своим гостям бабушка. «Ждет принца на белом коне». Женщины радостно хихикают. — Я никого не жду! — шипишишь ты. — И меньше всего какого-то дурацкого принца! Но бабушка смотрит сияющими глазами. Ее уверенность в твоей наивности непоколебима. — Когда ты была совсем крошка и сидела на горшке, ты говорила: — Я Белоснежка, скоро ко мне приедет мой прекрасный принц, — радостно делится она. Женщины с кофейными чашками умиленно ахают. Как будто никто из них не был маленьkim, не сидел на горшке и не болтал глупостей. — Какая прелесть! — восклицают они. Чтобы не умереть на месте, следует немедленно уйти. И где-нибудь в укромном месте вернуть себе первоначальный цвет. Не свекольный. А можно убежать к маме и пожаловаться ей на несправедливость бабушки.

— Я ненавижу принцев! — Знаю, — ответит мама. — Я тоже. И соврет. Потому что когда-то вышла замуж за самого настоящего прекрасного принца. До того прекрасного, что тебе до сих пор неловко на него смотреть. Умом ты, конечно, понимаешь, что это твой папа, но всеми остальными чувствами угадывается принц. Слишком красивый для тебя, для мамы, и для окружающего мира. С ним тяжело жить в одном доме. Постоянно ощущая собственное несовершенство. Даже его одежда прекрасна. Она сохраняет идеальные очертания, ее приятно выкрадывать и носить, приобщаясь к чужой красоте. Тебе кажется, она добавляет тебе немного сияния, как будто папа оставил на ней волшебную пыльцу и любой, кто ее наденет станет таким же — не тутошим. На самом деле он-она станет странноватым. Но это мелочи. Жить рядом с истинной красотой, по-своему, не менее опасно, чем рядом с козлom, поэтому мамино мужество тебя восхищает, но зачем же кривить душой, заявляя о своей нелюбви к принцам? Возможно вы с ней по-разному понимаете, что такое принц. В остальном вы полностью солидарны и ваши вкусы совпадают. Маме тоже больше нравится чудовище из «Аленького цветочка», чем придурак-принц со стрижкой под горшок, в которого оно превращается в конце мультфильма. Чудовище похоже на огромного лемура. На славного толстого лори. И оно пушистое. Мама согласна, что выйти замуж за лори намного приятнее, чем за принца. С лори можно жить на дереве. И он не носит носков. Папу эти предпочтения смешат. — Боюсь даже представить своего будущего зятя, — говорит он. Я тоже боюсь, папа. Но об этом лучше молчать.

*Владимир Салимон*

## О нашем времени ни слова

\* \* \*

Накрыло каплей дождевой  
того, кто в миросозерцанье  
мог погрузиться с головой,  
надолго задержать дыханье.

Жучок похожий на божка,  
божок, что нам напоминает  
головогрудого жучка,  
глубокий сумрак прозревает.

В его глазах отражено  
всё, что от наших глаз скрыто,  
и нам понять не суждено,  
чем сердце у него разбито.

\* \* \*

На нас нисходит Божья благодать.  
Быть может, привезённые с Афона,  
дары волхвов дают себя нам знать  
щемящим запахом одеколона.

Он щиплет ноздри мне среди зимы,  
когда горят рождественские ёлки,  
вонзая в толщу непроглядной тьмы  
лучей колючих острые иголки,

и ладана, и смирны аромат  
влечёт к себе подобно блеску золата,  
или ещё сильнее — во стократ,  
чем самая высокая награда.

---

*Салимон Владимир Иванович* — поэт, издатель, автор около 20 книг. Удостоен Европейской премии Римской академии (1995), диплома премии «Московский счет» (2007), Новой Пушкинской премии (2012). Постоянный автор «Дружбы народов». Живет в Москве.

\* \* \*

Попы в высоких шапках против нас,  
как гость заморский против домочадца,  
и мы на них не поднимаем глаз,  
ну разве только, чтоб полюбоваться.

На лицах их почиет благодать,  
которую за высшее блаженство  
сподобились ошибочно принять  
мы в силу своего несовершенства.

Поскольку были сердцем и умом  
уже не слепы, но ещё не зрячи,  
воспринимали многое с трудом.  
По-своему. Не так, как все. Иначе.

\* \* \*

Цветы завядшие мертвые,  
но удивительно красивы  
среди камней, среди листвы,  
корней, похожих на нарвы.

Как человек, болеет сад —  
то мечется в жару ночами,  
то зубы у него стучат  
от холода, как будто в яме.

\* \* \*

Все выдохнули разом так,  
что захотелось сала с перцем,  
но мы сидели на местах  
крепки умом и твёрды сердцем.

Наш паровоз на всех парах  
на дно пучины погружался,  
или напротив — в облаках  
его зловещий след терялся?

У Жюля Верна я читал  
в одной из книжек нечто вроде.  
*Пар клокотал. Гремел металл.*  
*Двадцатый век был на подходе.*

\* \* \*

Недалеко тот день, когда мороз  
заявит о своих правах,  
и будет наконец решён вопрос  
на деле, а не на словах.

Кому у нас земля принадлежит,  
которая из года в год  
во мраке за околицей лежит  
и голоса не подаёт?

\* \* \*

Люди в поле с чистыми руками.  
Это выглядит невероятно,  
так как не чекисты перед нами,  
про которых всё давно понятно.

Добела они отмыли руки,  
но поскольку речь на самом деле

о серьёзном внутреннем недуге,  
многие не в силах встать с постели.

А у тех, кого я встретил в поле,  
словно на пролёте птичья стая,  
от огня, от копоти, от боли  
руки чёрны, как земля сырья.

\* \* \*

Снег лёгок на помине,  
тут как тут,  
сам серенький, как серенькая мышка,  
но стала на засахаренный фрукт  
похожа вдруг большущая ледышка.

Понятно потому, как лёд грызет  
хромая обездоленная псина,  
что сладце сахара он сладок, словно мёд,  
что собран в час ночной с куста жасмина.

\* \* \*

Где под колёсами грузовиков  
гибнут во множестве лисы и зайцы,  
трупики сбитых в ночи голубков  
выглядят, как у сантехника пальцы.

Кровь под ногтями давно запеклась,  
и постепенно на месте увечья  
перемешались лиловая грязь  
и ярко красная кровь человечья.

\* \* \*

Как гнуть, ломать, лежачих бить,  
тебя такому ремеслу,  
клянусь, не стану я учить! —  
сказал и стукнул по столу.

Но, сделав мёртвую петлю,  
кулак мой в воздухе повис.  
Я в стороны его валю,  
тяну, раскачивая, вниз.

Всё понапрасну, даром всё.  
Вокруг повисла тишина.  
Как будто бы в небытие,  
природа в ночь погружена.

\* \* \*

Потерявшие руки и ноги  
по прошествии многих веков,  
обрести Олимпийские боги  
наконец-то смогли мирный кров.

Тёплый свет им струится на плечи  
и стекает на мраморный пол,  
словно это — оплывшие свечи,  
а не Зевс, Геркулес и Эол.

Пробудившись от жуткого смеха,  
что донёсся в ночи до меня,  
вижу — рядом на койке калека.  
Комом сбилась под ним простыня.

\* \* \*

Вели себя, как заговорщики —  
оглядывались, озирались.  
Хотя мы не были притворщики,  
мы бесконечно притворялись.

По молодости лет особенно  
валяешь дурака охотно,

но вдруг — окалина, оскомина.  
Всё кончилось бесповоротно.

И время, как в ушко игольное  
верблюд, протиснулось во мраке,  
и нечто дряхлое, безвольное  
узрел я, край задрав рубахи.

\* \* \*

Воображаемая линия меня  
приводит к мысли, что не всё так просто,  
и, если прежде в гости ехал я три дня,  
то это только из-за маленького роста.

Вполне достаточно мне было подрасти,  
и я добрался до посёлка к ночи.  
Я с поезда сошёл и принялся идти  
по ельнику,  
так долгий путь короче.

По тропке узенькой пустился напрямки  
к давным-давно знакомому мне дому.  
Ночь надвигалась быстро.  
Шла гроза с реки,  
дав волю чувствам — молнии и грому.

\* \* \*

О нашем времени ни слова  
весёлый Пушкин не напишет,  
поскольку время нездороно.  
Оно больно.  
На ладан дышит.

А Пушкин — он здоров чертовски!  
Остёр. Колюч.  
Большая сила  
в гремучем этом полукровке.  
Над ним не властна и могила.

*Наталья Мелёхина*

## По заявкам сельчан

*Рассказ*

Вечером на исходе зимы в Евсеевку вошел незваный гость — невысокий и крепкий дед лет семидесяти. Вадим как раз чистил снег в заулке, когда истошно залаяли лайки Тобол с Ямалом. Чужак без разбору тыкался в каждую избу, будто не замечая, что к ним не ведут натоптанные тропки, а стекла заклеены кружевными салфетками инея. Продравшись через сугробы к крыльцу давно умерших Мыльниковых, незнакомец отчаянно забарабанил в дверь:

— Анна Степановна! Анна Степановна! Не надо ли дров поколоть?!

В пустой промерзшей избе, проданной горожанам и оживавшей только в дачный период, на этот стук отозвалось, заворчало сердитое эхо, недовольное, что его разбудили, не дождавшись лета. Дверь, потревоженная ударами, жалобно задрожала.

— Анны Степановны нет! — крикнул Вадим бодрому старичку. — Пять лет как умерла!

В абсолютной тишине, в первых голубоватых сумерках его голос подхватило неуместно веселое эхо. В отместку за прерванный сон оно непристойно задрало юбку девственной тишины и крикнуло прямо под подол разнудданое: «Ла! Ла! Ла!» И на этот звук новым приступом лая захлебнулись собаки. Среди белого безмолвия их напугали громкие голоса, запах незнакомца. Обычно псов тревожили лишь зайцы и лоси, да изредка в погоне за длинноухим в деревню забегала лиса. В Евсеевку редко заходили люди.

Вадим называл себя в шутку последним из могикан. Он был совсем еще молод по деревенским меркам — и сорока не стукнуло, — крепок, высок и статен, но жил бобылем, зимогорил один в малюсенькой деревеньке. На такой подвиг затворничества решались обычно дышащие на ладан старики, которых переезд в город страшил сильнее смерти. И все в округе удивлялись: как только не скучно молодому мужику куковать в Богом забытой Евсеевке? На это у Вадима были свои причины. «В городе я буду кто? Шиш да никто! А здесь я комендант Евсеевки», — улыбался он на вопросы любопытствующих. Дедок, неловко барахтаясь, выбрался из сугроба, подошел к коменданту.

---

*Наталья Мелёхина* — журналист и прозаик. Родилась в Вологодской области. Окончила факультет филологии, теории и истории изобразительного искусства Вологодского педагогического университета. Лауреат конкурсов «Северная звезда-2012», Всероссийского конкурса святочных рассказов «Земля как решето» (2013), Международного Волошинского фестиваля (2013 и 2014). Печаталась в журналах «Знамя», «Октябрь», «Сибирские огни», «Север», «Вологодский ЛАД».

— Здорово, хозяин! Не нужен ли работник дрова колоть? А хочешь, снег тебе в раз откидаю!

Я хоть и стар, но работник крепкий. Пусти, Вадимко, переночевать, я тебе песен спою, — улыбаясь беззубым ртом, попросил странник, и тут Вадим узнал его.

Это был Женя Иванов — деревенский дурачок из деревни Васильевское, на месте которой теперь осталось только небольшое поле в окружении еловых лесов. Когда-то Женя жил вдвоем с матерью Манефой Николаевной. Летом пас скотину, а зимой подрабатывал тем, что нанимался к соседям колоть дрова.

Был у Жени и еще один вид заработка: на всю округу славился дурачок как искусный певец. Хочешь — русские народные исполнит, а хочешь — эстраду, да что там эстраду! Даже оперные партии! Один-единственный из всех местных жителей Женя радовался, когда по телеку или радио передавали оперы. Он каким-то чудесным образом умел их слушать и понимать: пусть ума и не дал ему Бог, но зато дал чуткий слух и богатый голос.

Дурачка приглашали как певца на свадьбы и юбилеи и немного платили за выступления. Женя раскланивался перед народом и важно объявлял: «Начинаем концерт по заявкам сельчан. Первая песня — для молодых!» Затем следовала вторая песня — для родителей жениха, третья — для родителей невесты, четвертая — для свидетелей и так далее для каждого гостя. Но теперь где те молодожены? Где те юбиляры? Лежат под крестами и памятниками. Когда Манефа Николаевна, последняя жительница Васильевского, умерла, Женю увезли в дом инвалидов в райцентр, откуда он примерно раз в год сбегал.

У дурачка никак не укладывалось в голове, что его деревни больше не существует. Он думал, что однажды вернется туда, а все избы стоят целехонькие на месте, и снова можно будет летом пасти коров, зимой колоть дрова и развлекать сельчан своим песнями.

— Женя, твою ж мать! Ты что, опять из дурдома сбежал? — вместо приветствия нахмурился Вадим, воткнув лопату в снежную кучу у калитки. Он сразу представил, как придется завтра звонить в райцентр в «дурку», рассказывать, что беглец найден. Приедут Женю забирать, а он же добром никогда не сдается: санитары руки заламывают, а Женя в голос ревьмя ревет, как раненая корова, не хочет из родных мест уезжать. Раз на такое полюбуюсься — долго потом вспоминается.

— В Васильевское-то вон дорога есть от Евсеевки, — вместо ответа на вопрос про дурдом Женя показал в поле за окопицу. Там действительно вилась лентой тракторная дорога по снегу. — Избу свою проведаю.

— Дурында! Лес там валят. Гусеничниками таскают. Нет никакого Васильевского — сугробы одни. И нет твоей избы, Женя. Сколько уж раз тебе объясняли! Давно нет, — Вадим достал пачку «Балканки» и закурил.

— Это все Жара, Вадимко, — с уверенностью заявил старичик-дурачок, снял голицу и деловито высморкался.

— Какая еще жара? — рассмеялся Вадим, но в памяти после Жениных слов тут же зашевелились любимые когда-то в детстве бабкины байки, что жил-де в деревне Бакшайка ведьмак по имени Иван Жара. Мол, мог он так людей заколдовать, что не узнавали они своих деревень и не могли без чужой помощи найти родную избу. — Сказки все это, Женя. Легенды. Понимаешь? Неправда это.

— А мать сказывала, что правда. А бабушка, та и видывала его. Заколдовала

меня Жара! Вот и не могу избу свою найти. Помоги мне, Вадимко. Пойдем вместе в Васильевское, ты-то не заколдован, в избу меня приведешь.

— Да этот Жара умер, хрен знает, в каком году, за сто лет до твоего рождения! — махнул рукой Вадим, но про сказки уже не заикался.

— А что это, Вадимко, за будка красная? — Женя указал на красную телефонную будку посреди деревни.

Когда-то о телефонной связи сельчане могли только мечтать: заветные аппараты в лучшем случае работали в колхозной конторе или на почте. Потом появились сотовые, и все деревенские обзавелись ими. И вот тут оказалось, что наконец-то и до медвежьих углов дошла очередь телефонизироваться. Уличные телефонные будки установили в каждой деревне. Правда, чтобы звонить, требовались какие-то особые пластиковые карточки. Что за карточки? Где их покупать? Никто не знал. Все по-прежнему пользовались сотовыми. А будки краснели, как диковинные язвы: летом — среди зелени, зимой — среди снега.

— Это, Женя, власть о нас, крестьянах, вспомнила. Телефоны поставили, — объяснил Вадим.

— Да ну?! — обрадовался Женя. — Как в конторе у председателя! А куда звонить можно?

— Напрямую к Богу, — усмехнулся Вадим, сплюнул под ноги и прижег белесое тело сугроба своим чинариком.

— А номер какой набирать? — ничуть не усомнился в его словах дурачок.

— Да любой жми. Не ошибешься, — рассмеялся Вадим. — А ты чё, цифры знаешь?

— Нет, — честно сознался Женя.

— Тогда тем более. Жми подряд все кнопки! Ну что с тобой делать? Пойдем в избу, накормлю, да и спать будем, — о том, что завтра придется звонить в «дурку», Вадим благородно не стал сообщать своему гостю, а то Женя из Евсеевки сбежит, еще, не дай Бог, замерзнет где-нибудь в лесах у бывшего Васильевского.

В избе оказалось, что валенки у Жени обуты на голые ноги, и ступни черные от валяной шерсти, рубашка рваная, а шея коричневая от въевшейся в нее грязи.

— Ёкарный бабай, Женя! Да вас что, там не моют? А носки-то где? — всплеснул руками Вадим.

— Носков... нет, — выдержав паузу, застенчиво признался дурачок и шмыгнул носом.

— Твое счастье: я вчера баню топил. Воды там осталось. Сейчас полешек в печь кину, подтоплю заново, и помыться сходишь.

Вадим быстро истопил баню, еще не вполне успевшую остыть со вчерашнего дня, и отправил гостя на помывку, выдав ему смену одежды со своего плеча. А потом, глядя, как жадно Женя упирается за обе щеки рис, сваренный с лососиной, осторожно поинтересовался:

— Женя, а как вас там кормят? Хорошо, плохо?

— Когда капусту дают — так худо, Вадимко. А когда селедку с перловкой — так хорошо.

— Понятно, — кивнул Вадим, думая, как же надо изголодаться, чтобы перловка с селедкой попадала в категорию «хорошо». — Долго до Евсеевки добирался?

— Утром ушел. На дороге голосовал, доехал до Первача, а оттуда — пешком.

— Санитары-то вас не обижают?

— Нет. Только танцевать водят.

— Как это?

— На женское отделение с бабами танцевать ночью. Стыдно, — поежился Женя, и Вадим прекратил расспросы. Вместо этого налил большую кружку черного, как деготь, и сладкого до густоты чая, выдал гостю пряников из райпо. Наевшись, Женя встал из-за стола, чинно перекрестился у иконы в красном углу:

— Слава Богу! Спасибо, хозяин! Чего тебе спеть?

— Спеть?! — расхохотался Вадим. — Да ничего не нужно. Песни эти мне по барабану!

— Так положено: отплатить за ужин, — строго объяснил Женя и уже помягче подсказал, — мужики-то, Вадимко, обычно частушки просят, ну, или про войну.

— Вот только не про войну, — сразу остановил Вадим, — и не частушки. Надоел юмор: по телеку только его и кажут. Давай про охоту, что ли. Про охоту знаешь чё?

— Знаю колыбельную, — строго кивнул Вадим и запел чистым тенором. Голос его неожиданно утратил старческую скрипучесть и стал чистым и нежным, будто у совсем молоденького юноши:

На чистой пушистой постели,  
Примятой следами зайчат,  
Уснули красавицы-ели,  
И сосны могучие спят.  
Бай-бай, засыпай!..

Вадим пристрастился к охоте еще в раннем детстве. Он родился в Евсеевке и рос обычным деревенским мальчишкой: как и все, любил с техникой возиться, как и многие, после школы выучился на тракториста в райцентре. До армии по примеру большинства успел в колхозе чуть-чуть поработать, а потом призыв, отвальная, военкомат...

Попал Вадим в самое пекло — в первую чеченскую кампанию. А когда после контузии и госпиталя вернулся домой, оказалось, что восемнадцатилетний период до армии сжался и усох до размеров табачной крошки в солдатском кармане, а сама война — всего-то несколько месяцев и успел прослужить до контузии! — наоборот, расползлась, будто гангрена, и вытеснила все остальные воспоминания. Евсеевка и деревни в округе остались теми же, и люди не сильно изменились, но вот сам Вадим не принадлежал больше этому миру, словно злой колдун выгрыз у него частичку души и разума.

Хуже всего, что Вадим, как ни силялся, не мог облечь в слова произошедшие в нем перемены, да и вообще не мог про Чечню рассказывать, не знал, с чего начинать и чем заканчивать. Жалел, что на расспросы деревенских нельзя ответить, как киношному брату, мол, «в штабе писарем отсиделся». Спросят мужики, мол, как, Вадимко, там было-то? А он помычит, замямлит что-то непонятное, так и спрашививать перестали, только удивлялись: почему балагур Вадимко вдруг и двух слов связать не может?

И только в одиночестве в лесу Вадим не чувствовал груза воспоминаний,

на охоте лишь тяжесть ружья и рюкзака за спиной оставалась с ним. Слушая колыбельную, Вадим представил, как сейчас за Евсеевкой дремлет еловый лес, и зайцы с лисами в их вечной погоне опять изрешетили следами весь снег под раскидистыми лапами. Мелодия колыбельной показалась ему смутно знакомой. Вадим закурил у шестка русской печки.

И только голодные волки  
Добычу выходят искать,  
Но спят все ребята в поселке.  
Пора и тебе засыпать.  
Бай-бай, засыпай!..

Сквозь клубы табачного дыма Вадим увидел прочно утонувший в безднах памяти зимний вечер: бабушка брякает коклюшками, мама и пapa еще на ферме, коров доят, а они со старшим братом и младшей сестрой сидят на печке. Греются после долгого катания на санках. Посреди кухни стоит Женя. Он весь день колол дрова: отец его нанял. Теперь дурачок поужинал и забавляет ребятишек. И тут голос Жени из воспоминания слился в унисон с песней Жени из сегодняшнего дня:

А вырастешь сильным и смелым,  
И тайны лесные поймешь.  
Охотником станешь умелым.  
За зверем по следу пойдешь.  
Бай-бай, засыпай!..

Когда певец закончил, Вадим решительно произнес, не глядя ему в глаза:  
— Хорошо, Женя. Потешил — спасибо. Телек давай смотреть. Да и спать будем.

Посмотрели какой-то сериал. Вадим хотел устроить дурачку постель на диване, но Женя попросился спать на русскую печку, заставленную пялками с растянутыми на них шкурами белок и куниц. Хозяин пялки отодвинул к стене, бросил на лежанку старое одеяло и подушку, и дурачок блаженно растянулся на горячих кирпичах.

В полудреме Вадиму все чудилась колыбельная, и под ее мелодию, звучавшую в голове, вспомнились дочки-пташки. Когда-то Вадим был женат. Поначалу после армии он честно пытался стать нормальным парнем, чтоб все, как у людей, чтоб не хуже других. Так и обещал себе, даже проговаривал вслух, троекратно, нараспев, когда не слышал никто: «Буду нор-маль-ным! Буду нор-маль-ным! Буду нор-маль-ным!» Но эта мантра не дала результата. Пробовал залить так и неназванное горе водкой, но, напившись, впадал в бешенство.

Тогда еще жили в Евсеевке вместе с Вадимом его родители. Раз, залег за поленницей, а чудилось, что лежит в укрытии, и метал дровами в родных отца да мать, а казалось, что гранаты кидает... Слава Богу, дело было на выходных, в отчим доме гостил старший брат, приехал на выходные из города. Братан с отцом и скрутили Вадима, связали, отнесли в баню, да окатили ледяной водой, чтоб очухался... Пришел в себя вояка, а что с ним происходило сегодня и вчера, не помнит. Вадим сообразил, что это, должно быть, последствия контузии. К врачам обращался, так те чуть в психушку его не закатали, еле отбrehался потом, что, мол, от пьянки в мозгах случилось короткое замыкание.

Решил женитьбой спастиесь. Расписались с одноклассницей Светкой Иволги-

ной, она Вадиму еще в школе нравилась. Худенькая, невысокая, на птичу похожая, Иволгой ее и дразнили. Попробовали жить своей семьей в поселке Первач за десять километров от Евсеевки. Квартира у Светки двухкомнатная, от бабки в наследство осталась, двойню родили — дочек Таньку и Наташку. Вадим слесарил на ферме, жена продавцом в магазине работала. Что еще надо? Казалось бы, живи — не тужи! Но водка и приступы беспамятного бешенства разбили семью. Улетела Иволга жить в Вологду, квартиру продала и дочек-птенчиков с собой увезла.

Вадим вернулся в Евсеевку, устроился сторожем в тракторные мастерские в соседней большой деревне. Иногда уходил в запои, но выучил свою норму, тот предел, за которым — Вадим знал — его ждет окончательное безумие.

Дочек в городе он навещал редко, но исправно платил крохотные алименты. В трактористы его из-за контузии больше не брали, из слесарей за пьянку уволили, а у сторожа велик ли доход? Но Вадим всегда был удачливым охотником. Зимой он добывал пушнину, весной продавал ее скупщикам из Москвы и, накопив энную сумму, каждой дочке вез «денежек с калыма». Так и говорил девчонкам: «Танька, Наташка, денежки с калыма! На куклы и платья!» А Иволге передавал мешок с «лесным» мясом — лосиной или кабанятиной. А потом последние соседи по Евсеевке — старики Мыльниковы — умерли, родители состарились, и старший брат на зиму стал забирать их к себе в город. В октябре увозил отца с матерью с внуками водиться, а в апреле привозил обратно: родители тосковали по своей избе и на лето возвращались в деревню. «Перелетные у меня предки, будто гуси», — шутил Вадим. Так и повелось, что полгода он жил в Евсеевке с семьей, а полгода — в полном одиночестве. Компанию ему составляли две лайки — Тобол и Яマル, да еще кот Рыжко. «Скоро весна, пора шкурки продать, съездить и проведать. Кукол купить. Сладостей. "Денежки с калыма" поделить между Наташкой и Танькой поровну, — размышлял Вадим. — Давно не навещал. Хорошо, что Светка замуж пока не вышла. Когда в доме появится другой мужик, неизвестно, как оно будет».

При одной мысли о чужаке у Вадима вдруг сжались кулаки. Но он оговорил сам себя: виноват, виноват! Сам пил и бузил. Вот и упорхнула Иволга! «Да и что об этом думать, пока, пока-то она одна! И девки-птахи ждут», — и Вадим провалился в чуткий, некрепкий сон.

Очнулся среди ночи и резко вскочил, будто кто пнул под ребра. В похолодевшей избе сиял неземной свет: в окно заглядывала полная луна с россыпью свечек-звезд. Вадим глянул на печь, где спал гость, и сразу же вскочил на ноги. Жени на месте не было! И гадать нечего — сбежал в Васильевское. Вадим по-солдатски скоро оделся, на всякий случай взял одностволку с патронташем из сейфа: по ночам в округе, как в той колыбельной, бывает, что и «голодные волки добычу выходят искать». Прихватил фонарик, хотя нужды в нем в такую светлую ночь не было.

Быстро, будто новобранец кросс бежал, Вадим преследовал беглеца по лесной тракторной дороге и, как и предполагал, нашел его на месте нежилого Васильевского. Дурачок свернул с тракторного следа и прямо по сугробам поплелся к тому месту, где когда-то стояли избы, а теперь сохранился лишь остаток чьего-то сада с десятком яблонь да торчала из снега нелепым мухомором красная телефонная будка. Она появилась здесь из-за бюрократической ошибки: в нежилой деревне все еще числился прописанным давно умерший Женин отец — дядя Матвей. В каждой деревне, где по бумагам оставался хоть один

житель, положено было установить такой аппарат — вот и поставили, а что звонить давно некому, кто ж об этом задумался?

Дурачок почти не проваливался в снег. Наст сверкал под луной, как морская гладь, и Женя шел по снежным бликам, будто по воде босиком ступал. Вадим спрятался за придорожным сугробом. Интересно стало, что дурачок дальше делать будет? Да и неловко как-то сразу-то окликнуть. Человек даже из «дурки» сбежал, если не с родными людьми, так хоть с родными местами повидаться.

Женя добрался до телефонной будки, снял трубку и беспорядочно понажимал на кнопочки. Затем взяточно и громко произнес:

— Алё, Боже? Это я, Господи, Женя из Васильевского. Помоги мне, Отец Небесный, домой вернуться, избу свою отыскать.

Вадим разом покрылся холодным, противным потом, сполз по снежному боку, как подстреленный, и зажал руками рот: то ли чтоб не заплакать, то ли чтоб не рассмеяться.

— Господи, я знаю, что ты людям не отвечаешь. Мать рассказывала, что глас Твой не можно нам вынести. Ты ее там береги у себя, Господи, рабу Божью Манефу и всю деревню нашу...

И тут Женя начал перечислять имена умерших односельчан, всех до единого, и никого не забыл. Вадим почувствовал, что по щекам течет что-то липкое, горячее, он схватил зубами кулак, чтоб не завыть, а Женя продолжал:

— Передаю, Господи, им концерт. Прими, Боже, по заявкам сельчан. Первая песня — для мамы моей, Манефы Николаевны.

Вадим ждал, что Женя запоет что-то церковное, но он тихо и торжественно завел песнь о первом, что увидел вокруг:

В лунном сиянье снег серебрится,  
Вдоль по дороженьке троечка мчится.  
Динь-динь-динь, динь-динь-динь!  
Колокольчик звенит.  
Этот звон, этот звон о любви говорит.

Благовестом зазвучало «динь-динь-динь» под куполом небесного свода. У Вадима словно сжалась внутри живота горькая спираль, а потом разом выпрямилась, больно ударив под дых. Скрючившись, он упал на дорогу, захлебываясь в безголосых судорогах, как в спасительной рвоте, и чувствуя, как слезами выходит наружу застарелый яд, не имеющий названья, яд от гадюки-войны. Беззвучно корчась на дорожной ленте, Вадим уже понимал, что не сможет сдать Женю в «дурку» ни завтра, ни послезавтра, ни через месяц и будет отстаивать и дурачка, и Васильевское, и Евсеевку, и дочек-пташек до последнего дыхания, как и положено всякому воину. «Я-то тоже закодованный! В родной избе живу, а с войны не вернулся!» — понял Вадим, крепко зажимая себе рот ладонью, чтобы нечаянным всхлипом не помешать певцу.

Над вековыми лесами дерзко полетели к звездам частушки. Это Женя объявил и начал исполнять вторую заявку: для отца своего, контуженного фронтовика дяди Матвея, Женя пел любимые батинь частушки:

Раскачу я нынче избу  
До последнего венца.  
Не пой, сынок, военных песен,  
Не расстраивай отца...

# Золотые страницы «ДН»

Инна Лиснянская

Стихи и переводы



\* \* \*

Судьба, спасибо, ты меня лишила  
Любви к себе, признания коллег.  
И если жизнь — мешок, то я не шило,  
А колобок из речевых сусек.

Судьба моя, спасибо и за то,  
Что я была вольна в неволе быта, —  
Не выиграна властию в лото  
И чернью не просеяна сквозь сито.

А главное, за то благодарю,  
Что в одиночестве душа окрепла,  
За то, что знаю: в день, когда сгорю,  
Я за собою не оставлю пепла.

«ДН», 1996, № 3

## *В престижном посёлке*

Пленительный достался мне приют.  
Душа моя, блаженства не избудь.  
С утра мне птицы что-нибудь поют,  
Потом крошу я птицам что-нибудь —  
Вчера не отказались от мачвы,  
А завтра угощу их куличом, —  
Здесь ни при чём умельцы-шельмецы,  
Хоромы их тем боле ни при чём.  
Две Пасхи в мире и в душе моей.  
Смотри, скворец, воробушек, смотри! —  
Вчера зажгла я ровно семь свечей,  
А завтра я затеплю ровно три.  
Как мне везёт, о Боже, как везёт! —  
И даже в том, что я с одним зрачком, —  
То ль верба весть мне в клювике несёт,  
То ль птенчик показался мне цветком...

1984

\* \* \*

И под лёгкостью пера крылатого,  
 И под тяжестью карнатид  
 Виноватый ищет виноватого,  
 Невиновный сам себя винит.  
 У России нет пути бескровного, —  
 Только Спасом на крови согрет.  
 И учусь я не искать виновного  
 И за грех чужой держать ответ.

1996

«ДН», 1997, №3

\* \* \*

Жестокого мира певучесть,  
 Крылатых существ письмена...  
 Дано мне чудесная участь  
 Чужие любить имена.  
 Как славно, живя по-сиротски,  
 К щемящим взывать именам —

Есенин... Ахматова... Бродский...  
 Цветаева... Блок... Мандельштам... —  
 И к ним приходить на свиданья  
 Под пенье летучих цитат,  
 И не находить оправданья  
 Себе, и молчать невпопад.

19 июня 1998

\* \* \*

Змиёву жалу,  
 Коже дорожных лент  
 Кровь я ссужала  
 Так, а не под процент.

Вздрогну и вспомню:  
 В райском саду ни зги!  
 Долг свой исполню —  
 Всем отпущу долги.

Сердцу доходней  
 Так закруглять дела.  
 ...Жертвой Господней  
 Плоть Сыновья была.

12 августа 1998

«ДН», 1999, № 3

\* \* \*

Это не по снегу — красный мороз,  
 Это замёрзла кровища,  
 Это огонь истребительный вмёрз  
 В пепел жилища.

Вопль укоризны отпустишь ли мне,  
 Полубезумной дщери?

Боже, подобья твои на войне  
 Хуже, чем звери!

Господи Боже, стёкла протри  
 В облачных окулярах,  
 Сколько же здесь полегло, посмотри,  
 Малых и старых!

30 марта 2000

\* \* \*

На солнце морось, на сердце верви,  
 А в сердце пафос,  
 Как будто ветер с каспийской верфи  
 Толкает парус.

Но там, где парус моих иллюзий  
 Был жизнью поднят,  
 Меня не помнят дома, и люди  
 Меня не помнят.

Не помнят волны, да и на что бы  
 Им помнить, если  
 Сменила море я на сугробы,  
 Волну — на рельсы.

Пошёл тот парус на эти верви,  
 Но стал судьбою  
 В неверном сердце, и в каждом нерве —  
 Мотив прибоя.

*2 апреля 2000*

\* \* \*

Ямб, хорей, анапест, дактиль,  
 Амфибрахий на дворе! —  
 Дробь любви выводит дятел  
 По морщинистой коре.

Нет меня, но есть кипящий  
 В сизой Сетуни закат,  
 Есть и мимо проходящий  
 Мой возлюбленный собрат.

Нет меня, есть только птицы  
 Да кошачья канитель  
 И смущённые ресницы  
 Подымающий апрель.

Нет меня, да и не надо, —  
 Лучшее — всё налицо:  
 Лес и дятлова рулада,  
 И с кормушкою крыльцо.

*30 марта 2000*

\* \* \*

Бывало, на пороге катастрофы  
 Слагала упреждающие строфы.

Теперь, когда мы оказались в бездне,  
 Слагаю ободряющие песни

О том, что есть из пепла и пустот  
 Трагический, но всё-таки Исход.

*3 апреля*

\* \* \*

Ты идёшь по земле, и я песню шлю  
Вслед путям твоим,  
Странник мой, покуда тебя люблю,  
Ты будешь живым!

Не считай морщин холмов и долин,  
И морщин на лице,  
Ты живой — покуда необходим  
Хоть паршивой овце!

Ты живой — покуда нужен зерну  
И тайнे корней,  
Ты живой — покуда не знаешь длину  
Оставшихся дней!

Ты живой, покуда не ждёшь барыша, —  
Был бы хлеб на столе,  
Ты живой, покуда помнит душа  
О своём крыле!

\* \* \*

После жизни прошу меня не сжигать —  
Пусть насытится червь, насладится малинник.  
После жизни не стану я вспоминать  
Ни сиротских лет, ни душевных клиник.

После жизни сама с собой помириюсь  
И увижу всю музыку в ре-мажоре, —  
И тебя, меня приютившая Русь,  
И тебя, моя зыбка — азийское море.

Нет малины на кладбище в той стороне,  
Ну а в этой песчаного нет покрываала.  
После смерти... — но это не обо мне,  
А о той, что ни разу не умирала.

24 декабря 2001

\* \* \*

Но если о смерти? — я с нею накоротке.  
Я жизнь её переварила в своём котелке,  
Заначила ключик её в своём кошельке.

Вся прибыль её — это наш перед нею страх  
Из глины телесной уйти в неизвестный прах.  
Я тоже боялась смерти на первых порах:

В одежде на вешалке мнился её силуэт,  
В кустах облетевших маячил её скелет,  
Но всё это было ещё до военных лет.

А после я столько видала её затей  
И столько от мёртвых своих получала вестей  
О жизни иной в пределах иных скоростей,

Что стало не страшно.

«ДН», 2000, № 8

\* \* \*

Жизнь утончённая груба  
От пониманья ясного:  
Ведёт согласного судьба  
И тащит несогласного.

Закон житейский очень прост,  
Его на камне б выбили:

Добро — не деньги, чтобы в рост  
Давать и жаждать прибыли.

Я с опытом накоротке  
И чувство моё явственно:  
К просящей припаду руке  
По-царски благодарственno.

«ДН», 2009, № 1

\* \* \*

Куда я, Господи, поденусь?  
Сейчас я встану и оденусь  
Без помощи чужой.  
Пройдусь по дому без ходилок.  
Какой я всё-таки обмылок,  
Ах, Боже, Боже мой.

\* \* \*

Распыл и разруха.  
Молчать нету силы.  
Зачем ты, старуха,  
Скорбеть зарядила?  
Нет в плаче порядка —  
Лишь всхлипы и только.  
И сердцу не сладко.  
И разуму горько.

\* \* \*

Где жизни этой фабула —  
Там и сюжет.  
Иду будто сомнамбула  
На лунный свет.  
И всё, что в поле зрения,  
Беру на штык.  
При всём моём почтении  
Я — черновик.

\* \* \*

Люблю я песни колыбельные,  
Себе их перед сном пою.  
Я славить мачты корабельные  
В чужих краях не устаю.  
Ах, баю, баю, баю, баиньки,  
Спою я и на посошок.  
Спи, мой послушный, спи, мой паинька,  
В опале выросший стишок.

«ДН», 2012, № 8

## *Фикрет Годжа*

*С азербайджанского. Перевод Инны Лиснянской*

### *Отец мой стареет*

Морщины лежат письменами на лбу,  
как тысячи воспоминаний лежат.  
И гнев его ныне похож на мольбу,  
почти что пророческим стал его взгляд —  
отец мой стареет...

Он не был аллахом — врачом был простым,  
и ясно, не всех мог отец излечить.  
Страдала душа, но на благо живым  
страданье в себе он умел заглушить.  
Что делать, он лгал безнадёжно больным —  
самою надеждой являлся он им.  
Отец мой стареет...

Нас восемь детей, всех он вырастил нас.  
Я понял, каких это стоило сил,  
лишь только сейчас, став отцом в первый раз...  
Отец нам об этом не говорил.  
Теперь по ночам не смыкаю я глаз:  
чем станет мой сын для меня и для вас?  
Отец мой стареет...

Что сделаешь... Неумолимый закон...  
Но старость такую и нам бы дал бог,  
отец! Восемь раз молодым будет он,  
ведь вместо одной стало восемь дорог,  
и восемь раз стариться он обречён...  
Отец мой стареет...

## Лоик Шерали

*С таджикского. Перевод Инны Лиснянской*

\* \* \*

Плясунья с факелом — фиалка,  
подснежник нежный, как рассвет,  
река — весёлая гадалка,  
гора стройна, как минарет,

она стройна и любит тайны,  
хоть молчалива, но щедра,  
и руки рек к равнине тянет  
весной с утра и до утра.

И первым изо всех деревьев  
миндаль пророчески цветёт,  
предвосхитив весны приход  
и растворив пред нею двери.

Влюблённые свои жилища  
покинули и неспроста,  
как редкие растенья, ищут  
уединённые места.

И восхищёнными глазами  
весну разглядываем мы,  
и кажутся нам куполами  
тёмно-зелёные холмы.

Как скатерти с плодами — степи.  
И даже в камушке любом  
заложена мечта о хлебе,  
о колосочке золотом.

Ущелья, горные отроги,  
 поля и солнечность полян  
довольны добрым и высоким  
земным усердием дехкан.

О, древняя ро«ДН»ая местность!  
Она наряжена сейчас  
как будто юная невеста  
в свой переливчатый атлас.

Пир человека и природы —  
мир в этом благостном краю.  
Как радость древнего народа,  
весну таджикскую свою.

Меня, когда я к вам прибуду,  
примите, как весны гонца.  
Жизнь началась моя отсюда.  
О, если б не было конца!

*Анна Фёдорова*

## География итальянского характера

### *Разные и неповторимые*

Итальянцы: сотни мыслей и сотни идей одновременно. Нация парадоксов. Единая и в то же время разрозненная, сплавленная из диалектов и местных традиций. Итальянца как такового не существует. Итальянский народ — мечта, желание, но и устоявшийся факт. Я живу в Италии, общей по крови, религии и языку, но в то же время эта страна разделена правительствами, законами, диалектами, традициями и формой макарон. Неизменны только спагетти. Всегда было сложно объединить эту смесь в нечто цельное и придать ей единое звучание. «Мы едины только во время чемпионата мира по футболу!» — часто можно услышать от жителей полуострова.

Итальянцы все разные и по-своему неповторимые.

Только за границей представители Апеннин объединяются в общее понятие «итальянец», внутри же страны живут пьемонтцы и ломбардцы, апулийцы и тосканцы, сарды и сицилийцы, неаполитанцы и так далее.

А можно поделить еще точнее, по городам и весям: в Аветране — аветранези, а в Мандурии — мандуриани, и у каждого городишко свой характер.

Бенедетто Кроче утверждал, что характер народа — в его истории, это вся его история, ничего кроме истории. Всегда есть риск заблудиться в джунглях исторических событий, которые образуют жизнь и суть нации; мне кажется, что выделять таким образом эссенцию итальянского характера, пожалуй, будет слишком трудоемко и объемно.

Итальянец — добрый, гениальный, ленивый, анархичный, архаичный, мудрый, трудолюбивый, скептик, святой, герой, богохульник, головорез, добро-порядочный налогоплательщик и коррупционер — любые определения найдут себе место в итальянском характере. Возможно, больше чем какая-либо другая нация итальянцы с ног до головы окутаны стереотипами, которые активно создаются за пределами страны. Какими только ярлыками их не награждают, и это своего рода мировое признание итальянской неординарности.

---

*Анна Фёдорова* — переводчик, прозаик, журналист. Родилась в Москве, в настоящее время живет в Италии. В ее переводах выходили произведения Луиджи Малерба, Лучану Литтицетто, Франко Арминио, Эммануэле Тонона, Дачу Марайни... Работает в итальянской редакции радиокомпании «Голос России».

### *Ла Скала. Опера. Театр*

Впервые я встретилась с итальянцами в театре. Мне было, кажется, 7 лет, когда в Москву приехал знаменитый Ла Скала. В тот момент я только начинала свою короткую балетную «карьеру» и волей судьбы меня занесло в массовку знаменитой оперы.

1989 год, ребенок последнего советского десятилетия и божественные итальянцы. Божественные, потому что Италия — другая планета, потому что голоса — как у небожителей, а глядя в оркестровую яму Кремлевского дворца съездов, чувствуешь, как дух захватывает, и вовсе не от высоты, а от впервые увиденных настоящих музыкантов.

Мне довелось исполнять роль одного из маленьких бонз, японских детей-монахов, которые слезно упрашивали надменную принцессу Турандот пощадить красавца персидского принца и не отрубать ему голову.

Опера «обытальянивает». В труппе были как местные звезды, так и артисты других национальностей. Партию Турандот исполняла болгарка Петя Дмитриева, она говорила по-русски. В Ла Скала пели лучшие голоса мира. Однако главное тогдашнее впечатление — яркие, экспрессивные, обожающие детей и постоянно улыбающиеся люди.

Риккардо Мути, гениального дирижера, я чуть не сбила с ног в кремлевском буфете: пересекла путь, точнее подрезала, чтобы он не оказался впереди нас у стойки. Я была голодная, замученная долгими ожиданиями своего выхода на бесконечных изматывающих репетициях и, замечтавшись о жульене и бутерброде с красной рыбой, поскользнулась и упала прямо под ноги великому дирижеру. Мути сиял своей итальянской улыбкой и бормотал что-то вроде: «*Pazienza! Ничего не поделаешь! Бамбини всегда бамбини!*»

Горячую любовь итальянцев к детям я уже тогда почувствовала очень хорошо. У нас никто бы и внимания не обратил на такое происшествие. А тут все заохали, защебетали, заизвяялись, заулыбались... Стыдно мне не было, это точно. Подумаешь, дядька из оркестра, с ним еще таких три было. Моей маме тут же предложили конфетки, кофе, но она отказалась. Простая советская женщина, она была в ужасе от случившегося: мама в отличие от меня понимала величие Риккардо Мути, ей было очень стыдно за мою бестолковость и невоспитанность.

### *Дети и взрослые*

Когда видят хорошеных детей, итальянцы не могут сдержать своего умиления. Руки у них вытягиваются, чтобы погладить пупсика по головке, потрепать по спинке, ушипнуть, обнять, а с языка сыплются комплименты маме-папе. Мы, холодные северные люди, конечно, к такому не привыкли. У нас чужих детей, пусть даже самых прекрасных на свете, не принято трогать, брать на ручки и сюсюкать с ними, если это не родственники. И мои холодные северные дети неизменно реагируют на такие проявления эмоций взглядом исподлобья, слезами, криками.

У нас существуют определенные границы, а у итальянцев территория

личного пространства очень подвижна. При первом же знакомстве тебя могут обнимать, целовать, трепать по-дружески и хлопать по плечу, выражая свое расположение. Это вовсе не означает отсутствия хороших манер. Просто их зона удаления от собеседника при разговоре намного меньше среднеевропейских шестидесяти-восьмидесяти сантиметров. Чем ближе собеседник — тем больше его дружеское расположение, а в процессе разговора, по мере таяния льдов, пространство между говорящими может сузиться и еще значительно больше.

Как только ребенок достигает более-менее сознательного возраста, ему зовут гостей на день рождения. Всю группу детского сада или целый школьный класс плюс соседи. Детский день рождения — это прекрасный повод устроить потрясающий веселый праздник, с клоунами, аниматорами, танцами, беготней и огромным тортом. Именинник на несколько часов превращается в настоящего короля.

Любовь итальянцев к детям безгранична: им постоянно покупают сладости или какую-нибудь приятную мелочь и часто позволяют все, или почти все. Бытует мнение о невоспитанности маленьких итальянцев: носятся в ресторанах, кафе и других общественных местах, шумят, так что себя не слышишь, пристают к взрослым. Это плашется через край внутренняя свобода, радость жизни, солнечная энергия, преобразующаяся в механическую. Истинная же невоспитанность проявляется по-другому.

### *Реальность и стереотипы*

Да, итальянцы пьют много кофе, крепкого кофе. Разного кофе. Эспрессо и капуччино, но только не американо (большая чашка слабого кофе). На завтрак — с круассаном или песочным печеньем, или просто ароматный и черный. Маленький повседневный ритуал, вспышка коричневой энергии кофеина, пауза во время работы, глоток бодрости после дневного сна, деловое или просто свидание.

Да, итальянцы обожают футбол. Он неотделим от итальянцев. Во время грандиозных матчей жизнь на улицах замирает. Те, кто не интересуется пинанием мяча, все равно в курсе последних футбольных новостей. Играют даже женщины. И каждое воскресенье, помимо традиционных обедов у мамы, проходят всевозможные матчи на разных уровнях. Газеты пестрят соответствующими заголовками. Посетители ночью в барах и комментаторы по телевизору обсуждают состоявшиеся встречи. Во время исполнения гимна перед матчем итальянцы испытывают национальную гордость, и кое-кто может даже прослезиться.

Да, итальянцы поют, всегда и везде, напевают, заливаются, подпеваю, мурлычат себе под нос, голосят, разливаются, басят, горланят, тянут, распеваю во весь голос, фальшивят и радуются. Да, но не все рождаются голосистыми певунами, однако, стереотип жив. «O, Sole, o sole mio!» и «Volare oh oh, cantare, oh-oh-oh-oh» — эти хиты знают все.

Да, итальянцы живут искусством — во всех смыслах, у них врожденное чувство прекрасного, и из всего они способны создать произведение искусства, даже из тарелки макарон. Вокруг культуры и искусства создан потрясающий бизнес, который кормит и поит изрядное количество людей. Возрождение,

Великий Рим, Средневековье... Это не пустые слова для жителей полуострова. В каждом городе, городке и городишке обязательно есть своя история — средневековые замки, античные развалины и даже доисторические поселения. Некоторые держат дома статуэтки Юлия Цезаря или другие предметы, напоминающие об античности, — для вдохновения. Здесь нет противопоставления телесного низа и возвышенной души. Здесь все гармонично, прекрасное сочетается с полезным, красота вписывается в окружающую жизнь, в привычный быт. Она повсюду. Легка и воздушна.

Да, итальянцы обожают пасту и пиццу. Есть такие люди, которые не представляют свою жизнь без макарон. Например, наша бабушка. Для нее паста на обед — это святое. Это не просто еда, это ритуал, это — все. Пасту она готовит каждый день. Та должна быть свежесваренной, чуть жестковатой — на зубок, заправленной свежеприготовленным соусом, традиционно помидорным. Однако, разновидностей соусов для пасты — сколько звезд на небе. Здесь варят пасту, отсчитывая минуты по кулинарным часам, и каждый итальянец уверен, что только в Италии умеют готовить настоящую пасту. За границей, если повезет, можно найти вкусные спагетти, но будьте уверены — их автор будет родом с Апеннин.

Среднестатистический итальянец каждый субботний вечер посвящает пицце. Приверженцы здорового питания едят ее раз в две недели, а то и раз в месяц, но с не меньшим трепетом.

Большая итальянская семья. Надо признать, что стереотип уходит в прошлое, поздние браки и низкая рождаемость делают свое дело. Однако значение семейных связей остается — бабушки, прабабушки, прадедушки, кузены и кузины, тетушки и дядюшки, другие родственники разных степеней родства играют важную роль в жизни итальянца: они служат той огромной подводной частью айсберга, которая придает ему стабильность.

Солнечность и радость жизни, присущие итальянской натуре, помогают даже будни превратить в праздники. Жители «сапожка» способны из всего сделать радостное торжество, даже из... забастовки: их забастовки похожи на карнавальные шествия. Народ умеет получать удовольствие от жизни: и работают, и бастуют со вкусом.

Итальянцы креативны, они замечательно умеют приспосабливаться к жизни: если подводный чехол для фотоаппарата не по карману, его можно запросто сделать самому из пластикового пакета. По части «сделай сам» — это очень рукастый и предприимчивый народ.

### *Папа. Католичество. Вера*

Да, итальянцы приверженцы католицизма. Несмотря на то, что они все время ругают церковь и недовольны ее излишним влиянием на жизнь, большая часть из них соблюдает все положенные церковные таинства: крещение, первое причастие, миропомазание, венчание — все это обязательные вехи в жизни итальянцев. С детского сада час занятий в неделю отводится на религиозное воспитание, хотя страна по законам — светская и при желании от часа закона божьего можно отказаться, заменив его на другую учебную дисциплину. Однако никто так не делает. А после школы детей несколько раз в неделю отправляют

учить катехизис. В маленьких городках социальная жизнь вертится вокруг церкви и оратории — это место, где мальчишки и девчонки собираются после школы поиграть в футбол или просто потусоваться, для женщин здесь организуют курсы шитья или вязания крючком, а по вечерам устраивают танцы для всех желающих. Однако все это — с благословения церкви и на подвластной ей территории. Местные священники активно участвуют в общественной жизни и реально «пасут свою паству», как в церкви, так и за ее пределами. Надо сказать, что католический храм — это не только место для молитв и дом Бога, это целый социально-культурный узел. Здесь устраивают художественные и фото-выставки, концерты разножанровой музыки, проводят кинопоказы и даже театральные представления. Церковь — как пирог с прослойкой из свободы и терпимости и приторной религиозной пропиткой. Но, опять же, тут есть противоречие — церковь мешает, ею возмущаются, все хотят свободы от нее, но позволяют ей руководить, и никто не мыслит себе воскресенья без обращения папы, которое каждый раз посвящено какой-нибудь актуальной мировой проблеме.

Надо сказать, что нынешний папа Франческо в большой части у всей нации — и у верующих, и у атеистов.

При этом церковь в Италии отделена от государства, что прописано в конституции, и официально на политические дела страны никак не влияет. Ватикан живет своей государственной и политической жизнью, однако постоянно находится в тесном духовном контакте с народом. Что неудивительно. Ведь по статистике 90% итальянцев считают себя католиками. Католичество вросло в итальянскую жизнь и, кажется, никакая буря не сможет его из нее выкорчевать. А что касается веры — это для меня загадка. Похоже, что итальянцы больше верят в чудеса и больше подвержены суевериям, чем реально полагаются на Бога.

### *Болтливость. Язык и речь*

Да, итальянцы ужасно болтливы! Слова сыплются из них и катятся во все стороны, как горох из лопнувшего мешка. Они очень общительны и всегда готовы идти на контакт. Я и сама очень люблю поговорить, поэтому чувствую себя в Италии очень уютно.

Непринужденная беседа о том о сем — это одна из форм социальной активности, благодаря ей поддерживаются нужные связи, завязываются новые, жизнь течет вперед, сопровождаемая легкой и приятной болтовней. Она везде — в магазине и в аптеке, в баре и у врача, на заправке и за столом, на пляже и в кино. Это не стереотип, это образ жизни. У нас здесь принято ходить по магазинам, чтобы навестить знакомых продавцов, обсудить последние новости и просто отвести душу в хорошей компании в супермаркете!

Беседа — это возможность поделиться своими эмоциями с соседом, разделить его переживания, обменяться мнениями, энергией, поддержать друг друга. И неважно, знакомы люди или нет, всегда найдется что обсудить!

Возможно, в том, что итальянцы так любят поговорить, — вина самого языка. Он не только красив и услаждает слух, но и очень зажигателен. Он — как гейзер. Горячий и заряжающий. И невероятно эротичный. Все пикантные темы обретают на нем высокое и манящее звучание, говорить о любви по-итальянски — настоящее удовольствие.

Как известно, итальянские диалекты так сильно отличаются друг от друга, что часто жители севера и юга просто не могут доходчиво объясниться. Да что там: в одном регионе, бывает, встречаются такие разные диалекты, что о понимании и говорить не приходится.

Зато всех объединяют...

## Жесты

Есть мнение, что итальянцы могут объясняться только с помощью жестов. Жестикуляция — такая же неотъемлемая часть итальянского образа жизни, как паста, пицца и вино. Наверное, ни одна нация не обладает таким большим «словарным» запасом жестов. Беседа без жестов кажется кучей, лишена одной из своих красочных составляющих. Жесты — живопись самовыражения. Богатый язык мимики и жестов делает итальянцев очень театральными, создает особый рисунок общения, близкий по природе пантомиме.

По одной из версий, итальянцы придумали язык жестов между XIV и XIX веками, когда Италия находилась под властью иноземцев: испанцев, французов, австрийцев. Чтобы скрыть смысл коммуникации, итальянцы стали использовать жесты. По другой версии, язык жестов восходит к древнегреческим поселениям на юге полуострова: в районе Неаполя археологи нашли античные вазы, на которых нарисованы люди, жестикулирующие «по-итальянски».

В общем, по всей Италии жестикулируют одинаково, но есть и региональные различия. Любители классификаций и точности насчитали 39 форм складывания пальцев и ладони, 6 направлений и 35 местоположений жестов на теле. Играют роль, конечно, скорость движения и длительность жеста. Здесь любят кивать головой по любому поводу, и часто жесты выражают определенные поведенческие коды. Достаточно представить себе Неаполь и неаполитанцев. Они понимают друг друга с полужеста, жесты несколько замедляют местную скороговорку, подключая к общению тактильное и визуальное восприятие. Для меня, иностранки, жесты часто становятся палочкой-выручалочкой: если не успеваешь понять шустрой старичков, которые бормочут только на диалекте, достаточно следить за их руками — и все сразу станет ясно.

Итальянцы обожают этот параллельный язык, который дает возможность выразить множество эмоциональных оттенков и более убедительно донести мысль, делает ее уверенной, придает ей вес. Иллюстративные жесты и мимика заменяют слова, а особая группа симвлических жестов может описывать целые ситуации. Словом, это очень важный элемент речевой культуры. К тому же размахивание руками во время беседы придает ей более увлекательный характер, делает нескучной, эмоционально насыщенной — так считают сами итальянцы. В общем, когда у тебя перед лицом активно машут руками, кивают, поднимают брови или надувают щеки, скучать не приходится — надо расшифровать все эти знаки и одновременно следить, чтобы не попали по носу.

## *Мужчины. Любовники. Модники*

Обожаю итальянцев-мужчин. Солнечные, жизнерадостные, они замечательные любовники — эротичные, неистощимые на выдумку. С ними интересно. Они умеют ухаживать, знают, как произвести впечатление, для них женщина — богиня.

Да, такие чудо-мужчины существуют. Но и они противоречивы, как многое другое в итальянском характере. Как ни странно, жгучий, как перец пеперончино, итальянский мачо — это все же стереотип, который часто расходится с реальностью. Или лучше сказать, это лишь одна — блестящая сторона аппенинского мужчины. А есть еще другая. Та, которую видят итальянские женщины дома. Не все, конечно, потому что итальянцы разные и общей классификации не поддаются.

«Подростковый» период у итальянцев длится необыкновенно долго — до 30 лет, а то и дольше. Мужчина в 35 может спокойно называть себя юношей, парнем. В психологическом плане так и есть. Итальянцы взрослеют поздно. Что ж, им можно только позавидовать: вечная юность — мечта многих.

Есть и такая, привычная нам, категория среди итальянских мужчин — «маменькины сынки». Некоторые остаются ими до самой свадьбы, а кому очень повезет, то и после. Материнская любовь и опека необъятны, как море, так же непредсказуемы, чреваты приливами и отливами, естественны и по-своему очаровательны. Благодаря этому явлению природы в доме женатого сына могут неожиданно обнаружиться новые трусы или его любимые улитки в соусе, лишняя пачка антибиотика про запас или еще горячая домашняя пицца. Как по мановению волшебной палочки, к обеду появляются жареные рыбки (утром они еще плескались в море), фаршированные вареным окороком и моцареллой цветы тыквы в кляре, минestrone или лазанья.

Не все жены довольны такой опекой, некоторые жалуются на постоянный контроль и вмешательство в жизнь уже взрослого сына — такова обратная сторона медали. Иногда мне кажется, что такие чрезмерно ревнивые и свободолюбивые жены, особенно неработающие, просто втайне завидуют свекровям и хотят единолично опекать своего мужчину, отцепив его от маминой юбки и прочно привязав к своей.

Да, итальянские мужчины самые элегантные в мире. Кажется, что у всех — от крестьян и мясников до политиков и звезд разной величины — от рождения блестящее чувство стиля. К своему внешнему виду мужчины относятся с трепетным вниманием, но это не значит, что мужчина вертится перед зеркалом с того момента, как проснулся, и до самого выхода из дома, примеряя наряды. Большинству итальянцев во всем присуще чувство меры и гармонии.

Если учесть, что каждый человек, как актер, играет свою роль, то и одежда всегда соответствует его профессии и статусу. Она может быть недорогой, но всегда подобрана со вкусом. Иногда кажется, что мужчины одеты с легкой небрежностью, но и эта изюминка продиктована стилем и вкусом, которые руководят выбором одежды.

В Италии я впервые открыла необычную мужскую черту — страсть к шопингу. Итальянец может целыми днями гулять по магазинам, примерять вещи и выбирать костюмчик, полностью растворившись в этом увлекательном

занятиях, перебирая прекрасно сшитые рубашки в полосочку и клеточку, однотонные и с рисунком, для молодых и пожилых, двухцветные с отличными по хроматике манжетами и воротничками — они, кстати, прекрасно гладятся, поло и футболки, шорты и шортики, брюки, штаны и джинсы, ремни и галстуки всех вариаций и стилей, пиджаки на все случаи жизни, свитера, водолазки и кардиганы.

Да, пожалуй, я завидую. Мне кажется, что мужчине в Италии гораздо проще быть элегантным, чем женщине.

### *Вновь театр. Улица. Площадь*

Итальянцы очень театральны. Такое ощущение, что они всегда на сцене. И их маленькие спектакли всегда очень правдоподобны. Легко представить себе сценки, разыгрываемые в мясной лавке или у парикмахера, в пиццерии или во время футбольного матча. Строятся, конечно, такие представления на импровизации. Однако шутки-реплики могут кочевать от исполнителя к исполнителю.

Я живу в маленьком провинциальном городке на юге Италии. У нас все друг друга знают в лицо, и ничто и никто не может остаться не замеченным. А итальянцы, кстати, большие сплетники. Мужчины здесь не отстают и даже в чем-то превосходят женщин, хотя, если их спросишь, — они ненавидят сплетни, считают обсуждение других недостойным занятием и, сами того не замечая, тут же расскажут все последние новости городка: кто с кем и куда пошел, кто что купил, кто что сказал по этому поводу и заодно — про нечестного продавца, который не дает чек.

По вечерам, начиная часов с пяти, площади и бары начинают наводняться сначала пенсионерами — любителями посудачить, а потом завершившими рабочий день мужчинами. Практически на каждом углу кучкуется группа. Обсуждают все подряд: перемывают кости политикам, высказывают свое мнение о том, как надо руководить страной, обсуждают, кто что ел на обед, как готовит молодая жена нового соседа по улице, кто бреет подмышки, а кто делает эпиляцию у косметолога, нужно ли мужчинам выщипывать брови, а также кто на ком и когда женится, а кто разведется и что стряслось на соседней улице.

### *География итальянского характера*

Один мой итальянский друг сказал, что отношения между итальянцами и Италией всегда носили несколько конфликтный характер, но вина в этом, конечно, не итальянцев, а Италии, которая всегда сажала в правительство людей неспособных, слабых, невежественных, среди которых попадались карьеристы, воры и даже убийцы. Однако итальянцы, неизвестно каким чудом, смогли сделать эту страну благоприятной для жизни, привлекательной и веселой.

Итальянцы очень любят свою *Bel Paese*, потому и критикуют ее нещадно, с родительским беспокойством ругают власть, указывают ей на ошибки в надежде, что нерадивое дитя рано или поздно повзрослеет, поумнеет и исправится. Итальянцы — одна из наиболее образованных и просвещенных наций,

чувствительных, горячих, вспыльчивых, страстных по природе и очень трудолюбивых.

По своему характеру итальянец рожден индивидуалистом, он, конечно, считает себя европейцем, но в первую очередь он — пьемонтец, неаполитанец, римлянин, сицилиец... Национальная самобытность — это секрет популярности итальянцев в мире.

При этом Север здесь доказывает свою важность Югу, а тот, в свою очередь, противопоставляет себя Северу. В Италии 20 областей и каждая из них по-своему уникальна. А различия характера, традиций и бытовых привычек — это заданные правила игры.

Мы — особенные, любят говорить они о себе, добавляя, что апулийцы — живчики, калабрийцы — гурманы, лигурийцы — скупердия: в саду лимонное дерево склоняется под тяжестью сочных желтых плодов, попробуй попроси у соседа один лимончик. Получишь шиш. Всегда найдется повод отказать: руки грязные, забор высокий, от плиты не отойдешь, вчера побрызгал химикатами или как-нибудь потом принесу более спелый.

Неаполитанцы необыкновенно музикальны, их песни очаровали весь мир, у них самые характерные мимика и жесты: уши, нос, глаза, плечи, живот, пальцы — все становится инструментом общения. К тому же неаполитанский диалект — один из самых развитых в Италии. Считается, что у жителей Неаполя талант вводить людей в заблуждение, поэтому среди них много шарлатанов, мошенников и обманщиков всех мастей. Сам же Неаполь — химера, живой и в то же время мертвый, здесь все прекрасно и все безобразно, порядок переходит в бардак, и бардак становится порядком. Это город, где возможно все.

Неаполитанцы суеверны, они больше других обитателей Италии верят в предсказания и мистику. Практически каждый носит в сумочке, в кармане, держит дома, в машине, в гараже какой-нибудь амулет от сглаза. Чаще всего это рог, маленький или большой, настоящий или фарфоровый — это неважно, главное, чтобы он был.

Жители Пьемонта отличаются скромностью, вежливостью, некоторой холодностью и закрытостью характера. По сравнению с южанами, конечно. При этом народная молва утверждает, что вежливость пьемонтцев обманчива, а сами они фальшивы и лицемерны.

Римляне ироничны, циничны, дружелюбны, любят прихвастнуть, поболтать, отличаются шустрым мышлением, искренни и чистосердечны.

Говорят, что венецианцы так любят ругаться, что свои эмоции предпочитают выражать через всякую нецензурщину, которая служит им еще и вместо знаков пунктуации. Они любят поленту в разных вариациях, а в качестве аперитива пьют сприц — коктейль из белого игристого вина просекко, горького ликера кампари и содовой. А еще они умеют прекрасно ориентироваться в тумане.

Жители Калабрии, Базиликата, Кампании и Сицилии признаны самыми любвеобильными. Их страсть — от жаркого солнца, которое с избытком припекает эти регионы. Однако самыми активными считаются калабрийцы. Жгучие, как их перец пеперончино, который они добавляют во все, даже в шоколад. Еще они упрямые, своенравны и строптивы. Грамши в книге «Литература и национальная жизнь» описывает калабрийцев как людей с характером, закаленным, как сталь.

Апулийцы рьяные патриоты родной земли. Сидя дома, в своем городке, они постоянно жалуются: на несносный характер городской жизни, на отвратительные муниципальные власти, которые не умеют хозяйничать... Однако стоит им оказаться за пределами своей деревни, как — лучше их малой родины нет ничего на свете! В общем этим грешат все итальянцы: каждый кулик свое болото хвалит. А всему виной «кампанилизм» — врожденное чувство регионального индивидуализма, ощущение своей «деревни» не только как особенной, но и как самой лучшей. Каждый город, и большой, и маленький, смотрит на мир со своей колокольни — «кампаниеле».

Считается, что жители Апулии страстные рыбоеды: они и недели не могут прожить без свежей рыбы, мидий, креветок, каракатиц, осьминогов и всевозможных моллюсков, которыми так богаты моря Италии. Отношения с безбрежными морскими просторами у апулийцев особые — они настолько любят море, что когда его нет рядом, видят его во сне.

Жители юга вообще легче переносят трудности и умеют найти смешное в самых драматических ситуациях, помогают другим не зацикливаться на грустном, а, смеясь, преодолевать трудности. Апулийцы гостеприимны, много говорят на диалекте, глотая гласные, поэтому остальные итальянцы считают их речь непонятной.

## Семья

Так получилось, что я попала в большую южно-итальянскую семью. Смотреть на это все изнутри оказалось любопытно и непросто. Приняли меня хорошо, однако, мне потребовалось года два, чтобы выучить имена всех кузенов и теток и научиться не скучать в их обществе. Поначалу я не знала, о чем говорить, как себя вести, улыбалась натянуто, в то время как они улыбались естественно! И без всякого напряжения! Времяпрепровождение во время семейных праздников мне, привыкшей работать по выходным и красным дням календаря, казалось бессмысленной тратой времени: карты, пицца, лото, сплетни, мечты, политика... И никаких разговоров о работе. В праздники нужно отдыхать — и забывать о труде насущном. Со временем я миметизировалась: теперь мой рот все время улыбается, жесты стали типично итальянскими, научилась играть в неаполитанские карты, громко говорить, шуметь и увлеченно размахивать руками.

Итальянцы впитывают с молоком матери, что семья — это самое главное в жизни, мир может рухнуть, но семья — опора — будет всегда. Интересы семьи ставятся на первое место, но при этом и семья делает все для индивидуального развития каждой своей клеточки. Большая часть итальянцев до свадьбы живет с родителями, женятся довольно поздно, обычно в 30–35 лет. Отсюда и позднее появление потомства, и такая его необыкновенная ценность. Рождаемость падает, один ребенок — счастье и удовольствие для родителей, два — это практически предел мечтаний по современным меркам, двое детей — показатель не только родительской любви, но и семейного благополучия, а трое — символ материального достатка. Дети — удовольствие дорогое во всех отношениях.

Итальянская семья — целый род, большие ветви, которые переплетаются, цепляясь друг за друга. Когда встречаешь эту могучесть, не знаешь даже, с какой стороны подойти, чтобы присмотреться, понять, прочувствовать, как существует

эта система. И важно не забывать, что у традиционного итальянца — семья на первом месте, а друзья всегда на втором. Воскресенье принято проводить с семьей, поэтому такое важное мероприятие, как выборы, тут длится два дня: воскресенье и понедельник — для тех, кто по семейным обстоятельствам не смог проголосовать в конце недели. Вдали от семьи, без поддержки рода, итальянцы чувствуют себя одинокими. Конечно, всегда есть с кем потрепаться и выпить кофе, но наличие многочисленных родственников делает итальянца счастливым и уверенным. Одна моя знакомая итальянка чувствовала себя поистине несчастной: разведена, без детей, без братьев и сестер, в живых остались только мачеха и дядя.

### *Лето. Улица. Гранита*

С июня по август все живут на улице, за исключением полуденных часов, которые проводят дома: кто спит, кто читает, кто посуду моет — в общем, кому что нравится. Жарко.

Едва солнце начинает клониться к закату, улицы и переулки заполняются народом. Некоторые переулки целиком заставлены столиками: ресторанчики в теплое время года живут под открытым небом. Ширина переулка едва позволяет поставить столик так, чтобы к нему мог подойти официант.

Жители, ужинающие на улице, летом — обычное дело. Часто, чтобы разместить большую компанию родственников, на улицу выносят столы и стулья. По маленьким улочкам зачастую нельзя проехать: семейство вместе с соседями расселось так широко, что заняло весь проезд. Тротуаров у нас почти нет, либо они настолько узкие, что говорить о том, что люди должны придерживаться тротуаров, просто смешно. Иногда его ширина составляет всего-то сантиметров 20! Поэтому люди здесь ходят прямо по проезжей части, и никому нет дела до этих узких и кривых полосок, по которым якобы должны передвигаться пешеходы. Тем более, что они такие кривые и корявые, что и без высоких каблуков можно запросто подвернуть ногу.

Во дворах светятся телевизоры, стоят стулья, столы, диванчики. У кого нет диванчиков, сидят на ступеньках, скамейках, складных креслах — кто что найдет подходящего. В прибрежных кварталах ужинают обычно под открытым небом на веранде. Разговаривая, жестикулируя, споря о самых разных вещах, итальянцы сдабривают оживленные беседы домашней пиццей, свежей моцареллой, солеными оливками, тонко нарезанным сыропеченым окороком или морскими деликатесами: салатом из сырых осьминогов, креветок, кальмаров, замаринованных с лимоном и бальзамическим уксусом, местными рыбешками, панированными в муке с яйцом и обжаренными в оливковом масле, жаренными на гриле овощами и каракатицами. За ужином можно случайно объестись до потери способности к передвижению, поддавшись этому чудесному времязпровождению за приятной беседой, в приятной компании и в прохладе.

Летом хорошо освежаться гранитой — это льдинки с густым сиропом, например, из мяты и лимона. В молотые льдинки можно добавить совершенно любой сироп — клубничный, вишневый, кокосовый, миндальный, шоколадный, кофейный. Получается очень сладко. Едят льдинки ложечкой, а когда они подтают, потягивают через трубочку.

## *Стиль жизни. Обед. Еда*

Еда — это святое.

Прогулка к морю не может затянуться: как типичная южно-итальянская семья мы обедаем по расписанию. В час дня все должно быть готово, по крайней мере не позже двух все должны сидеть за столом и жевать. А в три часа пополудни уже пора видеть дневные сны.

Привыкнуть к итальянскому пищевому графику я не могу до сих пор: мой организм ест, когда голоден, а итальянские организмы принимают пищу по расписанию: завтрак с 7 до 10, обед с 12.30 до 14, ужин с 19.30 до 22. Если проснулся в 12, сразу готовься к плотному обеду, завтрака уже не будет.

К тому же здесь строго следуют правилам, что и когда пить. Виноградная водка грappa — дижестив, ее пьют только после еды для правильного пищеварения. Заказать грappу перед едой — дурной тон. Капуччино полагается пить утром, а горячий чай — только в холодное время года.

Итальянцев считают импульсивными торопыжками, но на самом деле импульсивна и быстра у них только речь, а сам образ жизни спокойный и разумеренный. Любой повседневный жест они делают с чувством собственного достоинства, что придает будням очарование ритуала.

Здесь никогда не заглатывают пищу на ходу, не торопятся с обедом, а сmakуют каждую ложку-вилку-тарелку пасты-пиццы-салата и всегда находят время для встреч с друзьями, для кофе и футбольного матча.

Итальянцы любят быть в курсе событий, поэтому обедают под телевизор. Сматрят выпуски новостей, которые идут в эфир друг за дружкой (сначала на одном канале, потом на другом, третьем...), чтобы заполнить весь обеденный перерыв. После обеда полагается здоровый сон, хотя бы полчаса. На времена сиесты жизнь в больших городах притормаживается, а в маленьких вовсе замирает. Если в Риме магазины закрываются с 13 до 15, то у нас на юге — с 13 до 17. Исключения составляют крупные торговые центры. В это время на улице можно встретить только собак и туристов. И начинающих водителей.

## *Отпуск. Мадонна на пляже. Феррагосто*

Если мы отправляемся в отпуск круглый год по графику, чтобы никому не было обидно, что летом не отгулял, то итальянцы уходят в отпуск всем полуостровом. В августе. В это время закрываются фабрики и заводы, магазины и даже многие государственные учреждения. Зато самая страда — у работников туристической сферы, гостиничного бизнеса и рестораторов.

Середина месяца — настоящий мертвый сезон в городах. Жители перебираются на море или в горы, где у некоторых есть второй дом, что-то вроде дачи. Остальные снимают домики, номера в отелях, квартиры, приезжают в фургонах, ставят палатки прямо на берегу. Днем нежатся в море, а вечером пестрая довольная толпа заполняет прибрежные городки, потягивает коктейли, жует жареные колбаски, пьет вино, танцует, наслаждается жизнью. С середины июля на площадях курортных городков и городишек начинается сезон праздников: день котлеток, праздник осьминога, фокаччи, арбуза, персыков и так далее.

Обязательный пункт программы — белые ночи. На различных площадках проходят выставки художников, фотографов, открыты музеи, для развлечения публики проводят различные игры и конкурсы. Звучит много самой разнообразной музыки: классика, джаз, блюз, поп, пиццика. Необыкновенно популярны театры и кино под открытым небом.

Итальянцы любят танцевать. Нигде больше я не встречала такого невероятного количества людей всех возрастов, которые умеют танцевать фокстрот, танго, мазурку, польку, не говоря уже про вальс и латиноамериканские ритмы. Танцуют на улицах, на площадях, на дискотеках и дома — на верандах и во дворах. Очень популярны групповые танцы — народ выстраивается рядами и под популярную музыку повторяет знакомые всем танцевальные шаги, простые и доступные в исполнении.

Днем на пляжах устраивают дискотеки, дают уроки танцевального фитнеса — зумбы, сальсы — играют в волейбол. Кажется, само море выбирает вместе с басами из колонок и голосом инструктора.

Итальянцы как никто другой умеют отдыхать. Они делают это со вкусом и полной самоотдачей. Неделя-две полной отрешенности от рабочих проблем. Деловые темы — табу в этот период. И не вздумайте предлагать встречу, вас ждет проклятие.

Точно в середине августа — 15-го числа — наступает кульминация летних праздников: Феррагосто. В этот день не работает ни один магазин, а на пляже некуда приткнуть зонтик. Традиции празднования уходят корнями в римскую античность и языческие гуляния в честь окончания полевых работ, постепенно они слились с христианским Вознесением Пресвятой Богородицы. Во многих городах в эти дни проводят религиозные шествия со статуей Мадонны: как правило, ее несут через весь город часов с шести вечера — когда спадет жара. У верующих, которые в этот день не желают покидать пляж, есть возможность поклониться Деве Марии прямо на месте. Священники местной церкви на катере, украшенном гирляндами, как новогодняя елка, в сопровождении других лодок плывут вдоль берега и в громкоговоритель читают молитвы, призывая полуторую веселую толпу в купальниках и плавках присоединиться. Послушная паства поднимается с ковриков, выползает из-под зонтиков и искренне молится. На самой высокой точке катера надежно укреплена статуя Мадонны, именно ей сегодня все почести. Особо верующие стараются подплыть к катеру поближе, видимо, в надежде на отпущение грехов.

Морская процессия движется довольно медленно и останавливается каждые 500 метров. При желании или если пропустил зрелище, можно сесть на велосипед, нагнать катер и снова полюбоваться Девой Марией.

### *Тарантела. Пиццика. Тарантизм*

Благодаря Петру Ильичу Чайковскому мы с детства знаем, что в Италии танцуют тарантеллу — заводной народный пляс, распространенный в основном на юге полуострова. У Чайковского она неаполитанская, но на самом деле разновидностей тарантеллы великое множество — это целая группа танцев, распространенных в южной Италии. Ее можно танцевать и в паре, и в одиночку,

и компанией. Сочный, лихой, звонкий, залихватский, солнечный, южный, с топотом и подскоками — вот такая она, тарантелла.

Но очутившись в Италии, я познакомилась с другим народным танцем, который очаровал меня. И, признаюсь, затмил своим ритмом тарантеллу. Я живу на земле, вскормленной народной культурой, здесь до сих пор живы все народные традиции и люди говорят, в основном, на диалекте. Дома, огороды, сады, вкусы, танцы, пища — все простонародное. Первый раз я столкнулась с пиццикой во время празднования Нового года. В ресторане, где все были расфуфырены, намакиожены, на шпильках, в вечерних платьях, вдруг зазвучала пиццика — и женщины, забыв приличия, скинули туфли и поскакали босиком танцевать под эти странные бешеные ритмы.

По своему происхождению пиццика гораздо более древняя, чем тарантелла, несмотря на то, что историки танца склонны объединять их в одну группу. Пиццика — это танцевальное выражение настоящего национального характера апулийцев и Апулии, земли, которая стала для меня второй родиной. Родилась пиццика в Саленто, на самом «каблуке», в провинции Лечче, поэтому и поются все тексты на леччезе — местном диалекте. Однако танец распространился и за пределы Саленто, и эту опьяняющую музыку можно услышать по всей Апулии.

Лето, палящий зной, неподвижные оливы, потрескавшаяся земля. Заросли табака, виноградники, бахча, горящие помидоры... Представьте себе женщину, которую во время работы в поле ужалил ядовитый тарантул. Паучий яд вызывал истерику, провоцировал беспорядочные конвульсивные движения. Эти симптомы нервного характера называли еще «пляской святого Витта» и тарантизмом. Согласно народной традиции, некоторые музыканты обладали целительскими способностями: с помощью пиццики они могли полностью вылечить или хотя бы облегчить состояние больного. Они играли дни и ночи напролет, пока ужаленный не затихал. По преданию, чтобы ушел яд из раны, нужно было кружиться в бешеном ритме, мелко-мелко перебирая ногами. В исступлении, женщины — почему-то именно они чаще всего были подвержены этой напасти — неистовствовали в танце, надеясь избавиться от яда.

Основным инструментом в тарантизме (излечении через танец и музыку от укусов тарантулов и якобы связанных с ними истерии и эпилепсии) был бубен. Ритуал начинался, когда жертва паука замечала первые признаки действия яда и созывала музыкантов играть пиццику. Под звуки музыки больная начинала извиваться, биться в конвульсиях, кататься по земле, тело, влекомое ритмом, принимало различные позы, напоминающие паука, змею, скорпиона.

После диагностики — попытки понять, кто именно спровоцировал приступ, наступала «цветная» фаза: внимание больного привлекали аксессуарами одежды, обычно для этих целей использовали шейные платки или шали. Цвет платка должен был соответствовать цвету паука, который впрыснул яд.

Музыкальная терапия, согласно поверьям, изгоняла негативную энергию, спровоциированную укусом тарантула, и уводила ее прочь из больного тела. Музыкант через свою добрую волю, через ритм подключался к заблокированному энергетическому каналу и приводил в состояние гармонии тело страдающего человека, освобождая его сознание. Вибрации пиццики запускали механизм «перезагрузки» человеческого организма, исправляли накопленные ошибки и восстанавливали нормальное функционирование. Ритуал заканчивается, когда ужаленный символически топчет ногами паука, чтобы подчеркнуть свое избав-

ление от болезни. Пиццика, которую исполняли в лечебных целях, конечно, несколько отличалась от танцевального варианта: для лечения использовался более быстрый ритм. Сегодня никто уже не практикует тарантизм и никто не пытается спастись от паучьего яда с помощью музыки и танца, все предпочитают современные лекарства. Но пиццика осталась. Ее танцуют везде — и на свадьбах, и на школьных праздниках.

В хоре музыкальных инструментов солируют голос и скрипка, основной ритм задает бубен, вариации звучат в исполнении мандолины, гармони, гитары, волынки.

Во время народных гуляний танец приобретал игровой характер: девушка показывала свою гибкость, грациозность в танце, обязательным атрибутом — платком, завлекая партнера. На ней — обязательная широкая юбка до пят, платок или шарф. Ноги босые. Мужчина демонстрирует силу и ловкость, танцуя вокруг девушки, раскрыв руки. Он словно пытается ее поймать, а она, шалунья, изворачивается, убегает, дразнится. На домашних вечеринках и посиделках родственники танцевали пиццику между собой, и она приобретала новый характер. Дедушка с внучкой играли в хлопоты по хозяйству, танец между братом и сестрой превращался в шутку борьбы за первенство в семье. Если выходили двое мужчин — сразу возникала атмосфера соперничества, своего рода дуэль, состязание в ловкости, проворстве, находчивости, выдумке и, конечно, физической силы и красоты.

Каждый год в Саленто, в Мельпиньяно проходит фестиваль народной музыки La Notte della Taranta. На площади собирается до трехсот тысяч зрителей, многие приезжают издалека и с утра караулят место поближе к сцене, чтобы всю ночь отдаваться магическому ритму пиццики.

### *Смех по поводу и без*

Итальянцы ироничны. Они любят шутить, делают это постоянно и мастерски. Итальянский юмор по большей части добрый, а смех жизнерадостный. Жители полуострова подшучивают не столько над другими народами, сколько над собой.

- Папочка, — хвалится сын, — я сам себе сделал скрипку.
- Я рад, что у меня такой талантливый сын. А откуда у тебя струны?
- Из пианино...

Прекрасная Италия улыбается, хохочет, хихикает, ржет, иронизирует над собой, над жизнью. И старается не драматизировать даже безнадежную ситуацию, не отчаяваться, а найти в ней что-то забавное, чтобы жить стало легче. Лучшей оценкой итальянского юмора стало всемирное обожание итальянских комедий и комиков. Тото, Альберто Сорди, Челентано — эти имена известны всему миру.

Если у нас, русских, популярными объектами шуток выступают чукчи и блондинки, то у итальянцев это карабинеры и футболисты.

Нападающий клуба «Рома» Франческо Тотти четыре месяца собирал пазл. Когда закончил, прочитал на коробке: «От двух до трех лет» и воскликнул: «Bay, я гений!»

Любят посмеяться и над родственниками: ссоры мужа с женой, отношения со свекровью и тещей, как и в России, часто становятся темами анекдотов:

Человек, у которого умерла теща, приходит в похоронное агентство.

— Вы хотите ее похоронить, кремировать или забальзамировать? — спрашивает директор агентства.

— И то, и другое, и третье. Лучше не рисковать...

В прессе очень популярен жанр политической карикатуры. Все значительные издания имеют своего бравого художника-карикатуриста, который с беспощадной иронией высмеивает политиков и политическую ситуацию.

### *Под занавес*

Итальянец может быть простым и утонченным, патриархальным и современным, авантюристом и праведником, молчуном и тараторкой, эгоистом и альтруистом. Иногда скромный и покорный, порой гордый и надменный, даже наглый и высокомерный, дерзкий и смелый, он умеет изумлять обсуждением глобальных проблем и философских вопросов, приводя тонкие, изысканные аргументы. Чтобы понять итальянцев, нужно прочувствовать природу полуострова, присмотреться к ландшафту, прикоснуться к растительности, деревьям, кустарникам, цветам, кожей ощутить климат, впитать запахи моря, гор и земли. Это и есть самая настоящая суть итальянского характера, насыщенного и страстного.

И у традиционалиста, тоскующего по прошлому, и у бунтаря, стремящегося в будущее, очень развито чувство семьи, чести, справедливости и прекрасного, и эти значимые для итальянца идеи он передает своим детям. Возможно, все это соответствует действительности, а может, просто моя идеализация, подпитанная литературой, морем и солнцем. В любом случае, я люблю очарование противоположностей итальянского характера, который не подчиняется правилам и состоит из одних исключений и перед которым невозможно устоять. Итальянцы, на мой взгляд, — самое привлекательное противоречие, воплощенное в жизнь.

---

*Борис Шейнин*

## Мой Коканд

Честно сказать, не заметил, как она нахлынула — старость. Впрочем, в том нет ничего удивительного, если раскрыть паспорт или поступить еще проще — поглядеть в зеркало. Все правильно. Все закономерно. Но почему-то кажется неожиданным и неправдоподобным. Почему? Вдруг из всего того, что было перелистано и перелопачено в моей судьбе за восемьдесят с лишком лет, отчетливо мне увиделся школьный класс в благословенном узбекском городе Коканде, куда меня забросила военная година. Я — мальчишка, эвакуированный из Белоруссии. На языке моих новых одноклассников — «выковырянный». Злобы и неприязни в том, как произносится это прозвище, вроде, не чувствуется. Но все же задевает. Понять их можно. В город, где все давно определено и налажено, вдруг ворвалось множество людей, которые совсем недавно покинули свои обжитые места и не очень понимают, куда их завезли, и еще больше не понимают, как долго продлится война и как долго не увидят они своих городов и своих домов. Эти люди не были похожи на тех, кого привыкли видеть кокандские дети. Разумеется, и в глазах приезжих расчерченный арыками Коканд со старинной мозаикой эмирского дворца в городском парке выглядел картинкой из волшебной восточной сказки.

Мы прожили в Коканде с лета сорок первого до весны сорок третьего, когда уже война стала продвигаться на запад и поезда постепенно начали возвращать людей в далекую Россию. Но тогда, в сорок первом, из Белоруссии, из Украины и Москвы увозили на восток не только отдельных людей, но и целые предприятия и учреждения. Так в Коканде оказался Московский химико-технологический институт имени Менделеева, в который поступила моя сестра, закончившая десятилетку перед самой войной. А еще появился в городе нефтяной техникум, эвакуированный из кавказского города Грозного.

Закончив в кокандской школе седьмой класс, я, не задумываясь, забрал свои документы и подал их в нефтяной техникум. Школьные учителя пытались меня от этого шага отговорить. Почему-то в их глазах я считался перспективным учеником. Но мне претила сама по себе школьская обстановка. Мне не терпелось стать взрослым, овладеть настоящей профессией. Когда директор школы сказала мне, что документы

---

*Шейнин Борис Соломонович* — известный российский кинодокументалист, ученик А.П.Довженко, автор множества документальных фильмов, снимавшихся на разных киностудиях страны. Его лента «Назовите меня Пикассо», поставленная вместе с Марией Семенцовой, завоевала Гран при на международных кинофестивалях Франции, Испании, Колумбии, Грузии и других стран. Призами российских и международных фестивалей отмечены его фильмы «Очень трагическая комбинация», «Я завещаю тебе», «Вопросы к Богу», «Разум Вселенной» и многие другие. В конце 1960-х годов важным этапом его творчества стала работа над документальной лентой «Мы здесь родились», которая рассказывает о социальных переменах, произошедших в судьбах бывших обитателей «черты оседлости». Драматичные коллизии, связанные с созданием этого фильма, стали сюжетом повести «Не дай умереть ребенку», давшей название его книге, изданной в 2010 году.

отдадут, только если придет за ними моя мама, я твердо заявил, что я уже взрослый и сам решаю, где мне учиться. Очевидно, мое категоричное заявление произвело впечатление. Документы, кстати, с хорошей характеристикой, я получил и в тот же день отнес в приемную комиссию техникума. И там я, действительно, почувствовал себя взрослым. В техникуме мы были не учениками, а студентами. Нам платили стипендию. И — что совсем уже сделало меня взрослым и самостоятельным — я получил койку в общежитии. С тех пор я никогда больше не жил в родительском доме.

О техникумовском быте и моем новом друге, вечно голодном Пинхасике, вывезенном из блокадного Ленинграда, стоит рассказать особо. Пинхасик — это, очевидно, фамилия. Но иначе никто его не называл. Озабоченный только добычей еды, Пинхасик, в добавление к затирке, которая была единственным блюдом в техникумовской столовой, пристрастил нас, своих соседей по комнате, к изумительно вкусному субпродукту — требухе. На рынке, в конце дня, продавцы иногда отдавали нам ее бесплатно. Во дворе нашего общежития мы разводили из собранных веток небольшой костер и над ним в закоптелой кастрюльке варили чудесное блюдо, открытое многоопытным Пинхасиком. Он был намного взрослеем нас. Но что означает быть сытым, Пинхасик не знал. Очевидно, естественные для любого организма рецепторы у него, пережившего ленинградскую блокаду, были начисто атрофированы. Общепитовская затирка и отваренная во дворе требуха вызывали у него одинаковый восторг: «Красота! Красота!» — так восхищенно, словно впервые отведал, оценивал он только что проглоченное блюдо. Он был начитан и, на зависть нам, интересно рассуждал о проблемах науки. Скорей всего, он был из профессорской семьи. С преподавателями, оправдывая свое незнание урока, изъяснялся вежливо и даже красиво. Но самые яркие его впечатления, которыми он доверительно делился, конечно, были связаны с едой. Его, блокадника, жалели. И даже пропуски занятий ему прощали. Однажды, охотясь за любимым и доступным субпродуктом, на рынке он познакомился со старым узбеком. Уртак — товарищ — проникся симпатией к блокаднику и пригласил его на работу в колхозной конюшне. Там зимой будет тепло, а узбекский плов ему гарантирован. Есть Пинхасик хотел постоянно, и предложение старого узбека показалось ему чрезвычайно соблазнительным. И в тот же день он трогательно попрощался с преподавателями, с нами, своими сокурсниками, и вместе с новым другом, восседая на высокой арбе, ведомой резвой лошадкой, уехал в новую, надеюсь, сытую жизнь.

Но сейчас хочу вернуться к могилевской школе, которая, безусловно, обогатила мои представления о науках и жизни. Прежде всего, в Коканде у меня возникла проблема изучения иностранного языка. В Могилеве, как и повсюду, иностранный язык начинали преподавать с пятого класса. У нас это был английский. Первые занятия я пропустил. Чем-то серьезно болел. И чтобы я смог догнать ушедший вперед класс, родители наняли репетитора. Причем репетитор взялся обучать нас двоих — меня и моего друга и одноклассника, патентованного отличника Шурика Пальчика. Первый урок был интересен. Английские слова — пен, пенсл, тейбл, бук, копи-бук... эти слова я усвоил, как говорится, с ходу. Но к следующему занятию в полной мере проявилось мое врожденное легкомыслие, которое не однажды подводило меня в дальнейшей жизни. Случилось простое: заигравшись во дворе, я забыл про следующий урок. То ли сам репетитор, а он был настоящий англичанин, разочаровался во мне, то ли родители Шурика решили, что ему, отличнику, я не составлю серьезную пару, если из-за игры могу пропустить урок, но дальнейшие встречи Шурика с репетитором проходили без меня. Шурик продолжал добросовестно и, наверно, успешно постигать законы английской разговорной речи и грамматики. Где-то в середине учебного года в школе объявилась полногрудая и толстогубая толстушка, взявшаяся обучать наш класс английскому языку. На англичанина, единственный урок у которого я успел получить, она ничем не была похожа. Дажеказалось, что и английский язык у нее был

совсем другой. Нас, своих первых учеников, она нашла после окончания Могилевского педагогического училища. Не знаю, что думала она о нашем классе. А нас в молодой учительнице больше всего занимал значок парашютиста, который на сверкающих цепочках болтался на ее блузке. Покрытый синей эмалью металлический парашютинк интриговал нас. Мы рисовали в своем воображении полет нашей новой учительницы на самолете и отважное ныряние с немыслимой высоты в самую бездну воздушного океана. Значок не давал нам покоя. И, естественно, на уроках мы не без успеха сбивали учительницу с презент- и пастиндефинитов на рассказ о том, как она совершала свои отважные прыжки. Учительница долго нас интриговала, оттягивая рассказ о своей отваге, пока однажды вдруг опрометчиво не поведала нам, что прыгала не с самолета, как представляли мы, а с парашютной вышки, похожей на ту, что стоит в нашем городском парке. Тогда, до войны, даже в самых захолустных городах в садах и парках непременно сооружались парашютные вышки. Страна жила романтикой преодоления высот и расстояний. Каждый, приобретя копеечный билет, мог подняться по ступенькам крутой лесенки к площадке, висевшей в метрах десяти над землей. Там его пеленали стропами подвешенного к мачте раскрыто го зонта парашюта и подталкивали к прыжку. Через несколько секунд счастливый «парашютист» плавно опускался к подножию вышки. Для нас, торопившихся повзросльеть, перспектива прыгания с вышки в городском парке всегда оставалась манящей. Но героический образ учительницы, который успело нарисовать наше воображение, от ее наивного откровения как-то поблек. Конечно, она поступила опрометчиво. Мой друг Виля, отважный и решительный правоискатель, каким-то образом успел узнать слово, которого мы на уроках не проходили, и, разочарованно глядя в глаза учительницы, громко произнес: «Ю — мэд...» Что обозначало сказанное Вилем, мы, естественно, тогда не поняли. Но наша учительница действительно знала английский язык. Она не стала ругать или экзаменовать новоявленного полиглota, а просто выставила его из класса. На перемены Виля обогатил наши знания в английском языке, пояснив, что «мэд» по-английски — ненормальный, сумасшедший.

Ну а дальше, дальше была война...

И вот первого сентября 1941 года я входил в седьмой класс кокандской русской школы. Где-то в старом городе находилась другая, узбекская школа. Туда мимо нас с портфелями ходили на занятия красивые девушки-узбечки в шелковых полосатых платьях. А вот как были одеты мальчики-узбеки, почему-то припомнить не могу. Наверно, одежда их не отличалась от нашей. За два года проживания в Коканде познакомиться или тем более подружиться с узбекскими ребятами или девушками мне не пришлось. Каких-либо контактов учеников нашей русской школы с учениками и ученицами узбекской школы не припомню. По той причине, что их не было. Да и в классах нашей русской школы узбекских девочек и мальчиков я не встречал. Тогда, в сорок первом году, такая «сегрегация», наверно, сохранившаяся еще с дореволюционных времен, была настолько обычной, что даже у нас, приехавших издалека, удивления не вызывала. Вероятно, еще и потому, что сам город делился на «новый», где поселили нас, и другой — «старый», где обитали узбеки в полосатых халатах и узбечки, прятавшие лица за сетками сплетенной из конского волоса параджи. В узких завитках кишлачных уложек за глухими глинобитными стенами размещались «кибитки» — домашние и хозяйственные постройки «аборигенов». По издавна заведенному порядку параллельно росли и воспитывались и дети так называемого коренного населения, державшегося исламской религии, и потомки христиан — бывших завоевателей, а затем и освободителей, установивших здесь советскую власть, которая уравняла в правах всех обитателей этой земли.

Откуда-то с Украины эшелон привез разобранным огромный сахарный завод. За его монтаж на новом месте сразу взялись приехавшие с заводом специалисты и искавшие работу приезжие из других мест. Наверно, в Коканде это была первая столь

масштабная стройка за все годы советской власти. Энергию для стройки и производства сахара вырабатывали два паровозика, пригнанные со станции по специально проложенным рельсам и намертво закрепленные на них.

Претерпела изменение и культурная жизнь города. В Коканде надолго задержались Ростовский музыкальный театр и столичный театр имени Ленинского комсомола. Время от времени наезжали «дикие» театральные группы. Успех у них был колossalный. Студенты «Менделеевки» — те, кто приехал с институтом из Москвы, и те, кого набрали уже здесь, представляли интеллектуальное лицо города. Именно они первыми заговорили об изданной в Ташкенте книге Николая Никитина «Это началось в Коканде». Автор опубликовал свой роман еще до войны. Но он пришелся удивительно кстати не только для нас, желавших больше узнать об истории края, в котором оказались. Книгой зачитывались и в нашем классе, и в других классах нашей школы. В ней рассказывалось о событиях гражданской войны, о борьбе с басмачами и об англичанах, которые поддерживали их. Полюбившимся школьникам героем романа был Умар — сын бедняка, отважный узбекский мальчишка, разведчик Красной армии. Однажды он попал в руки басмачей. Его пытали, истязали, но он не выдал военных секретов. Почему мои одноклассники так горячо полюбили книгу Никитина? Никакого секрета в том не было. Все знали: прообразом героя книги был наш добродушный и улыбчивый учитель узбекского языка Умар Умарович.

В Коканде у меня был наладившийся ритуал раз в неделю посещать городскую баню. Она была похожа на могилевскую, в которую я до войны ходил с отцом. Растворив дверь в парилку, попадаешь в густое облако пара, в котором поначалу едва просматриваются силуэты людей. Лишь через несколько минут, когда глаза привыкают, можно разглядеть любителей париться, забравшихся на разные этажи банных полок. Как-то, привычно войдя в парилку и через некоторое время оглянувшись, я буквально столкнулся с Умаром Умаровичем, который тоже, оказывается, был поклонником парилки. Он узнал меня, и лицо его просияло великолодушной улыбкой. А я растерялся. Предстать голышом перед преподавателем? К такому я не был готов. Старый учитель уловил мое смущение. Он отвернулся и направился к полке. И вот тогда я увидел его спину. Она была разрисована страшными розоватыми рубцами. Они остались несмыываемой памятью об английских нагайках, которыми, пытая, басмачи полосовали мальчика.

Конечно, наш Умар Умарович был всеобщим любимцем. Надо ли говорить, что узбекский язык, которому он учил нас, совсем не представлялся мне трудным? Я постигал его с большим старанием и к тому времени, когда покидал Коканд, уже довольно сносно изъяснялся по-узбекски.

Обособленно от других эвакуированных в Коканде держались приехавшие с воспитателями взрослеющие дети бойцов республиканской Испании. В свое время, спасая от гражданской войны, их вывезли в Советский Союз.

С наступлением первой военной зимы в городе стремительно прибавлялось искателей тепла и еды. В магазинах за продуктами выстраивались очереди. Короткая — мужская и длинная — женская. Даже мальчишки-дошкольята, зайдя в магазин, не размыслия, направлялись в свою, мужскую очередь. Удивительно, но у женщин, и местных и приезжих, такая сегрегация не вызывала протеста.

Были среди моих одноклассников и дети тех, кого еще до войны советская власть сочла нужным отправить сюда на поселение. В могилевской школе у нас был классный руководитель. В Коканде я впервые услышал незнакомое слово, которое обозначало ту же школьную должность — куратор. Куратором класса, в который я поступил, была преподавательница немецкого языка Герта Густавна. Уже целый год до моей встречи с новыми одноклассниками они добросовестно изучали немецкий язык. Оказывается, Герта Густавна была куратором этой группы с первого класса. На ее глазах росли все эти ученики. Более того, знала она многих из них еще с дошкольного возраста. Ведь

почти все семьи жили на одной улице и, конечно же, общались как соседи. У самой Герты Густавны детей не было и к своим воспитанникам она относилась с материнской нежностью. Знала всех учеников, знала их домашние проблемы. В их семьях она была объектом преклонения и критерием справедливости. На занятия Герта Густавна одевалась так, словно шла на праздник. Непременной принадлежностью нарядного туалета был подобранный к строгому костюму яркий бант. Безусловно, хороший педагог, она сумела привить ученикам уважение и интерес к своему предмету. Я же, узнав, что в Коканде придется изучать немецкий, категорично заявил куратору, что фашистский язык знать не желаю. К моему удивлению, Герту Густавну мое заявление не смущило. Она спокойно разъяснила мне, что на немецком языке разговаривают не только фашисты, но и немецкие коммунисты. К тому же на этом языке создавали бессмертные произведения великие поэты.

Несколько днями позже меня в классе появилась девушка — Берта Бокштейн. Она была явно взросле и длиннее всех нас. Место для нее куратор почему-то определила на одной парте со мной. Берта была доброжелательным человеком. Она смотрела на мир какими-то светящимися, чуть прищуренными и, казалось, смеющимися глазами. Ее тонкие губы были сплюснуты в постоянно сдерживаемую улыбку, почему-то казавшуюся ироничной. Берта знала себе цену и своими мыслями охотно делилась с теми, кого они могли заинтересовать. Она была польской еврейкой. В Польше жила в городишке где-то на границе с Германией. Улыбаясь, она сообщила нам, что уже начала понимать по-русски, потому что этот язык похож на польский. А вот Герту Густавну попросила от уроков немецкого ее освободить, поскольку этот язык она хорошо знает. Герта Густавна вызывала Берту к доске и, на удивление и зависть всего класса, заговорила с новой ученицей по-немецки. Учительница что-то спрашивала, Берта бойко отвечала, так быстро, словно заранее готовилась к ответам на все вопросы. Наконец беседа закончилась. Герта Густавна отправила Берту на место. И сообщила, что освободить ее от занятий не может, потому что немецкий язык у нее неправильный и ей надо еще много заниматься, прежде чем можно будет сказать, что она владеет немецким. Услышать такое мы не ожидали. Конечно, не ожидала и Берта, хотя продолжала улыбаться своими тонкими сомкнутыми губами. Наверно, в педагогических целях Герта Густавна вписала в журнал против фамилии Берты отметку «поср.» — посредственно. «Тройку» ученице, которая на наших глазах с ней свободно изъяснялась на немецком языке! Кажется, это был единственный случай, когда класс усомнился в справедливости оценки, поставленной Гертой Густавной.

Теперь, когда уже многое видел и узнал, я понимаю, что в решении Герты Густавны ничего несправедливого не было. Я бывал в Германии и видел, как ревниво относятся немцы к чистоте своего языка. Видел, как раздражает их, когда собеседник, уверенный, что говорит по-немецки, употребляет слова из похожего еврейского языка. Кстати, а разве не коробит знатоков русского языка, когда в разговоре они слышат фразы из различных диалектов и даже из близких славянских языков — белорусского или украинского? К примеру, не однажды доводилось мне слышать уверения поляков, что белорусской язык — это испорченный польский. И все же авторитет Герты Густавны был столь высок, что вслух усомниться в справедливости ее решения никто не посмел. Действительно, разве нам дано было судить, насколько чистым и правильным был в устах самоуверенной Берты немецкий язык? Герта Густавна объяснила нам, что у Берты слышится смешение немецкого с каким-то другим языком, на котором, очевидно, говорили в местности, где та прежде жила. Наверно, из деликатности, идиш учительница не назвала. Но даже если бы и назвала, нам бы это ничего не прояснило. Лингвистами мы не были.

Я не сразу оценил, что наш дружный класс в кокандской школе был интернациональным. Кроме русских девчат и ребят, у нас учились местные поляки, армяне, бухарские евреи и вот, наконец, появились европейские, то есть ашкеназийские

евреи — я, москвич Саша, Берта, девушка Катя из неведомого нам города Бердянска и еще один очень умный мальчик Артур из Польши. Среди нас Артур был самым осведомленным в политике. Он видел немцев. Тех немцев, которые на границе позволили ему вместе с родителями уйти из оккупированной Польши в Советский Союз. Веселые добродушные парни, они отмахивались от «юде», показывая, будто отгоняют запах чеснока, который, по их представлениям, должен был исходить от евреев, чрезмерно употребляющих этот продукт.

Когда произошла моя встреча с новым классом, уже стало ясно, что Могилев занят немцами и скоро нам туда не вернуться.

Кокандские одноклассники были рады после летних каникул снова встретиться со своим куратором, а та с восхищением осматривала своих воспитанников, явно повзрослевших за минувшее лето. Герта Густавна как-то трогательно, по-матерински обнимала учениц, уверяя, что они очень изменились за прошедшее лето. Ну, а мы, новички, представляли для нее другой интерес.

Со всем знающим Артуром почему-то сразу же, чуть ли не с первого взгляда, у нас вспыхнула взаимная антипатия. То ли потому, что я не готов был принять его за некий идеал и этим задел его самолюбие. А может быть, в нас проснулся дух соперничества, когда каждый стремился быть в чем-то лидером. Не могу припомнить из-за чего, но отлично помню, как однажды, во время перемены, на ступеньках школьной лестницы мы с Артуром стали обмениваться тумаками. Сражение не успело стать серьезным, но школьники уже сбежались смотреть, как дерутся два еврея. Услышав их возгласы, я ощутил несусразность нашего конфликта, опустил руки и прошептал: «Не надо». Удивительно, но Артур меня понял. И к полному разочарованию сбежавшихся зрителей, драка, не успев разрастись во что-то серьезное, тут же прекратилась. В отличие от нас, Артур всегда был аккуратно одет. Висели на нем не брюки, как у всех мальчишек моего возраста, а явно заграницные бриджи — широкие шаровары, которые закруглялись где-то у щиколоток. Это, да еще незнакомая нам бейсболка, выделяли Артура, подчеркивали его необычность и исключительность.

Где-то в октябре в нашем переполненном классе появилась Соня — еще одна увезенная от войны девочка. Соня являла собой полную противоположность долговязой и самонадеянной Берте. Но различались девушки не только ростом. С тонкими губами Берты контрастировали выделявшиеся на тронутом загаром лице по-детски пухлые Сонины губы. Ее голову, словно косынкой, покрывали жесткие волосы, курчавые, как у каракулевого барашка. Представляясь, Соня гордо называла себя: «одэсситка». Словно облизывая сладкую конфету, она восторженно рассказывала нам, какой неповторимо красивой до войны была ее родная Одесса, которую одесситы нежно называют «мамой». Из осажденного врагом города, из одесского порта тысячи людей покидали родной берег морским маршрутом, который теперь называют круизным. Только любоваться воспетыми Айвазовским переменчивыми красками Черного моря им не довелось. На уходившие от причала суда с хищным воем с небес бросались немецкие самолеты. От бомб и пуль закипала вода. На глазах нашей новой одноклассницы скрывались под волнами охваченные дымом и пламенем корабли с беженцами. На поверхности бултыхались, словно мустанги, задавшиеся злобной целью сбросить с себя седоков, перегруженные людьми спасательные шлюпки. На судне, которое на долгие дни стало Сонинным домом, тоже были убитые и раненые. Только вблизи кавказского берега в небе появились краснозвездные «ястребки» и отогнали стервятников от судна.

Коканд, находящийся, мягко говоря, вдали от моря, Соню, повидавшую ад, вовсе не привлекал. Помню ее характерный одесский говорок. Наверно, запомнился мне он еще и потому, что похожим говорком выделялись Катя — девушка из портового города Бердянска, и еще парнишка, уже к зиме объявившийся в нашем классе. Звали его Иван Деркач. Ваня был нашим сверстником, но казался взрослеем. Может быть потому, что

умел делать то, чего никто из нас не умел. Он был из города с незнакомым мне тогда именем Керчь. В его рассказах этот город, как Одесса у Сони и Бердянск у Кати, тоже был самым красивым в мире. Благополучный город Коканд представлялся ему тоскливой провинцией. Да и учиться ему вовсе не хотелось. Какие могут быть занятия, когда идет война и в родной Керчи, из которой его зачем-то вывезла мать, уже хозяинчатают немцы? Ваня Деркач удивлял нас тем, что мастерски подделывал в дневнике оценки и подписи учителей. Еще он умел обычные ластики и деревяшки изящным перочинным ножиком превращать в различные забавные печатки и штампы. С этим ножиком он никогда не расставался. Иван, несомненно, обладал оригинальным талантом художника, и за это мы его уважали. Но заботила его не наша оценка его художеств. Интересовали его только ежедневные сводки Совинформбюро, в которых иногда мелькали сообщения о смелых и дерзких действиях крымских партизан. Партизанами он бредил. Только о них говорил. Больше всего боялся, что война скоро закончится и он не успеет помочь партизанам. Мы знали: он ходил в военкомат и просил направить его в партизанский отряд. Он станет радиистом. Его умение копировать подписи и печати в отряде, несомненно, пригодится. Но в военкомате упрямо повторяли, что в партизанах есть кому воевать, а он еще не вышел возрастом. После каждого визита в военкомат парень все больше мрачнел. Учителя, столкнувшись с его полным безразличием к учебе, не однажды грозились оставить его на второй год. Но это его мало трогало. В Коканде он знал лишь один адрес — военкомат.

И однажды мы его не увидели в школе. Перед этим кому-то он по секрету сказал, что наконец своего добился. Только это — военная тайна, о которой никто не должен знать. Но и без рассказа мы поняли: Ваня возвращается в родной Крым к партизанам. Теперь мы, его одноклассники, выискивали в сводках Совинформбюро сообщения о действиях крымских партизан. Воображение рисовало нам катакомбы, где под закоптевшими сводами скрываются вернувшиеся с боевых операций партизаны. С ними — наш школьный друг. Освещенный трепещущим пламенем фитиля, опущенного в снарядную гильзу, он старательно готовит для разведчиков фальшивые немецкие документы. Так ли было на самом деле? Попал ли Ваня Деркач к партизанам? Отличился ли в сражениях с фашистами? Наконец, дожил ли до Победы? Этого я не знаю. Но знаю, наш кокандский одноклассник был настоящим человеком. Без него класс будто осиротел.

С Большой Бертой я продолжал сидеть за одной партой. Чуть ли не вдвое выше меня, во всяком случае, на год или два старше, она относилась ко мне покровительно. Но почему великовозрастная девица, почти что невеста, оказалась ученицей нашего седьмого класса? А потому, что от советской школьной программы она успела отстать, пребывая с родителями на лесоразработках. Надо сказать, моей соседкой по парте она была недолго. Однажды Берта сообщила куратору, что большеходить в школу не будет, потому что в ее жизни грядут перемены. Герта Густавна выслушала это с явным облегчением и совершенно искренно пожелала Берте счастья.

А еще был в нашем классе Саша, эвакуированный из Москвы. Разбитной, смыщеный в жизненных ситуациях парень. Его мать почему-то ставила ему в пример меня, скромного могилевского мальчика. А скромность моя тогда происходила от того, что я быстро рос и брюки, в которых я покидал родной город, стремительно становились короткими. Сменить их было не на что, и, чтобы не казаться смешным, я опускал пояс все ниже и ниже. Это обстоятельство делало меня стеснительным. И, возможно, в чьих-то глазах — скромным. Мой же столичный друг Саша щеголял в модных тогда «клешевых» брюках.

Как перелетные птицы в теплые края, вслед за нами слетались в Коканд различные актеры и целые театральные коллективы. Они выступали в городском саду на сцене Зеленого театра и в единственном в Коканде приличном зале нефтяного

техникума, того самого, в который я поступил после седьмого класса. Колossalным успехом у нас пользовался оказавшийся в эвакуации Ростовский театр комедии. Звездой его был актер с красивой заграничной фамилией Леондор. Интересно, спустя много лет, когда я уже был студентом ВГИКа, к нам на экономический факультет поступил парень с этой застрявшей в моей памяти солнечной фамилией Леондор. Конечно, мы познакомились. Он оказался сыном того самого комедийного актера, который своей игрой на сцене украшал нашу эвакуационную жизнь. Мой друг Саша высоко ценил талант Леондора. И еще он восхищался певицей Лилией Гриценко, которая выступала с исполнением романсов и песен. «Голос хороший, — утверждал он. — Лицо красивое, фигура — прекрасная. Но вот ноги... Ноги толстоваты». Я слушал и удивлялся его взрослости. Во мне тогда еще не проснулось то, что вызывает замирание сердца от взгляда на красивые женские ноги или фигуру. Слава Богу, потом это пришло, и я перестал ощущать свою ущербность.

То ли отец, то ли любимый Сашин дядя был парикмахером. Но не обычным, который обслуживает клиентов в парикмахерской, а допущенным до бритья и стрижки государственных лиц. Он являлся персональным мастером то ли наркома иностранных дел, то ли его заместителя. От осведомленного во многих областях Саши я с удивлением узнал, что наши руководители за границу выезжают со своими поварами, докторами и парикмахерами. Для моего провинциального разумения это было ново и необычно. Ну, а привозил допущенный парикмахер из дальних поездок гламурные, как сегодня говорят, журналы с изображением красивых див. И в них мой друг очень тонко разбирался, опять же вызывая во мне не зависть, а уважение.

Но вернусь к классу. Не успел я погрузиться в тонкости грамматики «фашистского» языка, которым пыталась нашпиговать мои мозги милая Герта Густавна, как уроки немецкого стали тормозиться. Объяснение стандартное: учительница заболела. Наверно, не найти нигде в стране, да и в других странах тоже, такой школы, где отмена урока из-за болезни учителя не вызывала бы взрыва необузданной радости. Так уж устроена детская психика. Но вот куратор пропустила еще несколько своих уроков. Осведомленные одноклассники шептались о том, что видели Герту Густавну и что она вовсе не болеет. От родителей они слышали, что есть какой-то приказ выселить из города всех немцев. Зачем? Почему? Шла война и этих вопросов никто не смел задавать. Так решено. Значит, так надо. В списки тех, кого должны куда-то вывозить из узбекского города Коканда, попала и Герта Густавна. Наша учительница, которая всю жизнь прожила здесь, которая выучила и воспитала несколько поколений учеников русской школы номер два. Ее знали и уважали родители учеников и, что не менее важно, сами ученики.

Я помню, как печальная Герта Густавна прощалась с нашим классом. Она держалась достойно. Да, придется уезжать из родного дома. Но она уверена, что это ненадолго, что это недоразумение и она не раз еще встретится со своими питомцами. А назавтра, в назначенное время, где-то на запасных путях железнодорожной станции, как в июне сорок первого у нас в Могилеве, стоял эшелон, готовый к отправке. Провожать в неизвестность Герту Густавну отправился весь класс. Многие пришли с родителями. Они несли посудины, пакеты с какими-то яствами, фрукты из своих садов — все, чем могли поддержать милую Герту Густавну, напоминая о признании тех, для кого она осталась близким человеком. Так было. Не знаю, куда завезли ее и вернулась ли из своей «эвакуации» Герта Густавна. Из Коканда я уехал в сорок третьем, когда еще шла война, и тогда со словом «реабилитация» в нашей стране еще не были знакомы. Если она дожила до реабилитации, то могла вернуться в Коканд, а могла и получить право на выезд на свою историческую родину, где все говорят на языке, которому она столько лет учila мальчиков и девочек в узбекском городе Коканде.

Многое повидав уже после войны, вспоминая о былом, я не однажды возвращался памятью к проводам Герты Густавны. Сердечный порыв ее воспитанников, в

военное время отправившихся провожать свою учительницу, высылаемую из города за то, что она генетически принадлежала к тому племени, с которым шла жестокая война, в глазах тогдашней власти был очевидной демонстрацией. И вот эта демонстрация наполняет мое сердце гордостью за моих одноклассников, которые, безусловно, знали Герту Густавну лучше, чем те, кто бездумно осуществил ту дикую акцию. И, конечно, гордость за милую Герту Густавну, которая, послушно покинув родной город, оставила по себе светлую и добрую память.

Мне было четырнадцать лет, и в душе моей уже робко просыпался интерес к тем, кого называют противоположным полом. Наверно, это закономерно. Но почему-то мой интерес будили девушки и женщины, которые были значительно старше меня. Очень нравилась мне учительница биологии. Она была похожа на девчонку. На лоб спадала соломенная челка. Ходила она в девичьем сарафане, который держался на пересекающихся широких шлейках. Красиво улыбалась и вообще была красивой. Однажды я шел по улице и вдруг увидел, как от водопроводной колонки навстречу мне легкой, изящной походкой шла она, неся на плечах деревенское коромысло с двумя полными ведрами воды. Почему-то я застеснялся и быстро, пока она меня не увидела, перешел на противоположную сторону. Вот такой, легко удерживающей на плечах коромысло с тяжелыми ведрами, запомнилась она мне и даже приснилась. Мальчишкам нашего класса, которые жили с ней по соседству, она была подружкой. Но мне казалось, что ко мне она почему-то относилась иначе. При всем при том она была строгой учительницей. Для воздействия на бездельников был у нее свой педагогический метод. Ученика, не подготовившегося к уроку и заработавшего законную двойку, она терзала тем, что долго потом не вызывала, надолго лишая возможности исправить позорную отметку.

В классе было больше тридцати учеников. И по теории вероятности шансов на то, что учительница вспомнит о двоичнике и скоро вызовет его к доске, действительно было мало. А раз так, то некоторые сообразительные ученики, заработав однажды «двойку», демонстративно переставали готовиться к следующим урокам. Однажды двоичником оказался я. Кто-то в тот день не передал мне дефицитный учебник, к уроку я не подготовился, и «двойка» была вполне заслуженной. По примеру других учеников я понял, что теперь нескоро представится шанс исправить отметку. А это значит, что готовиться к следующему уроку не обязательно. Но учительница, к удивлению всего класса, следующий урок начала с того, что вызвала к доске меня. Так я заработал вторую «двойку». Была еще и третья, прежде чем я стал регулярно готовиться к занятиям. Думаю, что она, умница и красавица, чувствовала, понимала, что этот застенчивый заикающийся парнишка к ней в какой-то мере неравнодушен. Вот и решила меня проучить.

Надо сказать, что бездельником я не был. Много времени проводил в городской библиотеке, разыскивая литературу по изучаемым предметам. Именно в библиотеке я самостоятельно разобрался с алгебраическими уравнениями, понять которые почему-то сразу не удавалось. Еще помню — к уроку географии, посвященному Курской магнитной аномалии, в библиотеке я подготовился более чем основательно. И когда меня вызвали к доске, обрадовался — был уверен, что «попаду в точку». Я рассказал все, что вычитал из книг: в той местности люди всегда с удивлением наблюдали отклонение магнитной стрелки, которая обычно должна показывать на север. Это и называли «магнитной аномалией». Советский академик Губкин установил: аномалия вызвана тем, что тамошние недра нашпигованы огромными запасами железной руды. Но учительница прервала меня: «Я этого на уроке не говорила. Откуда ты это взял?» Я рассказал, что читал в библиотеке. «Садись». Заработал тогда я «тройку». Было страшно обидно. Оказалось, что я узнал о далекой Курской магнитной аномалии больше, чем знала моя учительница. И это ей совсем не понравилось. Моя любознательность не была вознаграждена.

После уроков собирали металлом. Воюющей стране для оборонных заводов нужен был металл. Мы ходили по улицам старого города, стучали в калитки глинобитных заборов, за которыми располагались дома. Трофеи наши были значительны. Люди охотно отдавали нам старые рукомойники, медные тазы, в которых когда-то варили варенье, проржавевшие спинки металлических кроватей, давно отслужившие свой век мясорубки, овощные терки, разъеденные ржавчиной грабли. Запомнилась мне одна женщина. Она догнала меня и протянула небольшой металлический прутик: «Может, хоть одну пулю отольют», — с надеждой сказала она.

В сентябре вместо занятий старшие классы нашей школы отправили в кишлак. К каникулам прибавлялся еще целый месяц для того, чтобы мы в колхозе заменили тех, кто ушел воевать. Действительно, молодых людей в кишлаке мы не встречали. Старух — тоже. Они оставались в своих дворах, укрытых глинобитными стенами. В уличной пыли бегали за нами детишки. Мальчики, которым до какого-то возраста по исламским традициям оставляли на голове косичку. Хозяйство, расположенное недалеко от «Каракум-реки» — Большого Ферганского канала имени товарища Сталина, занималось выращиванием хлопчатника. Хлопчатник был монокультурой. Она отбирала все поля и все силы у женщин, которые поздней осенью отправлялись собирать распутившиеся ватные бутоны. Возможно, что-то еще выращивали в том благодатном климате на орошаемых каналом полях. Но главным был хлопчатник. Именно с ним здесь связывали все планы и надежды на благоденствие. Но где-то далеко на западе огромной страны гремела война, и какой-то участок поля благородно отвели под яровую злаковую культуру — ячмень. Как высевали его, естественно, я не видел. Догадываюсь, что сеялок в колхозе не было. Да и другой техники тоже. Первое впечатление от здешнего сельского хозяйства вернуло меня к страницам учебника древней истории. Там была изображена соха. Ее, настоящую соху, я с удивлением увидел на колхозном поле. Тянул соху вол. Подгонял его, оставляя сзади узкую полосу перевернутой земли, седобородый босоногий старик, словно сошедший с обнаруженной в раскопках фрески.

Нам дали участок поля, где поспел ячмень. Поле золотилось, и с коренастых стеблей свисали упругие колосья. Нам предстояло убрать урожай. Но как? У земледельцев, прежде не знавших этой культуры, ни серпов, ни кос не было. Может, и были, но нам такую сложную сельхозтехнику доверить побоялись. Бригадир — низкорослый старичок, почти что лилипут. Зная по-русски не больше трех слов, он, словно мим, показывал нам, как следует убирать обильный урожай. Оказалось — совсем просто. Надо выдергивать из земли один за другим стебли с колосьями и связывать их в снопики. Веселое занятие для двадцатого века! Но к концу дня, как ни странно, жатва у нас состоялась. Руки горели. Но мы были довольны своей работой. Любовались кучками снопиков на оголенном нами участке поля.

И вот, когда мы уже собирались отправиться на отдых, на поле появился бригадир, которому мы с гордостью продемонстрировали результаты нашего самоотверженного труда. Старый коротконогий узбек в черной тюбетейке, скрывавшей лысину, напоминал отправившуюся в поле утку. За ним тащился выводок его внуков — мал мала меньше. Оценив проделанное, бригадир похвалил нас: «Яхши. — Узбекский язык мы уже понимали. Яхши — это хорошо». Мы гордились: старый бригадир похвалил нас! Детишки, следовавшие за ним, по-русски не понимали, но, оказалось, прекрасно знали, что надо делать. У всех в руках были ножницы, которыми они со снопов начали отрезать колоски, наполненные янтарными зернами уродившегося ячменя. Сразу мы даже не поняли, что происходит. А когда до нас дошел циничный смысл того что мы видели, мы стали кричать. Кажется, тогда еще не было в стране закона, по которомусылали в ГУЛАГ мальчишек за поднятые с земли колоски. Но мы понимали, что нашествие детишек с ножницами перечеркивает весь результат нашего самоотверженного труда, направленного на поддержку воюющей Родины. Что-то кричали бригади-

ру. Стариk ничего нам не ответил, но что-то сказал своим питомцам. Они аккуратно уложили отрезанные колоски в заготовленный мешочек и послушно засеменили за ним, покидавшим поле. Впрочем, не уверен, что нам удалось отстоять от хищения колхозный урожай. Больше на ячменное поле нас не посылали. А что там делала семейка бригадира без нас — мы могли только предполагать.

Зато ждало нас бескрайнее другое поле, где предстояла изнурительная работа по прореживанию ростков хлопчатника. Уж тут судьба колхозного урожая целиком зависела только от нас. Я уже говорил, что колхоз, в котором мы трудились, был привязан к Большому Ферганскому каналу имени товарища Сталина. От него бесчисленные рукотворные ручейки — арыки разносili растениям в поля благотворную влагу. Стояла жаркая пора, и в один такой знойный день учителя решили предоставить нам возможность отдохнуть возле воды. Не знаю как сейчас, а тогда по берегам канала растительности не было. Разве что кое-где на большом расстоянии друг от друга торчала пара случайных кустиков. Пологих берегов, как у обычной реки, бегущей по равнине, тоже не было. «Каракум-река» — это многокилометровая канава, вырытая людьми. Ее берега сразу круто обрывались, как в яму. Вода, где-то стекавшая с тянь-шаньских ледников, оставалась холодной почти на всем протяжении искусственной реки. В этом я убедился, когда вслед за всеми, оттолкнувшись от одинокого кустика, бултыхнулся в воду. Школьники резвились в воде. Они умели плавать. Сказать, что плавать я не умею, я постеснялся. Поток, холодный и стремительный, понес меня. И я даже подумал, что уже умею плавать как все. Впереди торчал второй кустик, я рассчитывал за него ухватиться, чтобы выбраться на берег. Ребята продолжали резвиться в воде. Как всегда в таких случаях, кто-то пискливо кричал: «Ой, тону, помогите!» Но все знали, что это шутка, и внимания на такие призывы о помощи, естественно, не обращали. Поток стремительнонес меня ко второму кустику. Вот он уже совсем близко. Но ухватиться за него я не успел, меня понесло дальше. А впереди не было ничего такого, за что можно было бы ухватиться, чтобы выбраться из этой бесконечной «ямы». Я отчетливо понял, что сам из воды не выберусь. Оставалось только одно — звать кого-то на помощь. И я стал отчаянно кричать: «Помогите! Помогите! Тону!» Но пловцы, забавляясь, весело кувыркались в воде и мой крик приняли за забаву очередного шутника. Я уже начинаю захлебываться, мне кажется, что к ногам у меня подвешен камень, который тянет ко дну. И тогда я начинаю орать по-новому: «Серьезно тону!» Наконец на мой странный вопль обратили внимание десятиклассники, забравшиеся на перекинутый через канал мостик передохнуть. Кто-то из них бросился в воду и помог мне взобраться на берег. Было стыдно и обидно. С тех пор в школе закрепилась за мной обидная кличка: «Серьезно тону».

Разумеется, все это было давно, когда я был еще школьником. И теперь, делясь с молодыми своим жизненным опытом, вспоминая о рискованных приключениях, которых было в моей жизни предостаточно, иногда я рассказываю и о «Каракум-реке» — знаменитом канале, вырытом кетменями тысяч колхозников в горячей пустыне за пару лет до войны. Своим скромным опытом подтверждая, что этот канал принес новую жизнь в пустыню Кара-Кум, я с шутливой гордостью объявляю, что однажды даже тонул в Большом Ферганском канале имени товарища Сталина. Мне еще не встречался никто, кто тоже мог бы этим похвастать.

Итак, Герта Густавна уехала. И первое время другого преподавателя немецкого языка у нас не было. Но свято место пусто не бывает. И однажды директор школы ввела в наш класс нового учителя. Он, беженец из Польши, стал у нас преподавателем «фашистского» языка, к которому мы вовсе не тянулись. Не припомню, как звали нового учителя. Это был неустроенный, вышибленный обстоятельствами из жизненного седла человек — польский еврей, уже немолодой, с дрожащими руками и безразличным взглядом выцветших глаз. Он был весь словно устремлен в себя. Очевидно, он не вписывался в ситуацию, которая забросила его в далекую от Польши

Среднюю Азию. Наверно, на немецком он говорил лучше, чем по-русски, но так или иначе мы его понимали. Он не был многословен, знакомил нас с немецкой грамматикой.

Класс, воспитанный и подготовленный Гертой Густавной, бойко отвечал учителю на все задаваемые по-немецки вопросы. Только два ученика были девственно чисты по отношению к немецкой речи. Это Саша и я. Что делать? Практичный Саша рассказал: его мама договорилась с учителем, что он будет заниматься с нами отдельно. Конечно, за эти приватные уроки ему полагался гонорар. Учитель сказал, что деньги ему не нужны. Ему нужен хлеб. Хлеб тогда уже отпускали в магазинах по карточкам. Естественно, его не хватало. Моя мать согласилась. И мы стали выкраивать, экономить на той скромной дозе, которая нам полагалась. С учителем мы занимались несколько раз. Что-то я, очевидно, усвоил. Потому что в журнале появилась «четверка». Сашины успехи учитель оценил «пятеркой». Свой успех в немецком Саша объяснил мне просто: «Я принес учителю две буханки, а ты только одну». Эвакуированная из Москвы Сашина семья в экзотичном Коканде беженцами себя нечувствовала. Вдали от дома на московской Басманной улице они вели себя гораздо уверенней, чем мы, покинувшие все в городе, где теперь хозяйничают фашисты.

Но занятия с учителем очень скоро прекратились. Он умер. Болезнь, точившая его, в конце концов одержала над ним верх и избавила нас от изучения ненавистного «фашистского языка». Может быть, тот хлеб, что он заработал, давая нам уроки, немного продлил его жизнь? У меня он и сейчас стоит перед глазами — жалкий и беспомощный бледнолицый человек, способный учить других, но не научившийся выживать в той непростой жизни, которую уготовила всем нам война.

Зима в южном Коканде, можно сказать, мягкая. Дувшие с гор ветры разносили моросящую сырость. Она проникала сквозь одежду, доставала буквально до костей. Между тем, на градуснике, закрепленном на здании горсовета, ртутный столбик ниже деления плюс один по Цельсию не опускался.

Я ходил с красными распухшими руками. Старый фельдшер, оказавшийся нашим земляком, поставил диагноз: обморожение первой степени. Как? Ведь в Могилеве зимой стоят настоящие морозы, но там ничего подобного не случалось! Фельдшер объяснил: все дело в питании. Голодание сделало организм ослабленным. Он реагирует даже на такой относительный холод.

Примерно тогда же, помню, стоял я у палатки в очереди за батоном хлеба. Его еще с лета стали отпускать по карточкам. Вдруг к женщине, только что получившей батон и не успевшей убрать его в сумку, неожиданно подбежал босоногий парнишка в спущенной холщовой рубахе, выхватил батон и бросился наутек. За ним погнались стоявшие в очереди мужчины. Когда парнишка понял, что преследователи вот-вот его настигнут, он остановился и стал жадно есть хлеб. Остатки батона у него отобрали. А вот бить не стали. Пожалели голодного паренька.

Когда мы приехали в Коканд, мы были чуть ли не первыми беженцами, заброшенными войной в среднеазиатские дали. Но очень скоро улицы города заполнили люди из многих городов Украины и Белоруссии. А к зиме здесь появилось много москвичей. Появились, как я уже сказал, и испанские дети, которых во время гражданской войны испанские коммунисты отправили в Советский Союз. Эти дети были не очень общительны. У них были свои испанские воспитательницы, которые помогали им вдали от родины хранить родной язык и национальные традиции. Мы, помнившие о гражданской войне в Испании и успевшие увидеть кинохронику тех дней, относились к этим детям с интересом и даже с каким-то преклонением.

А вот беженцы из Польши — польские евреи, не испорченные десятилетиями коммунистического перевоспитания, являясь типичным «мелкобуржуазным элементом», удивляли нас, показывая чудеса приспособляемости к жизни в новых условиях.

В 1939-м году, освободив Западную Белоруссию и Западную Украину, советская власть для социального перевоспитания этот «трофейный» мелкобуржуазный элемент направила на лесоповалы республики Коми и еще дальше — в сибирские поселения. Нападение Германии на Советский Союз неожиданно изменило судьбу этих людей. Не успев за полтора года окончательно отрешиться от своей мелкобуржуазной предпримчивости, они, обретя вдруг свободу, потянулись на теплый юг и довольно быстро здесь освоились. Сообразив, что узбекские сухофрукты, которыми были завалены рынки в Коканде и в других городах, где-то на Урале и дальше, на просторах Сибири, окажутся в большой цене, «недовоспитанные» польские граждане, восполняя промахи советской торговли военного времени, приспособились возить их в те далекие места. А с Урала, в обратную дорогу брали ручные часы, которые в Средней Азии являлись самым желанным дефицитом. Конечно, занятие тем, что во всем мире называют коммерцией, было для них делом привычным. Единственное, чего не могли эти люди понять: почему их нелегкий, но, безусловно, полезный труд нелестно называют спекуляцией и почему этот труд в советской стране уголовно наказуем.

Словом, польские граждане развернули коммерцию, до которой в военное время у государственной торговли руки не доходили. А вот в руках у милицейской организации под названием ОБХС новоявленные коммерсанты оказывались часто. Как они выпутывались из рук блюстителей советских законов, они не рассказывали. Но свои коммерческие поездки не прекращали.

Да и в самом Коканде предпримчивые люди находили чем заняться. Например, на улицах прохожим, особенно детям, предлагали завлекательные бумажные фантики, в которые были упакованы жареные ядра абрикосовых косточек. Казалось бы, что может быть проще? Но до появления в городе новоявленных коммерсантов заняться таким, говоря современным языком, бизнесом, здесь никому в голову не приходило.

Надо признать, что при всех сложностях, с которыми столкнулись эти люди, выросшие в другой экономической системе, они понимали, что Советский Союз спас их от верной гибели. Хотя страшное слово «Холокост» еще нигде тогда не звучало. Оказавшись в Советском Союзе, по крайней мере, в то, военное время, они были искренними патриотами нашей страны. Спустя много лет, на отдыхе в Карловых Варах я встретил пару американцев, которые оказались польскими евреями. В 1939-м, когда Красная армия вошла на территорию Западной Украины и Белоруссии, их посыпали на лесоповал в Коми АССР и в другие не менее «романтичные» места. К моему изумлению, они с колоссальной нежностью вспоминали ту пору. Таежные закаты, морошку — ягоду, которая спасала от цинги. Тогда они были молодыми. Там у них зародилась любовь. Даже небольшая сутулость, образовавшаяся после того, как на неловкого парня свалилось подпиленное дерево, не омрачала его воспоминаний о стране, которая спасла их тем, что вывезла в 1939-м из Польши.

Я уже говорил, что после седьмого класса поступил в грозненский нефтяной техникум, эвакуированный в Коканд. Техникум занимал лучшее здание в городе. А главное — при нем был самый большой зал, который стал театральным. Мое обучение там совпало с гастролями Московского театра имени Ленинского комсомола. Им руководил великий Берсенев. В техникуме был у нас военрук. Строгий мужчина — чеченец. Он придумал для нас замечательную вещь. Приказом по техникуму, в связи с Великой Отечественной войной, всех студентов он объявил переведенными на военное положение. Это означало, что после занятий нам торжественно вручали деревянные макеты винтовок, нарукавные красные повязки, и мы отправлялись патрулировать здание. Естественно, основным объектом патрулирования становился театральный зал. Короче, все представления были для нас бесплатными. Пьесу Симонова «Русские люди» я видел не менее десяти раз. Знал наизусть монолог Глобы, которого отправляли в разведку в тыл к немцам. Глоба покидал сцену с песней: «Соловей, соловей, пташечка, канареечка жалобно поет...» Проводив его, к штабисту

обращался генерал: «Ты видал, аль не видал, полковник, как русские люди на смерть идут?»

Помню встречу нового 1943 года. Вечер вели артист вахтанговского театра Николай Гриценко и его сестра Лилия. С блокнотиком в руках она пела песню, слова которой получила чуть ли не перед самым концертом, — «Землянку». Все верили, что новый год станет годом окончания войны. Союзники откроют обещанный второй фронт, и Гитлеру будет капут. «Землянка» придала удивительную ауру этому вечеру. «...Бьется в тесной печурке огонь, на поленьях смола, как слеза. И поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза...» У всех, кто тогда собрался в нашем украшенном к новому году техникуме, кто-то родной или близкий был далеко на фронте. Провозглашая тосты, говорили о скорой победе. И в этой песне, рожденной где-то в подмосковных снегах, слышались и тоска, и надежда. «До тебя мне дойти нелегко, а до смерти — четыре шага». И каждый видел: там, далеко, в занесенной снегами землянке сейчас тоскует, думает о любимой родной человек. Суждено ли ему выжить, преодолеть эти страшные четыре шага? Не стесняясь, люди плакали. Ставшую вдруг родной Лилию Гриценко со сцены не отпускали. Она несколько раз пела «Землянку» и каждый раз — как будто впервые. Потом, и в войну и после, я много раз слышал эту колющую душу песню. Но почему-то всегда ее пели мужчины. Знаменитые, выдающиеся артисты с прекрасными голосами. Конечно, их исполнение всякий раз волновало. Но я до сих пор слышу тот тоскующий женский голос — голос Лилии Гриценко.

В сорок третьем году война не кончилась. Не закончится она и в сорок четвертом. Но в воздухе уже витал навеянный сталинградским сражением дух неизбежно близившейся Победы. После Сталинграда в Москву стали возвращаться эвакуированные предприятия. Менделеевский институт, в котором училась моя сестра, тоже готовился к возвращению в Москву. Увозили в Москву и студентов. Им даже разрешали брать с собой семьи — родителей, братьев, сестер. В эвакуированном из Грозного нефтяном техникуме к тому времени я уже успел «нахватать» пятерок. Здесь, как и год назад в школе, меня объявили перспективным учеником и потому отказывались отпускать в Москву. И все же вместе с сестрой и матерью я оказался в «менделеевском поезде», торжественно покидавшем Коканд.

В Москве я поступил в недавно созданный авиамоторный техникум, который спустя три года закончил с отличием. А тогда, в сорок третьем, летом, как и в кокандской школе, нас отправили в колхоз в подмосковный Зарайский район. Забавно: здесь, как и в узбекском кишлаке, наша группа попала на уборку хлебов. Но и хлеба здесь росли другие, и поля под ними были другие, и конные жатки в наших глазах выглядели, как мощные современные комбайны. В колхозе я специализировался на укладке снопов в скирды, в которых собранный урожай предстояло хранить до обмолота чуть ли не всю зиму. Скирды мы клали высотой с двух- или трехэтажный дом. Самым приятным было, завершив укладку снопов, победно скользя по ним, спуститься на землю. Иногда на скирдовке вместе с нами работали присланные из госпиталя, который размещался в Зарайске, поправлявшиеся после ранений лейтенанты. В колхоз медики командировали их как в санаторий. Вместе с ними мы размышили о перипетиях сражений у Курской дуги. В августе на вершине только что выстроенного скирда услышали мы о новой победе Советской армии, которая окончательно определила исход войны. Мгновенно мы все соскользнули вниз. Кто-то принес лейтенантам напиток, глотнув который, они, еще не до конца оправившиеся от ранений, мгновенно захмелели. Вечером, словно северное сияние, на небе мы видели сполохи гремевшего в Москве первого салюта. До великой Победы оставалось еще почти полтора года, и до нее раненые лейтенанты, окончательно восстановившие здоровье на нашей совместной работе, могли не дожить. Они это понимали лучше нас. А в октябре с мешками полученных на трудодни овощей и зерна мы возвращались в Москву. Наступала новая пора — московская жизнь.

*Вячеслав Запольских*

## **Аллилуйя таежная**

### *Уральский Афон*

Туда зачем-то карабкается из последних силенок похмельный бомж и туда же, взыскуя неизъяснимого, въезжает на автобусе-«мерсе» многосведущий сенатор. Поэты гурьбой высыпают из легковушек, а степенные прозаики и литературоведы, совершив размеренное пешее восхождение, сбоят сердечный ритм воспоминанием о недавнем кишении калек и безумцев, прибежищем которых было это место в советские времена.

### *Белая гора*

Живописцы предпочитают останавливаться с мольбертами на подступах, снизу панорамируя открывающийся вид в обрамлении летней зелени или в белых кружевах зимы. Над названием долго задумываться не приходится — «Путь к храму».

Птицы и вертолеты, пролетая мимо, описывают почтительный круг.

А это ведь не столь уж намоленное место. Не пещерские катакомбы. Не в древних летописях прославленная пустынь. Даже политической волей Петра учрежденная Александро-Невская лавра по сравнению с Белогорским Свято-Николаевским монастырем — чуть не ветхозаветное наследие. Первый крест из сырого дерева здесь поставили в 1890 году. Монастырь открылся семь лет спустя. Но сравнивают Белую гору аж с Афоном! Причем даже те, кто на греческом Афоне бывал.

Паломники — а посещало Белую гору до семидесяти тысяч человек из всех уголков России ежегодно — поклонялись частицам мощей священномучеников, переданным из других обителей для учреждаемого на далеком Урале монастыря. Из Москвы архимандрит Павел прислал икону XVII века Строгановской школы, образ святителя Николая. Палестинский подарок — образ Святой Троицы, писанный на куске мамврийского дуба, реликта той самой дубравы, близ которой Аврааму явились в виде странников три ангела. Пермская епархия командировала в северные вычегодские земли художника, и тот обнаружил в одном из сел

---

*Запольских Вячеслав Николаевич* — прозаик, публицист, живет и работает в Перми. Публикации в «Дружбе народов»: «В зерцале пермских вод» (№ 1, 2013); «Покатая глина» (№ 1, 2014).

икону «Святой Спас», написанную самим просветителем и крестителем Пермской земли святым Стефаном в XIV веке. Найденные редкости воспроизводились копиями для Белогорского монастыря.

Близко подступало то время, когда Белой горе суждено было самой произвести омытые кровью святыни, дать своих преподобномучеников. Только моши их вряд ли когда-нибудь откроются для почитания. Игумена и монахов казнили способами, перед которыми блекнут человекоубийственные фантазии Нерона, и места их упокоения неизвестны, как того и хотелось палачам. Чаще всего не земля становилась их могилой, а камские воды.

Но даже не зная в подробностях трагической истории монастыря, не находя здесь былого велелепия (реставрация храмов и построек, новое сплочение наследников займут годы), каждый, кто хоть минуту пробудет на белогорской высоте, почувствует и поймет неслучайность своего здесь появления, когда в этой минуте вдруг соединяются прошлое и будущее, а глаз объемлет открывающееся пространство в космической беспредельной ипостаси.

Скитальцы и странники, ищащие закодированный в школьной географии земной вертоград, шастают по следам сокрытого Китежа, обетованного Беловодья. А святые места могут открыться за ближней околицей. Ждут только случая, чтоб их открыли.

Гора дышит. На соседних пригорках и горушках ельник и пихтовник зимой стоит, чуть припорощенный, а на Белой деревья будто густыми сливками облиты, обросли пышными инеями, как от морозного выдоха. Большой купол Крестовоздвиженского собора матово лучится, анодированный поверх золота студеным серебром, прозрачным колючим бархатом обтянуты до ангины выставленные колокола на временной звоннице. Если ударить — увидишь, как летит и опадает звук. На свежих сугробах, на ровном насте неутихающий ветер выращивает эфемерные ветвящиеся кристаллы, временно отменяющие законы симметрии и равновесия. Снежные кораллы, змеясь, растут вверх по фасаду собора. Гора — ледовитый риф. Айсберг, на котором никогда не тает первый снежок — не лежок.

Здесь, стоя на обрыве, вдруг можно остаться наедине с самим собой. Осознать, что вокруг горы нет ни единого признака существования человеческой расы, в оконце только дикое пространство, слаженный рельеф последней тектонической гримасы палеозоя, ныряющие в лощины мглистые облака, дремучая щетина леса. Время остановилось. Зато пространство пребывает в метаморфозах, озаряемое и омрачаемое резкими переменами погоды, неритмичной чередой сумрака и сияния.

Летом дыхание горы удивляет метеорологов тягостной сушью, непредсказуемыми ливнями. Что там, в ее бронхах? Святое место и в дохристианскую эпоху — а в этом краю значит: в первобытную — не могло не считаться местом сакральным. Есть предание, будто в баснословные времена славяне со всей Евразии раз в полвека собирались здесь на празднества. Живут легенды о подземных храмах гонимых староверов. Может статься, нас еще ожидают археологические сенсации, сталактитовые колонны биармийских святилищ в хтонических пустотах. Обширные карстовые гроты вполне вероятны, знаменитая кунгурская ледяная пещера — в полусотне километров по прямой. В окрестностях залегают медистые песчаники, петровско-екатерининский век расплодил здесь медеплавильные заводики. Муравьиные штреки рудознатцев

тоже буровили темные недра Белой горы. А уж монашеские пещерные кельи да тайные ходы... Здесь и легендарных преданий немало, и документальных достоверностей. Подземный пятиверстный ход точно соединял обитель с отдалившимся обок горы Серафимо-Алексеевским скитом. Шел тайный лаз из Крестовоздвиженского собора к часовне, что стояла на склоне горы. На склоне же, у речки Бырмы, был вырыт пещерный храм. Еще в пятидесятые годы прошлого века жители окрестных сел будто бы видывали выбиравшихся из замаскированных нор монахов, вопреки десятилетиям атеистических репрессий подспудно дливших скрытую от мира жизнь запрещенной обители.

Почему-то именно на изломе веков, накануне предошущаемых страшных перемен внутреннему взору народа открылось на загадочной священной горе видение твердыни православия. Нельзя достоверно установить, кто именно задумал строить монастырь. Похоже, мысль эта озарила многих и почти одновременно. Невозможно вычислить конкретное авторство архitectурного проекта Крестовоздвиженского храма — по мере строительства первоначальный зодческий замысел менялся кардинально. Непонятно, как на малообжитом диком Урале смогли за пятнадцать смутных быстротекущих лет совершить на пустом дремучем месте чудо, преображающее природу и человеческую душу. Подвиг строительства громады Крестовоздвиженского собора, вмещающего до пяти тысяч человек, сопоставим с возведением пирамид всеми цивилизационными ресурсами фараонов Египта.

Будто по Аристотелевой телеологии цель сама породила причины своего достижения, неподвижное горное время и переменчивое место наконец-то реализовали свое извечное предназначение. И именно в канун эпохи испытаний и скорбей, безверия и святотатства.

Кризисы и всплески надежд в истории России совпадали со значительными датами жизни Белой горы один в один.

Некое благочестивое кунгурское семейство посетило в 1890 году отца Иоанна Кронштадтского. Просили благословения. И услышали ужасающее пророчество: Иоанну увиделся черный крест, висящий над Пермью.

В том же году протоиерей отец Стефан (Луканин) встретился в Бымовском заводе с местными священнослужителями и интеллигентами. Они рассказали ему про находящуюся поблизости Белую гору. Был уже поздний вечер, но все «в порыве восторга» двинулись в путь, прошли двенадцать верст только к рассвету — в ту пору пробраться по чащобам на знаменитое место редко кому и удавалось. Постояли над крутизной северо-восточного склона, с которого открывается беспредельный земной и небесный простор, и Стефан решил: *«Нет, это не место для праздного гуляния и отдыха, а здесь должен быть высроен мужской миссионерский монастырь, как твердый оплот православия, как неугасимый светильник».*

Тогда же и установили первый поклонный крест, импровизированный, из подвернувшихся деревяшек, тоже — «в порыве».

Луканин точно запомнил время: *«9 числа июня, в 3 часа поутру, совершилось избрание Белой горы в принесение Господу Богу».*

Следующий, 1891 год. Японский полицейский удариł саблей по голове наследника-цесаревича, будущего императора Николая II, совершившего в образовательных целях кругосветное путешествие. Тогда в обычательский кругозор втекло осознание, что вот есть где-то такая страна — Япония; спустя

тринадцать лет память встрепенулась, японские миноносцы торпедировали линкор «Цесаревич» на рейде Порт-Артура.

На Белой горе в 1891-м был установлен крест «в память чудесного избавления», который в народе стали называть «Царским». Семисаженный, крытый жестью, он встал на самой высокой точке, где изгибы природного рельефа будто воспроизводят очертания пастырского амвона.

Серафимо-Алексеевский скит у Белой горы основан в 1903-м. «Алексеевский» он в память о рождении царского наследника, «Серафимовский» в честь торжественного открытия мощей преподобного Серафима Саровского в том же году.

Сестра последней императрицы, великая княгиня Елизавета Федоровна посетила обитель в 1914-м. Пожаловала скиту икону с частицей камня, на котором Серафим Саровский молился тысячу дней и ночей. Великая княгиня пробыла на Белой горе всего два дня, но именно здесь она, беседуя с игуменом, вдруг получила телеграмму от царственной сестры, которая просила молиться, дабы Бог отвел от России войну. Шел к концу последний мирный июль.

Достроен и освящен Крестовоздвиженский собор был именно в 1917 году.

### *Черный крест. Белая гора*

Возрождение уральского Афона тоже началось в переломные годы. «Когда стоишь во главе управления столицей обширного русского края, как пермский, и ежедневно наблюдаешь проявления полного упадка религиозности и морали в просвещенных слоях населения и глубокой индифферентности и неудержимого хулиганства на низах, начинаешь с тревогой себя спрашивать: куда же приведет нас этот разрушительный поток, уже так заметно, по-видимому, подмывший главнейшие устои христианской цивилизации? Не наступает ли уже конец?.. В такие минуты тревожных сомнений особенно радостно и утешительно побывать в святой Белогорской обители. Возникла она на наших глазах за последние какие-нибудь 20 лет, в самый разгар грустного времени — «переоценки всех ценностей». Сказано пермским губернатором Иваном Францевичем Кошко, но почти слово в слово сей спич, как общественный диагноз, мог бы повторить постперестречный губернатор, дающий отмашку на возвращение горы церкви, на реставрацию собора, на возрождение обители.

Замученный большевиками первый настоятель монастыря Варлаам будто бы с приходом советской власти пророчествовал: «Скоро разгонят монастыри, убьют царя, верующих будут уничтожать, церкви разорять — тогда плачьте. Потом будут жить без Бога, по планам, а там начнутся нестроения, будут меняться власти, начнут церкви открывать — тогда райдайте. Это ненадолго, близок конец...»

В 1991 году настоятелем возвращенного церкви Свято-Николаевского монастыря назначен отец Варлаам.

Варлаам второй.

Обоих судьба непредсказуемым креном вывела с обыденных житейских дорог на горную тропу. Первый, крестьянских корней, в миру был крепок в старой вере. Василий Коноплев пользовался необычайным авторитетом среди окрестных старообрядцев. Но стал настоятелем православного монастыря. Несмотря на возраст и болезни, был первым в работе и молитве среди своей братии.

Прославлен церковью, как преподобномученик. Второй, Александр Передерин, тридцать лет проработал прокатчиком на Лысьвенском металлургическом заводе. От старца в Сергиевом Посаде услышал, будто ему назначено совершить большое богоугодное дело. Этим делом для него, получившего церковное имя в память о первом белогорском игумене, стало восстановление монастыря. Варлам второй походил на первого и неутомимым трудолюбием, и харизматическим авторитетом.

Память о существовании монастыря, географический факт существования Белой горы семьдесят лет будто стирались усердно из обихода нескольких поколений. Многие даже просвещенно-культурные, краеведческие интересы не чужды жители края просто не знали о существовании этого сокровища. А те, кто знал, содрогались при виде разорения обители и не верили, что ее возрождение когда-либо возможно.

Когда совершилось возвращение на Белую гору монахов, засохший тополь на ее вершине пустил зеленые ростки.

Висит ли до сих пор над Пермью черный крест, который прозревал Иоанн Кронштадтский? Способен ли его развеять свет, исходящий из монастырской Белой горы?

Не так уж много свидетельств или хотя бы поэтических преувеличений относительно зrimой светоносности Белогорья. Напротив, иной раз замечали, будто из нее порой исходит дымный столб. Угрюмо коптящий, как фабричный выхлоп.

Но видны бывали и световые столбы, стоящие над горой. И сияющий в небе, подобно солнцу, крест. И лучающееся облако с фигурой монаха. Только происходило это сто и более лет назад.

Белая гора — самая высокая точка на полтораста километров вокруг. Далеко видно. И Крестовоздвиженский собор, ее венчающий, царит над окрестой. Откуда ни глянь.

Только не всегда.

Погода здесь исключительно переменчива. По дороге к горе чаще не под ноги смотришь, а глаз от ожидающей тебя, будто невесомо парящей в промежутке земли и неба красоты не можешь оторвать. Опустил глаза, а невесть откуда взявшееся мглистое облако уже наслело, скрадывая не только путеводный образ собора, но и саму гору, и бугристые плечи горизонта по обе ее стороны. Кажется, будто за внезапной мглой клубится пустота, кривляется обман ложной памяти, аукается хохот блаженного, что бродил век назад среди каменщиков и плотников, повторяя: «Зря строите, все провалится».

Но страха или отчаяния даже на подступах к Белой горе не испытываешь никогда. Потому что знаешь, на неожиданном шагу терпеливого восхождения она вновь откроется во внутреннем своем свете и очевидном величии.

## *Верхнекамский Карфаген*

В 2006 году строгановскому Усолью исполнилось четыреста лет. О древней вотчине Строгановых, об Усолье, которое «Петербург брат», которое с восторгом описал Грабарь в своей «Истории русского искусства», а Мельников-Печерский замечал, что здания его не оказались бы лишними и в столице — так

вот, об этом уникальном средоточии природных, исторических, архитектурных и религиозных сокровищ мало кто из жителей Пермской губернии не слышал. И столь же мало кто в Усолье бывал и своими глазами его видел.

Несколько лет назад великолепную выставку, посвященную Усолью, устроили ведущие пермские фотохудожники. Местность на их снимках представляла ареной героических теогоний, оперной декорацией на драматические сюжеты человеческих вызовов судьбе и силам природы. Выстроенная венециански на островах, подвергаемая ежегодным затоплениям, выжигаемая катастрофическими пожарами, какая-то аваллонски эфемерная и в то же время осязаемо материальная едва ли не до брутальности, эта затерявшаяся в Верхнекамье обитель мифов и неподдающихся разгадке тайн представляла в фотоэкспозиции равновеликой маниакальному масштабу Чудес света, величественным развалинам сгинувших империй, мегалитам забытых цивилизаций.

Вот в такой трактовке — благодаря профессиональному выбранным эффективным ракурсам — привыкли воспринимать Усолье. Знакомство *de visu* производит совершенно иное, угнетающее, на грани психической травмы впечатление.

Во-первых, совершенно неожиданно оказывается, что силует центрального ансамбля проецируется через Каму на самое средоточие индустриального кошмара березниковского левобережья. И никуда от этих адских дымов и железобетонной инфернальной готики не отвернуться. Во-вторых, большинство памятников архитектуры XVII — XIX веков накануне четырехсотлетнего юбилея не подпадали даже под благородное наименование «руины». Это было какое-то терроризирующее психику преддверие преисподней, воплощение мерзости запустения, залежи человеческих и скотских фекалий, проросшие репьем и крапивой. Все попытки местных энтузиастов и насельниц здешнего Спасо-Преображенского монастыря удержать Усолье от дальнейшей деградации не внушили оптимистических надежд. Работники музея «Строгановские палаты» жаловались: едва закончат приводить здание в порядок, как выясняется, что палатам опять требуется реставрация. Цикл «разрушение — починка — разрушение» замыкался в дурную бесконечность. Вроде бы привели в божеский вид Спасо-Преображенский собор, но купола будто лиловыми чернилами покрасили, и они смотрелись вылинявшей ницей пародией на лоск Загорска. Устроили под куполом шикарные хоры с балюсинами под орех, а откуда ж певчим-то взяться, если даже простых прихожан у собора раз, два и обчелся...

И монахиням, и неравнодушным усольцам не хватало сил, ресурсов, может быть — профессионализма, порой — вкуса. Но за то, что они работали день за днем неустанно, и за их продолжающийся сизифов подвиг надо свечки во их здравие ставить в каждой прикамской церкви и часовенке.

...Когда-то к Усолью удобнее всего было подбираться по воде. И это, наверное, тоже роднило его с Петербургом, всеохватно открывающимся со стороны Финского залива. Именно ради вида с Камы и вычерчен силуэт центрального ансамбля: барокко Спасо-Преображенского собора с колокольней, подпertenой кирпичными арками торговых рядов и остатками часовни Спаса Уброда, классицизм усадеб и контор князей Голицыных и Абамелек-Лазаревых, графов Шуваловых... Особо знаменита соборная колокольня. Она имеет в плане традиционный восьмиугольник, но — неправильный. Это для того, чтобы с разных ракурсов колокольня каждый раз открывалась в новом виде. Толщина

стен — два с половиной метра. И, разумеется, вполне отчетлив ее угрожающее пизанский крен.

Ряды колонн под классическими фронтонами — и русский «жучковый» орнамент на средневековых палатах. Начальное российское барокко эпохи Петра — и явственно различимый зодческий почерк Воронихина. Импозантные дома управляющих и заводские конторы, барские особняки с гербами князей и графов лучших русских фамилий в кружевном железе оград, заставляющих вспомнить решетку Летнего сада, — и обнесенные вполне деревенскими дощатыми заборами сундукоподобные хоромы купцов, не лишенные тяжеловесного комодного изящества лабазы и лавки. Чуть поодаль отражают в воде свою неимоверную угловатую тяжесть Строгановские Палаты. Когда Петр I строил новую столицу, по всей остальной империи запрещено было возводить каменные сооружения невоенного характера. Однако правил без исключений, как известно, не бывает, и Строгановы упросили царя сделать им послабление... К моменту постройки в 1724 году Палаты стали, пожалуй, самым крупным гражданским зданием в русской провинции, одна только столовая в них имеет площадь в сто четыре квадратных метра — кажется, это рекорд для жилых помещений всей русской архитектуры — и XVIII века, и предыдущих эпох, вплоть до Киевской и Новгородской. Палаты и посейчас напоминают крепостной бастион, вдвинувший себя в необжитое пространство враждебного края, по которому совсем недавно прохаживались огнем и кривой саблей кочевые племена, местные и сибирские.

Никольский храм воздвигался в честь победы над Наполеоном, портал его украшали скульптуры евангелистов, фриз — куранты, а внутреннее убранство — живописное полотно, изображающее батальное посрамление французов. Когда монахини взялись за восстановление храма, приключилось немало чудес. Крест на купол одна из березниковских фирм-благодетельниц сумела изготовить за три дня, хоть сперва думали, что и за две недели не управятся. На Рождество во время крестного хода к Никольской церкви сами собой вновь зажигались погасшие свечи. Наконец, колготки настоятельницы монастыря, матушки Ариадны, порванные на работах по восстановлению храма, имели обыкновение самовосстанавливаться. Воистину, неисповедимыми путями проявляет себя высший промысел. А сколько претерпел подвал этой церкви-памятника из-за легенд о якобы зарытых там сокровищах!

Одним из самых удивительных обычаяев жизни в Усолье в старые времена был... праздник наводнения. Городок каждую весну изрядно заливало, ущерб хозяйству приключался немалый. Но усольцы вместо того, чтобы предаваться унынию, загружали в лодки корзины с рейнским и водочкой и отправлялись в плавание по улицам, превращенным в протоки, распевая песни и наяривая на гармошках. В этом они, конечно, сильно отличались от петербуржцев, для которых наводнение всегда числилось только бедствием, но никак не поводом для веселья и гулянки.

Откуда же здесь, на окраине империи, было взяться столичному по своему облику архитектурному ансамблю? А дело в том, что со временем, когда соль ценилась едва ли не на вес золота, именно тут концентрировались богатства баснословные, соперничающие с сокровищами государственной казны. Длинная рука Строгановых потянулась сюда еще в царствование Ивана Грозного. Они прослышиали про богатые соленосные горизонты подземных вод в здешних

краях, и Аника, Федоров сын, сольвычегодский купчина и промышленник, выпросил у царя якобы «пустующие» земли по Каме и Чусовой. Территория, отданная для освоения в частные руки, оказалась обширней, чем иные европейские государства.

В ту пору «усолье» обозначало вообще тип населенного пункта, где из местного сырья производят соль — как много позже « завод » стал названием для особого вида поселения горнозаводской уральской цивилизации. Вот одно такое усолье было основано в 1606 году внуком Аники — Никитой. И на два с лишним столетия сделалось столицей торгово-промышленной империи «именитых людей», а потом баронов и графов Строгановых.

Со временем к соледобыче добавилась весьма прибыльная скопка «мягкой рухляди», в тугую Строгановскую мошну потекли капиталы с медеплавильных и железоделательных заводов. Здесь родилась знаменитая Строгановская иконописная школа, расцвело золотошвейное мастерство, расходились по градам и всеми муравленые изразцы усольской работы.

Род Строгановых рос, ветвился, наследники делили между собой нажитое предками, выходящие замуж девицы приносили своим вельможным мужьям в качестве приданого частицы родовых богатств, нужда в деньгах заставляла продавать доли в солеваренных промыслах. Так Усолье оказалось связано не только с фамилией Строгановых, но и с древним родом Голицыных, с вознесшимися в аристократы благодаря царскому фавору Шуваловыми или с купившими себе знатность армянскими миллионерами Абамелек-Лазаревыми. И каждый из вельмож, которые в Усолье, конечно, постоянно не проживали, а то и вовсе в свои прикамские владения никогда не заглядывали, считал должным прибавить к почти столичному облику сего городка толику собственного архитектурного тщеславия.

Что осталось от былого усольского великолепия? Свободный разлив воды, нетоптаная трава, которую шевелит никогда не стихающий ветер, высоко вознесшееся над таежным и речным краем аквамариновое пустое небо. Тонкая жилка дороги, перескакивая низкий мостик, соединяет безлюдное Усолье с райцентром, унаследовавшим то же название, но благоразумно отступившим за черту ежегодных наводнений.

К Никольскому храму по-прежнему можно подобраться только по узкой дорожке, которую с обеих сторон сжимают разлитые паводком озера, не уходящие до зимы. В этой церкви, спроектированной Воронихиным, еще недавно прятались от летнего зноя и слепней козы да овцы. Сейчас над храмом снова поднялся купол, заблистал шпиль на колоколенке. Приведены в порядок кое-какие из дивных классицистических особняков, восстановление иных застопорилось на полдороге. Но еще очень и очень многих построек совершенно не касалась рука реставратора. По-прежнему Кама подмывает фундамент особняка Абамелек-Лазаревых, неосторожно выстроенного на самой береговой кромке. Наверное, никогда уже не обретет прежний вид древнейшее каменное строение Усолья, часовня Спаса Уброда, от которой остался лишь невзрачный кирпичный осколочек.

В пустоте нетронутой природы камский прибой пошевеливает у бережка десятидюймовые кованые гвозди, в траве прячутся большеразмерные кирпичи — клейменая плинфа. За бурьянными пригорками вдруг открываются облезлые классицистические фасады, а дальше снова пустыри и невысыхающие лужи,

осколки храмов и обомшелых кладбищенских камней, фундаменты харчевен и кабаков. А то вдруг едва ли не из пустоты возникает угол мощной кирпичной кладки, сквозь разрушенные стены ползут и змеятся полосы черного гнутого железа. Это так называемые связи — металлические ленты, пронизывавшие средневековые здания и державшие огромную массу толстых стен и сводчатых потолков, которая бы без них могла расплзтись — и расплзлась — под собственной тяжестью.

Обезлюдевшая местность представляла ареной героических теогоний, оперной декорацией на драматические сюжеты человеческих вызовов судьбе и силам природы. Построенная на островах, подвергаемая ежегодным затоплениям, выжигаемая катастрофическими пожарами, какая-то эфемерная, словно остров Аваллон кельтских легенд, и в то же время осозаемо материальная едва ли не до брутальности, эта затерявшаяся в Верхнекамье обитель мифов и не поддающихся разгадке тайн даже в запустении своем представлялась равновеликой руинам сгинувших империй, величественным развалинам фантастического Средиземья.

Нечастым туристам, имевшим смелость исследовать брошенную цитадель былой славы и богатства, следовало прихватить с собой бутерброды и термос, потому что здесь нельзя было отыскать даже глотка питьевой воды. Ведь единственными обитателями Старого Усолья оставались чайки да домашняя скотина, забредающая из Усолья Нового.

Но восстановление «Верхнекамского Карфагена» все же началось и малопомалу движется вперед. Теперь даже не склонный к экстриму турист может отправиться в Усолье без опаски. Здесь уже можно отыскать пару-другую торговых киосков, купить нехитрую снедь и минералку, а в каретном помещении на первом этаже Строгановских Палат открылось вполне приличное кафе. Хотя, признаемся, в отношении туристической инфраструктуры сделать предстоит гораздо больше, чем уже сделано.

От Березников до Усолья не более получаса на автобусе, причем на правом краю автомобильного моста перед вами еще мелькнет памятный знак: здесь морозной зимой 1965 года из-за нештатной ситуации приземлился в глубокий снег спускаемый аппарат космонавтов Беляева и Леонова. Краевые пермские власти всерьез подумывают о восстановлении в крае малой авиации, и прежде всего — рейсов до Березников. А там, глядишь, снова примут камскую волну исчезнувшие было «метеоры» и «ракеты». Когда (и если) с Усольем будет восстановлена нормальная туристическая связь, встанет вопрос о цели его реставрации и о смысле дальнейшего существования. Представляется, что «братьем» бывшая строгановская столица может сделаться уже не Петербургу, а — Царскому Селу. Или Павловску. То есть явить собой музейную и ландшафтно-парковую среду, в которой постоянно происходят разнообразные культурные события.

Сравнение с заповедными местами петербургских окрестностей в какой-то мере оправдано тем, что Усолье, островным своим расположением отъединенное от современной цивилизации, не обросло позднейшей советской архитектурой, как это случилось во многих других исторических городах Верхнекамья, и по завершении реставрации должно сделаться оазисом чистого стиля. Кроме того, поездка в Царское Село всегда ведь была культурным ритуалом петербуржцев, он актуален до сего времени, обязателен не только для рафинированных интеллигентов, но даже для рокеров и «митьков». Однако дабы сложился ритуал

вояжей в Усолье, необходим повод для возникновения традиции, первичный смысл поездки в неблизкое место. Вероятно, органичнее всего здесь виделся бы элитарного характера творческий заповедник, пригодный для проведения разного рода художественных акций: поэтических праздников, вернисажей, театральных фестивалей, концертов.

Первые шаги на этом пути предприняла общественная организация «Классик». Та самая, что устраивает вечера камерной музыки в пермском особняке Грибушиных. В Строгановских Палатах выступили камерное трио из Добрянки и пермский quartet «Хорус». Потом в Строгановских Палатах начала складываться традиция художественных выставок. В них не гнушаются принимать участие современные венгерские скульпторы, студенты и преподаватели Московской художественно-промышленной академии им. Строганова, экспозицию подлинных оттисков офортов Гойи сменяют малоизвестные полотна Айвазовского. Акустика Строгановских Палат равно благосклонна и к камерным концертам классической музыки, и к ритмам современной поэзии. Территория Старого Усолья становится площадкой то для выступлений рок-музыкантов, то для колокольного фестиваля «Звоны России». Здесь проходят конные соревнования и парусные регаты, зимой крепкий камский лед служит ареной для соревнований по сноукайтингу, а в мерзлое небо взмывают на своих пестрых крыльях отважные парапланеристы.

Глядишь, и туристы из столиц станут заезжать сюда почаше. И волонтеров из побратавшихся с Пермию иноземных «таунов» и «сити» уже можно без стеснения приглашать в Усолье помахать лопатами, мастерками и рубанками. Какие дивные воспоминания могла бы оставить у жителей Луисвилля и Оксфорда, Дуйсбурга и Циндао безвозмездная гуманитарно-каторжная помощь, оказанная древнему и таинственному краю, еще ждущему своего Толкина!

Между прочим, выросший в Усолье писатель-фантаст Дмитрий Скирюк подумывает, а не взяться ли ему за колоритную фэнтези на местном материале. Глядишь, такая книга лучше всяких открыток, брошюр, альбомов и телерепортажей закрепила бы в общественном сознании миф Верхнекамья: вслед за «Чердынью — княгиней гор» Алексея Иванова.

### *Мертвая вода, крошеный кирпич*

На северной окраине села Покча малоразговорчивый старик строит бутылочный дом. Укладывает рядами пустые бутылки, вмuroвывает их в цементный раствор, донца посверкивают на Печорский тракт. Сооружение вырастает медленно. Судя по ироничному отношению покчинцев к необычной затее, хозяин добывает себе стройматериал в лавке, содержимое выпивает, а освободившуюся стеклотару пускает в дело.

Какое время, такая и архитектура. Было другое время, и оно сохранило по себе памятки забытого стиля. Доступного только империям в пору расцвета. Сооружения исполинские, отмечаящие презренную функциональность и прижимистые мыслишки. В большинстве, конечно, постройки поскромнее, для житейских нужд, но в целокупной мысли и в деталях пронизанные неотступной тягой к красоте. Всего-то полтораста-двести лет назад их возводила какая-то иная раса, ныне вымершая или выродившаяся в нас.

...Прежде знаменитый Печорский тракт проходил сквозь Покчу ближе к Колве, там, где сейчас улица Коммунистическая. На ней и поныне стоят усадьбы местных богатеев: купчихи Анастасии Соковой, например, или старосты Алипия Федосеева, коего покчинцы выбирали на эту трехлетнего срока должность четыре раза подряд. Шатровую неорусскую крышу его двухэтажных хором — подобную той, что на здании чердынского ремесленного училища или на Ярославском вокзале в Москве — урезает смотровая площадка, витиевато огражденная кованым железом. Усадьбы строились так, что на одном дворе собирались и лавка, и склад, и особняк помпезного уездного стиля. Неподалеку не менее изукрашенная лекальная кирпичом богадельня, мало что не дворец. Да и покчинские избы почти все окованы деревянным рустом, обросли резными плеоназмами наличников, а есть еще главная архитектурная особинка: конструкции наподобие арочных, оседлавшие почти каждые четырехстолбные ворота. А еще Коммунистическую с «трактовых» времен украшают тротуары-пазлы ломаной геометрии, из местного плитняка.

С позапрошлого века смела тягаться размахом и велелением с чердынскими храмами покчинская церковь. Алипий Федосеев нанимал артель иконописцев, и они усердно украшали Благовещенскую. Утварь была серебряная позолоченная, а если какая-то вещь железная, то посеребренная. Почти все облачение для священства парчовое. Четырнадцать колоколов общим весом четыреста пудов. По колоколам кругом шли дарственные надписи: в покчинскую Благовещенскую церковь с такого-то завода.

Знаменита эта церковь и сейчас: живописностью своих руин, воспринимаемых едва ли не как совокупный образ нынешнего пермского севера, когда-то самодостаточного, зажиточного, теперь заблудившегося в маятниковых петлях своей памяти. Под высоким берегом, в колвинской глубине, на которую бросает надколотую тень колокольня, торопливая вода дошлифовывает надгробия уважаемых покчинцев — кладбищенские памятники из дорогого камня-лабрадора сталкивали в реку бульдозером. В советское время в храме располагалась МТС, в нефе слева и справа пробили проходы для тракторов. Покчинские ребятишки страсть как обожали лазать по ветшающей церкви, особенно забираться внутрь купола, чтоб почувствовать себя невесомо летящими над распахнутым Колвой небесно-таежным простором. Молния ударила в 1980 году, верх колокольни сгорел за считанные минуты, купол упал на трапезную и обвалил перекрытие. С тех пор Благовещенская и являет собой живописные руины. В июльские жары, в пору нашествия безжалостных слепней внутри ее полуразвалившихся стен находит свое спасение скотина, и вместо священника в парчовой ризе из забранного кованой решеткой окошка с умильным видом выглядывает буренка. Под обрывом прогуливаются с колясками молодые мамаши, облизывая быстро тающее мороженое, да старуха разгребает саперной лопаткой грязь на склоне, выпуская на волю струйки неугомонных родников. Вот, пожалуй, обобщающая картина северного бытия: бесчисленные родники, настырно буравящие малоплодородную землю, да крошеный кирпич разрушенных колоссальных храмов, заявлявших когда-то о богатстве, немалых амбициях и убежденности, что время всегда будет благосклонно к этой гордой земле.

Время — самый ловкий обманщик. Надежды утекли Колвой, Вишерой, Камой, а краснокирпичные колоссы остались, сами собой ветшая, рушась под

атеистическими бульдозерами, а что не доделала власть, то довершает медленная работа времени и грозные силы стремительных стихий.

Если от Покчи свернуть по проселку налево, то километров через пять откроется пруд, а в нем отразится повышебленная церковная колоколенка. Это брошенная деревня Салтаново. Сквозь фонтанирующие заросли крапивы, по колотым кирпичам и выкрошенной извести пробираешься внутрь обросших кустарником стен. Строили салтановскую церковь Параскевы Пятницы в 1838 году, но будто по рецептам эпохи Феодосия Младшего: несколько рядов плинфы, несколько — дикого здешнего плитняка, и густые прослойки извести. Еще в 2006-м над ней вздыпался высокий деревянный шпиль, целы были и купол, и крыша, кое-где даже оконные рамы и внутренняя побелка. Пройдет еще несколько лет, и салтановская церковь, подобно стремительно развоплощающейся Ленвинской, что близ Березников, оставит по себе только пятно кирпичного крошева, да и оно быстро зарастет крапивными джунглями.

В нескольких километрах — ключ, разумеется, «святой». Над источником стоит часовня. Сыро и мрачно в логу под хвойной сенью, может, и встретишь тут святого, а человеку незачем сюда являться. Соскучившиеся бабочки-боярышницы облепляют пришельца от носа до ступней. Однако в полу часовни разверзается проем, внутри по черным колодам бежит родниковая струя, а в ней посверкивают мелкие монетки.

...Ехали как-то зимой 1613-го года ныробские купцы из Печорского края и увидели в поле икону, вокруг нее горящие свечи — а снег вокруг нетоптаный. Подобрали, разглядели: Николай Чудотворец. Отвезли находку в Чердынский монастырь. Вернулись в Ныроб, глядь, а икона-то вернулась на прежнее место. Так повторялось три раза. Стало быть, не желал Никола обитать в Чердыни, значит, выбрал он себе дальнее, в разбойничье тайге сокрытое село.

Икона дала имя ключу на окраине поселка. Там ее, по легенде, прятали во время «нападений врагов», но что это были за враги, уже при Романовых-то, местные жители сказать затрудняются. Родник и часовенка обрамлены декорациями из древнерусских опер Римского-Корсакова: еловый полусумрак в низинке, насыщенная ионами серебра струйка шевелит опавшую влажную хвою, время дышит вечностью.

...Где-то тут, выше Соликамска, по Колве, Вишере и Каме бродит неузнанный призрак пермского эпоса. Добрюнет до Купроса, где стоит, пожалуй, самая огромная в крае деревянная церковь. Сейчас на ней видны следы поспешного ремонта: новые светлые доски контрастируют с потемневшей обшивкой строгановских времен. Но при починке зачем-то понадобилось сбросить подкупольный барабан, он валяется на земле, мощный, как мельничное колесо.

Эпический призрак ныряет в зарыбленные цеха подводных заводов Пожвы, Чермоза, Добрянки, и выплывает у высокого берега Майкора, прежде тоже славного своим железоделательным заводом. От прежней майкорской гордыни остался только заводской парк да огромная полуразваленная церковь, руины которой местные жители по-свойски называют «Каменкой». Хоть и хвалятся аборигены, что построена она из своедельного материала, все же на некоторых кирпичах видны клейма: «Я.М.Шульцъ. Екатеринбургъ».

Самое печальное, что время рано или поздно подъест остатки купеческо-заводского севера. Не тот у нынешних благотворителей и жертвователей размах, чтобы финансировать реставрацию руин, до которых денежных туристов эле-

ментарно не дотащить. Не востребованы и не будут востребованы никогда брошенные заводы и храмы, потому как неоткуда взяться церковным прихожанам, ибо стремительно вымирают окрестные городки, поселки и деревни, а выделять на древесном угольке первоклассное уральское железо экономически нецелесообразно. Пока еще осталось десятилетие-другое на то, чтобы полюбоваться развалинами, которые на глазах становятся мифом и постепенно растворяются в красе окрестной природы. Никто не возьмется их даже консервировать подобно стоматологическим осколкам каэрнов на вересковых холмах Мабиногиона, норманнским замкам, византийским монопиргиям.

Покчинской жительнице Валентине Васильевне Федосеевой в молодости кто-то давал читать старинную рукопись. В ней описывались местные события аж XV века. Пятеро покчинских охотников увидели на реке незнакомых людей. Затаились, присмотрелись — пришли рубят лес, видно, собираются строить плоты и плыть к Покче. Охотников обнаружили, четверых убили, но один убежал и принес покчинцам пугающую весть. В это же время чужаки появились и у ворот городка. Но оказалось, это новгородцы, бежавшие из своего родного города после разорения его Иваном III. Их было человек тридцать, оборванных и измученных. Впустили. Новгородцы сказали горожанам, что Москва и на них идет. Вместе с покчинцами они двинулись к Искору, заперлись в этой «горной крепости» и сражались особенно храбро, совершая дерзкие вылазки.

Много лет спустя Федосеева видела в чердынском музее «на окне» старую книгу, и среди ее текстов нашелся один, описывающий ту же историю. Это подтверждает, по мнению Валентины Васильевны, что читанная ею рукопись содержала рассказ о реальных событиях. Правда, вздыхает она, может, сейчас в музее и не вспомнят, что за книга у них на окне лежала... Но вот еще косвенное подтверждение: на окраине Покчи до сих пор виден холмик, из-под которого торчат жердины — там была сторожевая башня.

Со взгорка, за микроканьоном холоднющей речки Кемзелка в Покче бьют семь родников, стекаясь в мелкое озерцо. Местные жители там и белье стирают, и не гнушаются для питья воды набрать. Хорошая вода, бодрящая, хоть и называется по-сказочному «мертвой». По легенде здесь лихие люди убили купца с женой, да еще пятерых работников. Вот и пробились из земли семь горестных ключей, вот почему вода «мертвая», хоть пить ее для здоровья совершенно невредно. Хотя есть авторитетное мнение, что историю про «мертвую воду» выдумала одна женщина в 1997 году для привлечения туристов.

А что еще остается здешним людям, кроме как припоминать и придумывать легенды да строить домики из пустых бутылок?

## Критика

# Согревающая проза или текст на чужом языке?

*Литературные итоги 2014 года*

*В этом номере — ответы Евгения АБДУЛЛАЕВА, Николая АЛЕКСАНДРОВА, Петра АЛЕШКОВСКОГО, Ольги БАЛЛА, Владимира БОНДАРЕНКО, Алексея ВАРЛАМОВА, Алисы ГАНИЕВОЙ, Натальи ИВАНОВОЙ, Марианны ИОНОВОЙ, Павла КРЮЧКОВА*

На этот раз мы предложили участникам заочного «круглого стола» три вопроса для обсуждения:

1. Каковы для Вас главные события (тексты любых жанров и объемов) 2014 года?
2. Попадают ли писатели с постсоветского пространства в круг Вашего чтения?
3. «Год чтения»... «Год культуры»... «Год литературы»... Удается ли сблизить читателя и книгу? Ваши профессиональные впечатления и прогнозы.

*Евгений Абдуллаев (Сухбат Афлатуни), поэт, прозаик, литературный критик, г. Ташкент*

## «Глаза у книгоиздателей должны быть сытыми, наглыми и хищными»

1. Если немного снизить пафос, неминуемо присутствующий в слове «событие», и приглушить бой барабанов — того, что заслуживает внимания, в 2014-м хватало. Загибаю пальцы.

Проза. Прежде всего, премиальные фавориты: «Обитель» Захара Прилепина («Большая книга») и «Завод "Свобода"» Ксении Букши («Национальный бестселлер»). (Лауреат «Русского Букера-2014» — когда пишу эти строчки — еще не объявлен.)<sup>1</sup>. Романы талантливые — и неожиданно сходные в попытке взглянуть на наиболее «жесткие» объекты советского строя — лагерь и завод — с самых разнообразных точек зрения. Найти свою правду и логику в действиях и начальников, и последних «винтиков»; и тех, кто сидел, и тех, кто сажал. Воздерживаясь, насколько возможно, от оценок.

В этот же ряд встает и роман «Жизнеописание Петра Степановича К.»

---

<sup>1</sup> Лауреатом стал Владимир Шаров. — *Прим. ред.*

известного российского демографа Анатолия Вишневского, финалист «Русского Букера». Объект, на этот раз — колхозы, сельское хозяйство; взгляд на советскую историю с точки зрения «простого человека», временами поругивавшего власть, но в целом — как и герои «Обители» и «Завода "Свободы"» — из тех, на которых она и держалась.

Из собственно исторической прозы — увлекательный роман Сергея Заграевского «Архитектор его величества» о путешествии аббата и архитектора Готлиба-Иоганна фон Розенау в Киевскую Русь. И прекрасный рассказ Юрия Буйды «Смерть элефанта», вошедший в виде вставной новеллы в его роман «Яд и мёд» (притом что сам роман к удачам Буйды я бы не отнес). Конец Смутного времени, Москва, снег, белый слон...

Еще порадовали русские писатели, живущие в США. Казалось, все литературные семена, посеянные русской эмиграцией в Америке, уже взошли, все цветы отцвели, и все яркие имена названы и оценены. Выяснилось — еще нет. Пару лет назад появился Валерий Бочков, вначале с малой прозой, а затем — в прошлом году — и с замечательным романом «К югу от Вирджинии». Другие приятные открытия — книги Наталии Червинской «Поправка Джексона» (написанные с блеском рассказы о русской эмиграции 70-х — тоже, казалось, тут уже все написано-сказано...), Александра Стесина «Вернись и возьми» (не только Америка, но еще и Африка).

Что касается поэзии, то о ней надеюсь написать, как повелось, в своем очередном «дружбинском» обзоре-«семикнижии».

2. Прежде всего — то, что происходит в украинской русской литературе. Из прозы — замечательный роман киевлянина Алексея Никитина «Victory park»: теплый позднесоветский Киев, фарцовщики, студенты, артисты... Повести Елены Стяжкиной из цикла «Один талант». Роман Сергея Герасимова «Школа танцев Соломона Скляра» (снова советское время, плюс загадочные «ледяные ангелы»). «Кинороман» одессита Сергея Шикеры «Выбор натуры».

Из поэзии — прежде всего книга киевлянина Александра Кабанова «Волхвы в планетарии». Построена она, как и все предыдущие книги поэта: вначале — стихи последних двух-трех лет; далее, в обратном хронологическом порядке — из предыдущих сборников. «Севастополь: ветер, вітер в голове, / вновь прорезались шипы на булаве, / если вырастешь и станешь моряком — / ты не трогай эту мову языком...»

В других постсоветиях ситуация с русской литературой победнее (или что-то просто не отследил). Из того, что можно отметить, — сборник стихов тбилисского поэта Инны Кулишовой «Фрески на воздухе», мемуарная проза таллинки Елены Скульской «Мраморный лебедь», книга рассказов Ильи Одегова «Тимур и его лето», отмеченная «Русской премией», и... И, пожалуй, всё.

Пару слов о «Русской премии», раз уж была упомянута. Прошлогодняя работа в жюри премии привела к двум выводам. А: премия продолжает делать исключительно важное дело по поддержке русской литературы за пределами России — и диагностике состояния этой литературы. Б: в силу естественного обмеления последней (старые авторы уходят, а новые плохо рождаются) требуется переформатирование премии. В противном случае уровень будет потихоньку сползать, а лонги и шорты будут из года в год состоять из одних и тех же имен.

Несколько лет назад «Русская премия» нашла логичный, хотя и не всех убедивший выход из наметившегося «оскудения делянки» — расширила свое

поле с постсоветского пространства на весь земной шар. Дальше расширяться уже некуда — появление колоний русскопищущих авторов на других планетах пока не предвидится. Однако, кроме географического, возможно ведь и жанровое расширение. Сделать отдельную номинацию за эссеистику и литературную критику. И — дать немного больше времени для того, чтобы что-то на постсоветских пажитях появлялось-вызревало: ежегодный урожай здесь все скучнее. Сделать номинации «мигающими»: не каждый год давать за, скажем, большую прозу — а через год. Год — за большую, год — за малую. Год — за поэзию, год — за эссеистику и критику. Такое вот предложение, коллеги.

3. За «год литературы», конечно, спасибо. Может, кроме дюжины неизбежных помпезных мероприятий, будет несколько дельных.

Вообще же, сближение читателя с книгой — дело не государства, и не писателей, и уж точно не самих читателей — а книгоиздателей. Это то, чем они занимаются со времен изобретения печатного станка, и то, что сегодня у них получается все хуже и хуже. Я иногда с ними общаюсь — у них грустные глаза. Еще более печальные, чем у литераторов; это плохой признак. Глаза у книгоиздателей должны быть сытыми, наглыми и хищными — тогда что-то будет крутиться, печататься, доходить до читателя.

Сами они себя не раскормят — по крайней мере, законным путем. Им нужны налоговые льготы. Льготы на издание некоммерческой литературы. Льготы для малых издательств. Для любой поддержки серьезной литературы. Я уже говорил об этом лет пять назад на «дружбинском» круглом столе (Литература в эпоху перемен // «Дружба народов», 2009, № 9. С. 209); пользуясь случаем — повторяю. Тогда усиится издатель. Тогда появятся литагенты: не три с половиной человека, как сейчас, а хотя бы с дюжину. Заработает маховик литературного дела. И будет не «год литературы», а десятилетие, а то и больше...

## *Николай Александров, литературный критик, г. Москва «Навыки чтения потеряны»*

1. Не самая легкая, а кроме того, неблагодарная задача, из множества книг прошлого года выделить главные. Интересных действительно было немало. Если отмечать издательские удачи, то список заслуживающих внимания книг будет весьма обширным. Ну, вот хотя бы некоторые из числа тех, что сразу всплывают в памяти, то есть достаточно случайная выборка. Роман гонкуровского лауреата Пьера Леметра «До свидания там, наверху» («Азбука»), «Щегол» Донны Тартт, одно из главных ожиданий года, «Кентерберийские рассказы» в пересказе Питера Акройда («Corpus»), замечательные книги по истории издательства «Евразия» (например, «Рождённая в битвах. Шотландия до конца XIV века» Дмитрия Фёдорова), или, скажем, «Тысячелетнее царство (300—1300). Очерк христианской культуры Запада» Олега Воскобойникова («Новое литературное

- 
1. Каковы для Вас главные события (тексты любых жанров и объемов) 2014 года?
  2. Попадают ли писатели с постсоветского пространства в круг Вашего чтения?

обозрение»), или «Магическая Прага» Анджело Марии Рипеллино («Издательство Ольги Морозовой»). Можно вспомнить и великолепную биографию «Баронесса. В поисках Ники, мятежницы из рода Ротшильдов» («Фантом Пресс»), и не менее замечательную книгу «Пикассо. Творец и разрушитель» Арианны Стасинопулос-Хаффингтон («Роузбад Интерактив»). Назову и сборник, подготовленный «Мемориалом» — «Папины письма. Письма отцов из ГУЛАГа детям». Я не говорю уже о двух фундаментальных работах Макса Хейстингса «Первая мировая война. Катастрофа 1914 года» и «Вторая мировая война. Ад на земле» («Альпина нон-фикшн»). В издательстве «Ад Маргинем» выходили любопытные книжки, скажем, дневники Сьюзен Сонтаг или миниатюрные издания серии Minima (например, совершенно удивительный «Дисней» Сергея Эйзенштейна). Огромный том Нины Петровской «Разбитое зеркало», все ее творческое наследие, по существу («Б.С.Г. Пресс») — тоже, конечно, событие. И сборник стихов Асара Эппеля («ОГИ»). И книжка удивительных рассказов Николая Байтова «Зверь дышит» в серии «Уроки русского» Олега Зоберна, который в очередной раз меняет издательство. Странно, что Байтов как-то остался в стороне, вне читательского внимания. Событием для меня стал и сборник «Лёгкие миры» Татьяны Толстой. Просто как очередное доказательство ее необыкновенного художественного дара. Это одна из лучших книг прошлого года, а некоторые рассказы («Отец», например) как будто взяты из антологии. По силе изобразительности, по выразительности письма с Толстой сегодня практически никто не может соперничать. Наконец, еще одну книжку хочется назвать непременно — «Повесть и житие Данилы Терентьевича Зайцева» («Альпина нон-фикшн»). Это потрясающее чтение. Я не говорю о собственно содержательной стороне (жизнь старообрядцев, приехавших сначала в Китай, затем перебравшихся в Южную Америку), но язык, но строй повествования — это голос русской Атлантиды, удивительно, что он слышен еще и сегодня.

2. Современных авторов (писателей русскоязычного пространства) читать все трудней и трудней, слишком много откровенно средней, торопливой, «проектной» прозы, но это вовсе не означает, что интересных текстов нет вовсе. Они есть. Некоторые из них я перечислил. А из тех, кого не упомянул, если постсоветское пространство понимать и как пространство вне границ Российской Федерации, назову Алексея Макушинского и его «Пароход в Аргентину». Вот пример тщательного, продуманного письма, может быть, несколько искусственного, сугубо литературного и в этом смысле старомодного. Конечно, новые тексты некоторых авторов (Светлана Алексиевич, Ульяна Гамаюн, Сергей Жадан) всегда привлекают внимание.

3. Я не могу сказать, что такого рода мероприятия, такие годовые акции бесполезны вовсе. Хотя бы потому, что у писателей благодаря этим программам есть возможность ездить по регионам, встречаться с читателями, учителями, библиотекарями, а у региональных библиотек есть возможность получать книги, которые иногда просто не доходят до регионального читателя. И все же мне кажется, что дело не в этом и проблема в другом. Постепенно понижается уровень гуманитарного знания вообще, уровень преподавания гуманитарных дисциплин. Вполне вероятно, что через какое-то, очень непродолжительное

---

3. «Год чтения»... «Год культуры»... «Год литературы»... Удаётся ли сблизить читателя и книгу? Ваши профессиональные впечатления и прогнозы.

время в университетах некому будет читать фундаментальные курсы (в частности по истории литературы). И некому будет преподавать в бесконечно реформируемых школах.

Внимание к книге непосредственно связано с культурой чтения, с умением читать, анализировать и понимать текст. Сложная письменная речь (художественная, философская, историческая) сегодня нередко просто не понимается. Навыки чтения потеряны. Художественный текст (за исключением, может быть, жанровой литературы, и то не всей) воспринимается, как текст на чужом языке. Может ли вызывать интерес набор непонятных знаков, абракадабра, подобная арабской вязи или иероглифам? Вряд ли. В интернете гуляет выразительный ролик: мама заставляет своего маленького сына учить стихотворение наизусть. И это не Бродский или Вячеслав Иванов. Нет. «Травка зеленеет, солнышко блестит...» Куда проще, хотя слово «сени», уверен, не всякий ребенок знает. Результат (точнее сам процесс) — чудовищен. Разовыми лекциями, единичными акциями дело не исправить (если исправить что-то еще возможно вообще). Скорее уж нужно проводить летние школы, семинары, экспресс-курсы, приглашать лекторов, знающих учителей и преподавателей (такие еще есть). Пока же мы видим процесс окончательного разрушения гуманитарного образования. Я не говорю уже об обесценивании слов, языковых мутациях, не в повседневности — хотя уголовный жargon, речевая порча, вошедшие в обиход, ставшие привычкой, ведут к инфантильности и безответственности, к жутким социально-политическим результатам, — а в художественных текстах. Средняя проза хуже, чем молчание. Страшнее могут быть только посредственные стихи. Полная «безъязыкость» — это и есть наступающий на нас, постепенно свершающийся апокалипсис. И сегодня я не вижу (почти не вижу) ни сил, ни желания ему противостоять.

*Пётр Алешковский, прозаик, г.Москва*

## **«Сегодняшняя жизнь не дается ПОКА ПИСАТЕЛЯМ»**

1. С сюжетной литературой в этом году, на мой взгляд, как-то не сложилось. Тому, наверное, есть причины. Все наперебой бросились хвалить роман Прилепина «Обитель», словно не заметив, что книга не попадает в жанр художественной литературы, как мы всегда понимали ее (а многие понимают и сейчас). Прилепинский роман, на мой взгляд, типичный триллер, слепленный по жестким американским шаблонам, выбор большого жюри лишь подтверждает мои опасения — смеялся угол зрения? Открециваясь от всего американского, мы тем не менее — за сериалы с продолжением и триллеры? Не скрою, сам люблю хорошо закрученный триллер и смотрю лучшие сериалы, но первые не

- 
1. Каковы для Вас главные события (тексты любых жанров и объемов) 2014 года?
  2. Попадают ли писатели с постсоветского пространства в круг Вашего чтения?

отношу к разряду серьезной литературы, скорее к развлекательной, какие бы ужасы и «глобальные» проблемы не были в них затронуты.

Из всего прочитанного по-настоящему по-хорошему удивила и порадовала только книга Льва Наумова — «Шепот забытых букв» (изд-во «Амфора»). Автор — глубоко эрудированный человек, знание — сила, как известно, и знание и память прочитанного работают у Наумова мощно, с той силой, что оставляет правильное послевкусие — шепот забытых букв не покидает прочитавшего книгу. Наумов безусловный борхесианец, это и не скрывается — действие его рассказов-притч и пьес разворачивается в вымышленных мирах, такое ощущение, что пишет человек, запрятивший себя в комнату без окон, не желающий выглядывать на улицу. На деле, конечно, все не так — достаточно начать чтение, как точно подобранные слова уносят вас вслед за вымыслом, коллизии заставляют думать, понятно с первого листа — проза дышит жизнью, подсмотренной, отрефлексированной и построенной так, как и полагается поступать творящему искусство.

Говоря о том, что с прозой все плохо, я нарочно сгустил краски. Она стала иной — или движется в своем направлении в другое пространство. Ушедший год принес много мемуаров. Писать начали люди заведомо не преклонного возраста — сорока—шестидесятилетние. В прошлом еще году вышла книга долго молчавшего Сергея Каледина — замечательные наблюдения-воспоминания, рассказы об окружающем пространстве и людях, их судьбах и влиянии их судеб на самого автора. Нынешний год принес новую книгу Татьяны Толстой, манерную прозу коей я не шибко чту. Зато вот книга Дарьи Димке (издательство «БММ») «Зимняя и летняя формы надежды» прекрасна. Проза питерской писательницы — рассказ о жизни автора и ее младшего брата с дедушкой и бабушкой в советском Питере. Согревающая проза, добрая, лишенная напрочь сюсюканья, свойственного мемуарам подобного типа. Вслед за громким дебютом Наринэ Абгарян с ее «Манюней» Димке выступает настоящим психотерапевтом, лечит и примиряет сердца своих читателей — уверен, что у автора большое будущее.

Налицо, как мне кажется, намечающаяся тенденция: сегодняшняя жизнь не дается пока писателям. Ну не говорить же серьезно о новой агитке Проханова или о неудачном произведении Шаргунова, но по части триллеров, подстроенных на потребу времени, наметился явный прорыв, похоже, Прилепин первый скроил сюртук с эполетами, кой войдут в моду. Что касается «душеполезной» прозы, она тоже навеяна временем, не стоит и в телевизор смотреть, и так понятно, что честные и теплые слова всегда востребованы, сейчас же в них явлена огромная потребность. Подтверждение тому фейсбук Абгарян — тысячи поклонников шлют ей приветы, благодарят за добрые слова, «занадежду, что вы нам подарили» (дословно). К Димке на фейсбук я не заходил — достаточно книги, прочитав которую, пока не могу забыть — это ли не свидетельство настоящей победы! Как и шепот забытых букв Льва Наумова — мне кажется, что он и вовсе не заходит на фейсбук (не стану проверять, ни к чему).

2. Из писателей постсоветского пространства важно отметить работы Афлатуни, всегда, давно уже утвердившегося в российском литературном пространстве и, наверное, Андрея Иванова, живущего в Эстонии. Первые,

---

3. «Год чтения»... «Год культуры»... «Год литературы»... Удается ли сблизить читателя и книгу? Ваши профессиональные впечатления и прогнозы.

эстонские книги до меня, увы, не дошли, перепечатанная же «АСТ» книга «Харбинские мотыльки» — серьезная проза, буду ждать его новых книг с нетерпением.

Ну и конечно, Светлана Алексиевич — достояние уже мира, а не только нашего, странно склеенного пространства. Надеюсь, она будет оценена по заслугам и в следующий раз удостоится Нобелевской премии. Канадские старушки-пенсионерки — политкорректный выбор и только. Пропущенный через сердце документ, голос рассказчика-свидетеля не самый новый жанр в литературе, но Светлана Алексиевич в нем безусловно первый и самый мощный автор.

3. Нам уже явили построенную сверху «смычку» писателей с чиновниками, когда в президиуме сидели потомки славных писательских кровей, а в зале была собрана вся писательская элита Москвы и сопредельных территорий. В результате рожденный монстр не стал прекрасным кентавром, породив изумление и стыд. Боюсь, «год литературы» станет таким же бюрократически-пропагандистским монстром, хотя не сомневаюсь, пропаганда чтения — насущная и наиважнейшая задача мировой современности. Во времена тяжелой болезни, когда испытаны все лекарства, надежда, как говорят мыслящие доктора, ложится на плечи самого больного. Если не перезапустить мозг, не включить новые обводные его пути, обходя пораженные, атрофированные бездумьем зоны, остается только смерть или прозябанье овоща. Чтение у нас скорее всего станет потребностью вопреки, а не по указке свыше, такое уже случалось, тяга к книгам Абгарян и Димке — лишь первые шаги на этой непростой и тяжелой дороге, которую освоит и победит только идущий.

*Ольга Балла, литературный критик, г. Москва*

## **О читательских радостях 2014-го**

1. Вообще, в этом году было счастливо много хороших книг, я наверняка что-нибудь упущу. Постараюсь говорить о том, о чем не говорить никак нельзя. Мне уже заранее обидно за то, чего не успею назвать.

Моим главным жанром — просто в силу читательских предпочтений — в этом году очередной раз оказалась обширная и разнородная область нехудожественной литературы, называемая вкусным, щелкающим и свистящим словом «нон-фикшн» (хочется подобрать русское имя, а все никак!). Я и слово «нехудожественный»-то произношу в данном случае с большой оглядкой, поскольку некоторые из текстов, ставших для меня важными в 2014-м в этой категории, нимало не уступают художественным по качеству выделки слова и степени его напряжения.

Нельзя не назвать книгу разговоров Дмитрия Бавильского с современными композиторами о современной же музыке — «До востребования» (издательство Ивана Лимбаха), интересную многим, но, может быть, прежде прочего — той

- 
1. Каковы для Вас главные события (тексты любых жанров и объемов) 2014 года?
  2. Попадают ли писатели с постсоветского пространства в круг Вашего чтения?

ведущей мыслью, что композиторская деятельность — это род антропологического исследования, а кроме того — попыткой выговорить эту принципиально несловесную деятельность словами. Кто-то благодаря этой книге стал лучше понимать, что ему стоит слушать, а мне, человеку предельно словесному, важно, что благодаря этой книге в нашей культуре хоть немного (по моему чувству, впрочем, довольно существенно) расширилась область словесного и поддающегося рефлексии.

Важным моим читательским впечатлением стал сборник эссе Марии Степановой «Один, не один, не я» («Новое издательство») — событие на стыке художественной и философской, словесной и концептуальной работы, даже не знаю, к какой больше относящееся; решим, что в равной степени к обеим. Очень коротко говоря, это — о разных бытийных состояниях человека и об отношениях его с небытием.

Обязательно надо назвать две появившихся в этом году книги Михаила Эпштейна: вышедшую впервые и переизданную спустя полтора, кажется, десятилетия после первого издания и несколько с тех пор переработанную. Это — «Клейкие листочки: Мысли вразброс и вопреки» («ArsisBooks») и «Отцовство: Роман-дневник» («Никея») (в первый раз, на рубеже веков, эта книга выходила с подзаголовком «Метафизический дневник», что мне нравилось больше, и с тех пор этот оборот вошел в мое внутреннее словоупотребление). «Отцовство» мне было важно перечитать сегодняшними глазами — и эта книга как раз из таких, которые не выцветают от перечитывания (в конечном счете, она о том, что любой опыт, а особенно такой интенсивный, как опыт родительства, может быть пережит и понят как опыт метафизический). А собранные впервые «Клейкие листочки», завязи и возможности мыслей, помимо своего, весьма мне родственного, содержания и отношения к жизни (тут я пристрастна — если Эпштейн заблуждается, я рада заблуждаться вместе с ним), важны мне еще и самим своим жанром: никто, кажется, еще не развивал обещания как жанра интеллектуального действия? Эпштейн едва ли не только этим и занимается.

Этот год порадовал меня также интенсивной рефлексией — именно на уровне книгоиздания — над позднесоветским периодом нашей истории и культуры — слава Богу, без идеализаций, а, напротив того, с ясным и умным анализом. Здесь можно назвать сразу несколько книг: сборник «Переломные восьмидесятые в неофициальном искусстве СССР», составленный Георгием Кизевальтером («Новое литературное обозрение»); книгу воспоминаний Александра Бараша о тех же годах «Свое время» (того же издательства); сборник воспоминаний Ирины Уваровой «Даниэль и все-все-все» (Издательство Ивана Лимбаха) о ее муже, писателе и правозащитнике Юлии Даниэле и о культурном пласте, к которому они с Даниэлем принадлежали, о человеческих, стилистических, ценностных особенностях этого пласта, и, наконец, появившуюся уже совсем под конец года книгу Алексея Юрчака «Это было навсегда, пока не кончилось» («НЛО»): о последнем советском поколении (то есть — как раз о моем, родившемся в середине 1960-х), о его ценностях, практиках, языке (языках), способах производства смыслов, взаимодействия с миром и защиты от мира.

---

3. «Год чтения»... «Год культуры»... «Год литературы»... Удаётся ли сблизить читателя и книгу? Ваши профессиональные впечатления и прогнозы.

Необходимо вспомнить «штучную», одиноко стоящую в своем роде книгу — интеллектуальную биографию одного из самых значительных греческих поэтов Одиссеаса Элитиса («Алетея»), написанную энциклопедическим человеком, филологом, философом, историком идей Александром Марковым. Если бывают акты интеллектуального героизма, то это — как раз один из них. Марков вводит Элитиса в русский культурный контекст почти с нуля и практически в одиночку: у нас в 2008 году издавался небольшой сборник этого поэта, прошедший довольно незаметно, но как культурная фигура, во всей, насколько возможно, совокупности своих значений для Греции и своих связей внутри нее Элитис до сих пор совершенно не был проговорен и осмыслен. Именно это делает Марков. Эта книга — еще и экскурс в греческую культуру, не слишком подробно у нас известную. Кстати, все стихи Элитиса в книге даны принципиально в переводе автора, что тоже — способ истолкования героя. Теперь жду интеллектуальную биографию Рене Шара, которую Марков обещает выпустить в 2015-м.

Я вообще очень рада тому, что Александр Марков наконец начал высказываться в формате книг: в этом же году он издал еще одну — «1980: год рождения повседневности» (издательство «Европа»), в которой прочитывает события 1980-го через «Изобретение повседневности» Мишеля де Серто. Французский оригинал этого исследования вышел как раз тогда — а русский перевод его первой книги, «Искусства делать» (издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге), стал, кстати сказать, одной из моих читательских радостей 2014-го.

Если говорить о художественной литературе, мне неизменно интересно то, что делает Андрей Левкин. Имею в виду не только его очередную «городскую» книгу «Из Чикаго» («НЛО»), но, кроме того (пожалуй, прежде всего), их общий с Кириллом Кобриным интернет-проект (бумажного варианта у него нет) «Post(non)fiction» — прокладывающий русской словесности новые пути в стороне от истоптанных дорог вымысла и не-вымысла, но использующие возможности их обоих. Буду над ним еще думать и даже хотелось бы участвовать.

Очень важным текстом мне чувствуется — тоже буду еще над ним думать — вышедшая в этом году поэтическая книга (огромное, миротолкующее поэтическое предприятие) Андрея Таврова «Проект Данте» («Водолей»).

Из художественных переводов особенно важным видится сделанный Вячеславом Середой перевод «Книги воспоминаний» Петера Надаша («Kolonna Publications»), одного из самых значительных венгерских писателей (это не мемуары: это художественный текст о взаимодействии человека с XX столетием).

Была радость даже среди переизданий: отдельное издание (издательство Ивана Лимбаха) «Стел и надписей» Ольги Седаковой с филологическим комментарием Сергея Степанцова и иллюстрациями Василия Шлычкова — комментарием невербальным, который прочитывается как самостоятельное высказывание.

2. Кое-что попадает — хоть и не многое, но яркое. Из интересного постсоветского необходимо назвать изданную ОГИ «Антологию новой грузинской поэзии». Владеющих языком порадует то, что она двуязычная; мне же,

- 
1. Каковы для Вас главные события (тексты любых жанров и объемов) 2014 года?
  2. Попадают ли писатели с постсоветского пространства в круг Вашего чтения?

грузинским не владеющей, интересно то, что в нее включены переводы двадцати семи поэтов современной Грузии, вошедших в литературу перед самым концом Союза и в постсоветскую эпоху. Это позволяет составить некоторое представление о происходящих там сейчас культурных процессах, у нас известных минимально, если известных вообще.

Ближе к концу года таллинским издательством «Kite» был издан сборник эstonского поэта Яана Каплинского, двуязычного человека, пишущего в том числе и по-русски. Книга «Белые бабочки ночи» включает в себя его оригинальные русские стихотворения (которые он пишет отчасти по старой — дореволюционной — орфографии, поскольку находит ее особенно подходящей для поэзии). По моему чувству, это — параллельная, «вторая» русская литература, русская «инолитература» — живущая хоть и на русском языке, но нездешними смыслами.

Думаю, что можно отнести к писателям с постсоветского пространства и вильнюсского жителя (жительницу) Макса Фрайя, которой я неизменно благодарна за ее существование вообще (за ее выраженное в слове и в межсловесных пространствах отношение к миру) и, в частности, за «Сказки старого Вильнюса» («Амфора») — которых в минувшем году была издана уже третья книга — и за сборник «Ветры, ангелы и люди» («ACT»). Есть книги, которые интересно, важно, полезно и т.п. читать, а есть еще и такие, с которыми хорошо жить, которые расширяют внутреннее пространство жизни. Скорее всего, все хорошие книги это так или иначе делают, но, во всяком случае, Макс Фрай для меня как раз из таких.

3. Увы, я совершенно лишена хоть какого-то социологического кругозора, который, по моему разумению, совершенно необходим для ответа на этот вопрос. Что происходит в массовом чтении, я просто не знаю (каюсь, даже не знала, что этот — или какой? — год был у нас специально назначенным годом чтения, культуры и литературы); но вообще, что касается массовых и сверху устраиваемых мероприятий типа «год того или сего», в их плодотворность я не верю — думаю, что настоящие культурные и смысловые процессы происходят помимо них.

*Владимир Бондаренко, литературный критик, г.Москва*

## **«Нужны не чиновничьи отписки, а реальная поддержка литературного процесса»**

1. Если смотреть широко, планетарно, то главным литературным событием 2014 года стал для меня юбилей великого русского поэта, мистика, пророка Михаила Лермонтова. Нашему классику исполнилось 200 лет. К юбилею я сумел издать в серии «ЖЗЛ» свою версию его судьбы «Михаил Лермонтов. Миистический гений», в течение года проходили конференции и фестивали, в Пятигорске,

---

3. «Год чтения»... «Год культуры»... «Год литературы»... Удается ли сблизить читателя и книгу? Ваши профессиональные впечатления и прогнозы.

в Тарханах, в Москве и Шотландии, в Китае и в США. Рад, что нашел время и посетил Тарханы в день юбилея наш президент Владимир Путин.

Думаю, в современной художественной литературе главным событием года стал роман Захара Прилепина «Обитель». Захар уже достаточно известный писатель, входил в число лидеров современной русской словесности со своими повестями «Восьмерка», сборником рассказов «Грех», коротким, но ёмким романом «Санька», но роман «Обитель» стал и для него откровением, резким рывком вверх, и для всей нашей литературы — событием. Казалось бы, что можно написать о Соловецком лагере, и вообще о лагерях после Александра Солженицына, Бориса Ширяева, Ивана Солоневича, Варлама Шаламова, тем более, человеку, нигде не отсидевшему (к счастью)? Но и по характерам героев, и по сюжету, и по глубине видения этот роман стал одним из сокровенных для истории XX века. Он счастливо проплыл между Сциллой и Харибдой, между влиянием соловецких просоветских очерков Максима Горького и оголтело антисоветским «Архипелагом ГУЛАГ» Александра Солженицына, а где-то и счастливо соединил их. Это еще один осколок «Серебряного века». Я рад, что в конце 2014 года этот роман получил «Большую книгу». Заслуженно. Хотел бы отметить и беспрекословную для него самого «Теллурию» Владимира Сорокина, остросовременный роман «Крым» Александра Проханова, окончание «Гипсового трубача» Юрия Полякова. Хочу написать статью о фантастике Сергея Лукьяненко, который ничуть не слабее Владимира Сорокина. Привлекли внимание поэтические циклы Николая Зиновьева, Дианы Кан, Тимура Зульфикарова, Владимира Шемшученко, Татьяны Ребровой, Александра Боброва, Нины Красновой, Магомеда Ахмедова... Слежу за критикой Андрея Рудалёва, Юрия Павлова, Алексея Татаринова, Сергея Белякова, Льва Данилкина...

В целом, год 2014 для русской литературы был хорошим. Лично для меня он закончился тоже удачно, в издательстве «Вече» вышла «Книга странствий. Заметки русского империалиста», в которую вошли все мои очерки о поездках по Австралии, Африке, Америке, Китаю, Европе, беседы с Ле Пеном и Воиславом Шешелем, Збигневом Бжезинским и Ричардом Пайпсом, Муаммарам Каддафи и Гао Маном. На осеннем гамзатовском фестивале неожиданно для себя получил вместе с Магомедом Ахмедовым, ярким дагестанским поэтом, и Серёжей Шаргуновым премию «Светлые соловьи России», вышла книга дагестанской поэзии с моим предисловием.

2. Думаю, что за последнее время я читаю только писателей постсоветского пространства, и левых и правых. Последнее советское поколение постепенно уходит в историю литературы, и определяют литературный процесс так называемые писатели «постсоветского пространства», не только русские, но и украинцы Юрий Андрухович, Сергей Жадан, Лина Костенко, Наталка Сняданко, Иrena Карпа, Любко Дереш, не забудем и про Андрея Куркова, белорусы Володя Некляев, Георгий Марчук, Андрей Федоренко, а потом уже и вся русскоязычная команда — О. Тарасевич, О. Громыко, А. Ольховская и все остальные, печатающиеся в Москве. Естественно, читаю и полемизирую со Светланой Алексиевич, с украинскими коллегами Павло Мовчаном, Дмитро Павлычко. Слежу за

- 
1. Каковы для Вас главные события (тексты любых жанров и объемов) 2014 года?
  2. Попадают ли писатели с постсоветского пространства в круг Вашего чтения?

казахской и киргизской литературой, недавно написал заметки об Олжасе Сулейменове.

3. Пока от «Года культуры» ничего по-настоящему хорошего не видел. Если так же будет и с «Годом литературы», очень печально. Нам всем нужны не чиновничьи отписки, и не разворовывание денег на различные и непонятные гранты и фонды, а реальная поддержка литературного процесса, выход талантливых писателей разного возраста и направления на каналы телевидения, прежде всего государственные — ОТР, «Россия», НТВ, «Культура», еженедельные дискуссии и «круглые столы», как было раньше. Необходимо шире представлять новые книги в средствах СМИ, да и просто наладить выпуск новых литературных серий: молодая проза, новая поэзия, мнения критиков. Кстати, вот взяли бы и в «Год литературы» поддержали финансово газету «День литературы», а равно и журнал «Дружба народов», и другие некоммерческие художественные издания. Хотя бы в «Год литературы» запустили бы во все газетные киоски продажу традиционных «толстых» литературных журналов и литературных газет. Но, думаю, это все мои утопические планы, на самом деле закончится все тем, что выпустят новые собрания сочинений Бориса Акунина и Дмитрия Быкова — вот и весь «Год литературы». Не знаю даже, нужны ли эти «годы», вижу, что русская литература на подъеме, каждый год крупные художественные удачи. А вслед за литературой и вся Россия поднимется.

*Алексей Варламов, прозаик, г.Москва*

## **«Литература стала занятием элитарным»**

1. Выход девятитомного собрания сочинений Василия Макаровича Шукшина, подготовленного в Барнауле. Отличное издание, в котором учтены определенные недочеты вышедшего в 2009 году восьмитомника, существенно дополнен биографический раздел, введены в научный оборот новые документы: письма, справки. Все это результат огромной работы, и здесь, конечно, огромную роль сыграла инициатива местных властей. На Алтае Шукшина действительно любят, им гордятся и создают своего рода кульп Шукшина, что абсолютно правильно.

Из новейшей литературы: роман Арсена Титова «Тень Бехистунга», «Обитель» Прилепина, «Завод "Свобода"» Ксении Букши. Все эти книги получили крупнейшие литературные премии этого года, «угаданные» очень точно.

Из того, что в премии не вошло, назову книгу рассказов Владимира Крюкова «Мальчик», новую прозу Сергея Есина, Анатолия Королева и Михаила Попова.

2. Читаю белорусов Любовь Турбину и Андрея Федоренко. Часто вспоминаю своих знакомых армян — Давида Мурадяна и Левона Хечояна. С горечью читаю публистику украинца Андруховича, в который раз убеждаясь в том, что писателей до политики лучше не допускать.

---

3. «Год чтения»... «Год культуры»... «Год литературы»... Удается ли сблизить читателя и книгу? Ваши профессиональные впечатления и прогнозы.

3. Сходишь на «нон-фикшн» и, кажется, удается, посмотришь на статистику — нет. Но, честно говоря, эти вопросы уже начинают приедаться, потому что из года в год мы говорим об одном и том же. Почему не читают? Что надо сделать, чтобы читали? Как вернуть интерес к чтению? Уже все сказано, тема замусолена до неприличия, а толку-то?

Ну, не читают, и что? Ощущение такое, что здесь возникла некая стабильность. Те, кто читают — читают и число этих людей не уменьшается. Кто не читает — не читает, но и здесь все без изменений. Литература стала занятием элитарным. Что-то вроде классической музыки. Возможно, в отдаленном будущем свою роль сыграет возвращение сочинения в школу, если только его не отменят как обузу.

*Алиса Ганиева, литературный критик, г.Москва*

## «Открытый и обмороков от счастья не было»

1. · Если как на духу, то текстов-событий, таких, что сбили бы с ног и перевернули душу, не случилось. Вообще, мне кажется, что, судя по коротким спискам наших главных липпремий, год был скорее тощим, чем тучным. Да, у хороших писателей вышли новые хорошие книги. У Дмитрия Быкова — «Советская литература» (очерки о писателях), а также сборник стихов и политических фельетонов. У Захара Прилепина — давно ожидаемый публикой большой труд «Обитель», вызвавший, конечно же, и неприятие, и восторг, и взаимоисключающие приговоры. Если о приговорах, то книжка ругательных рецензий Романа Арбитмана «99 книг, которые не надо читать» тоже выделяется своим неожиданным для критики захватывающим свойством. Местами хочется горячиться и спорить.

У Марины Степновой, завоевавшей успех своими «Женщинами Лазаря» года три назад, — новый «вкусный» роман «Безбожный переулок», у Дениса Драгунского — коллекция уморительных рассказов «Окна во двор». Сергей Есин перешел от дневников к инвентаризации собственной домашней обстановки, «Опись имущества одинокого человека» — очень интересная книга и по содержанию, и по способу организации повествования. По этой линии почти что довлатовского «Чемодана» (в смысле сюжетообразования) уже ходил Александр Кабаков с книгой о своих автомобилях. В этом году он, кстати, тоже выпустил новый сборник эссе «Стакан без стенок». Незаслуженно малозамеченno (хотя и в шорте «Большой книги») прошел «Перевод с подстрочника» Евгения Чижова. Издательство «Альпина нон-фикшн» продолжало радовать живыми и познавательными изданиями — от заметок о национальных особенностях той или иной страны до качественного научпопа. В особенности хочется отметить книгу Максима Шраера «Бунин и Набоков. История соперничества». Таким образом можно перечислить еще десятка два или три книжек, но нужно ли? Открытый и обмороков от счастья, повторяюсь, не было.

- 
1. Каковы для Вас главные события (тексты любых жанров и объемов) 2014 года?
  2. Попадают ли писатели с постсоветского пространства в круг Вашего чтения?

2. В этом году как-то даже неожиданно для себя один раз попала в Азербайджан (в июне, на юбилей Союза писателей) и два раза в Армению (на международный фестиваль «Литературный ковчег» в сентябре и на семинары Фонда Филатова в ноябре). Впечатления сложные, смешанные и к литературе не относящиеся оставил при себе, а вот новые имена приметила. Это нескольких молодых (преимущественно) прозаиков, среди которых автор из Грузии Николай Ломидзе, армянские Ованес Азнаурян, Айк Мелконян, Елена Шуваева-Петросян. Они все пишут по-русски. В Баку в переводах с азербайджанского запомнился Максуд Нур. Нравится то, что делает признанный и на родине, и в России Рустам Ибрагимбеков. А еще читаю молдавского поэта Вику Чембарцеву, белорусского поэта Андрея Хадановича (читаю оригиналы и почти понимаю), люблю всю нашу «ташкентскую школу»...

3. Что касается «года чтения» и всех мероприятий, которые проходили под эгидой «года культуры», то не думаю, что они успели что-то экстренно и кардинально решить. Тем более, что, судя по всему, грядущий «год литературы» пройдет без планировавшегося грандиозного размаха — все деньги из казны ушли на реанимацию национального величия.

Тем не менее длинные очереди на ярмарке «Нон-фикшн» в десятиградусный мороз меня поразили. Было такое ощущение, что люди спешат смыть книжные прилавки, пока рубль окончательно не рухнул. На выручке небольших издателей такая читательская жажда, видимо, сказалась все же не так сильно, как могла бы, — аренда площадок в ЦДХ рассчитывается в евро, а книги продаются в наших, деревянных. Хорошо, что образовался независимый Альянс издателей и книгораспространителей — маленькие и незащищенные должны объединяться, так будет легче выжить.

Сближение читателя и книги (пусть даже электронной), думаю, будет. Но это связано скорее с эволюцией состояния общества, а не с планомерными «круглыми столами» или встречами в библиотеках. Когда кризис становится не только финансовым, но и гражданским, людям хочется больше знать, думать и читать.

*Наталья Иванова, литературный критик, г. Москва*

## **Выбранное из отобранного**

1. Литературный год был, если судить по публикациям, довольно равновесным и полновесным. Литературный календарь осуществлялся исправно — от премии к премии, от ярмарки к ярмарке. И все же мы начнем точнее судить о прошедшем году и его итогах только спустя несколько месяцев, если не к концу года наступившего.

Однако хочу выделить курсивом небольшой, но весьма значительный двухтомник Олега Чухонцева — первый том это избранное из своих стихов («Речь молчания»), а второй — выбранные переводы («Безъязыкий толмач»). К моему сожалению том составлен без переводов с грузинского и латышского,

---

3. «Год чтения»... «Год культуры»... «Год литературы»... Удается ли сблизить читателя и книгу? Ваши профессиональные впечатления и прогнозы.

они бы расширили наши представления о переводческой деятельности поэта в советское время.

События — выход книги Сергея Чудакова и о Сергеев Чудакове («Сергей Чудаков. Анатомия. Физиология. Гигиена»), составитель Владимир Орлов. «Знамя» печатало журнальный вариант и, как мне кажется, предварило выход книги полноценной публикацией: стихи Чудакова выходили ранее, а мозаичный роман, составленный из множества высказываний и воспоминаний, все-таки лучше читается как отдельное повествование без стихов и рецензий самого Чудакова.

С этого учебного года я веду на филологическом факультете МГУ спецкурс о трансформации жанров в современной критике. И вот что любопытно: рассказывая, занятие за занятием, об этих самых литературно-критических жанрах и их мутациях-трансформациях, я еще раз убедилась, что критика у нас любопытнейшая, развивающаяся, полная энергии и разнообразия. И место ее прописки — «толстые» литературные журналы (по-прежнему). Немного — в газетах. А дальше, в Интернете — все меньше, и меньше, и меньше. Событие — это живая, пульсирующая критика года. Отмечу рубрики «Литературное сегодня» и «Лица современной литературы» в «Вопросах литературы». В «Новом мире» — «Два этюда. Памяти Льва Лосева» Алексея Конакова (№ 4), Олега Юрьева о М. Ерёмине (№ 7), там же и о нем же — и Кирилл Корчагин.

В «Знамени» обращаю внимание коллег и читателей на филологическую повесть Алексея Конакова «Приближение к Чуковскому», публикации Павла Нерлера, статью Инны Булкиной «На кончике пера», а также на две новые критические рубрики — «Переучет» и «Гутенберг». В «Дружбе народов» мне были интересны комментарии на «Золотых страницах».

Отмечу рассказчиц, во всех журналах: Елену Долгопят, Марию Ануфриеву, Екатерину Кюне; любопытный рассказ удивившего всех несколько лет тому назад Олега Сивуна «О, Бартби, Бартби!» («Знамя», № 10). Алла Марченко придумала термин *вместороманье* — вот оно. Жаль, что премия Юрия Казакова с литературной карты исчезла.

Что касается отмеченной «Большой книгой» и объявленной главным романом «Обители» Захара Прилепина, то все-таки и здесь, на лагерном материале, у Прилепина победила беллетристика! Любовь «жертв — палач» и все такое. Это — не моя чашка чаю, как говорят англичане, — при всех восторгах либеральной публики, которой плюнь в глаза — божья роса.

Особым событием стал выход в свет двухтомника Н. Я. Мандельштам (издво «Гонзо»), подготовленного Павлом Нерлером, и его собственные публикации о Мандельштаме — в «Знамени» и в «Новом мире».

2. Увы, крайне редко. Я скучаю по контактам с Грузией, грузинским писателям, самой литературе Грузии. Спасибо «ДН» за то, что журнал делает, — но, видимо, необходимы еще большие усилия. Выход тома грузинской поэзии в «ОГИ» позволил прочитать последние стихи, познакомиться с неизвестными мне авторами. И книга получилась очень красивая.

3. Сблизить читателя и книгу пока не удается — они расходятся, как льдины в океане... Но это не значит, что пора прекращать усилия. Наоборот — усилий недостаточно.

- 
1. Каковы для Вас главные события (тексты любых жанров и объемов) 2014 года?
  2. Попадают ли писатели с постсоветского пространства в круг Вашего чтения?

Однако все эти «года» официальные счастья не приносят и не принесут. Выделяемые для них деньги до реальных издателей и их программ вряд ли доходят — чиновники у нас обожают праздники, всяческие фу-фу, туда основные средства, боюсь, и уйдут. Если будет иначе — я только порадуюсь.

А вот на продолжение уже ставших знаменитыми и любимыми публикой проектов денег нет. Боюсь, что премии Ивана Петровича Белкина мы в этом году не досчитаемся. Меценаты, ау! «Год литературы» — не подмога...

*Марианна Ионова, прозаик, литературный критик, г. Москва*  
**«А премия имени Бориса Дубина?..»**

1. Первым среди событий 2014 года (если ограничиться вынесенными текстами и не касаться новых премий и периодических изданий) поставлю то, которое можно считать событием по преимуществу. Перевод на русский язык какого-либо произведения, в силу своего резонанса или значимости давно просившегося быть переведенным (вообще впервые или впервые за годы, роли не играет), всегда больше заслуживает права называться событием, чем выход любого оригинального текста, поскольку заведомо вписан в историю литературы. Но перевод, о котором я скажу, событиен, на мой взгляд, еще и качественно. Это перевод «Морской оды» Фернандо Пессоа (написанной им под гетеронимом Алваро де Кампуш), выполненный Наталией Азаровой и сначала представленный ею в формате чтения-перформанса, а затем и опубликованный («НЛО», № 4(128), 2014). Один из ключевых или, как определяет переводчица во вводном эссе, «прецедентных» (т.е. *событийных*) для поэзии модернизма и, шире, для современного верлибра текстов, «Морская ода» (1915) до сего момента на русский переведена не была. То, что сделала Наталия Азарова, не сводимо к продвижению наследия Пессоа или португальской литературы в целом, проще говоря, к переводу как «дипломатической миссии». Азаровой явно важнее создать *прецедент* в своем языке и своей литературе, нежели по возможности калькировать в них нечто снискавшее славу. Азарова-переводчик мыслит проективно. Новые переводы Ду Фу (М.: «ОГИ», 2012) преподносилась ею — автором идеи — скорее как вклад в развитие русской поэзии, в разработку ее языковых возможностей, чем как очередная веха приобщения к китайскому классику. Перевод поэмы Пессоа — событие рассроченное, инвестиция в русский верлибр, который все еще формируется и до сих пор открыт влияниям далеким и близким.

О двух других безусловных для меня поэтических событиях — книгах «Канонерский остров» Андрея Гришаева (М.: «Воймега», 2014) и «Проект Данте» Андрея Таврова (М.: «Водолей», 2014) — я уже подробно писала. Что же до прозы, то здесь пункт всего один.

Роман Владимира Губайловского «Учитель цинизма» (М.: «ЭКСМО», 2014) стоит читать хотя бы ради интонации, отчасти знакомой тем, кто знает эссеистику и критику Губайловского (тем более что повествование ведется от

---

3. «Год чтения»... «Год культуры»... «Год литературы»... Удается ли сблизить читателя и книгу? Ваши профессиональные впечатления и прогнозы.

первого лица и в немалой мере автобиографично): интонации ровной, обходящей все уклоны, будь то саркастическое бесстрастие, патетика, сентиментальность, амикошонство, — трезво-человечной. Интонации, которая дает ощущение не навязывающей себя правдивости и спокойной бескомпромиссности. «Учитель цинизма» называют первым русским «университетским» романом — в силу того, что описывает он среду студентов мехмата второй половины 70-х. Внесу и я свою лепту: *роман мысли* (по аналогии скорее с *комедией плаща и шпаги*, чем *романом воспитания*). Совсем молодые люди развлекаются умствованием, познают солнечную, питающую сторону мысли как способа взаимодействовать с жизнью; постепенно открывая, насколько — до трагизма — неукоренимы друг в друге жизнь мысли и жизнь жизни. Впрочем, необязательно ходить за дефинициями далеко: «Учитель цинизма» — роман философский, причем той благородной разновидности, когда не сюжет иллюстрирует философию, а философия комментирует сюжет. Не пересказывая суть, позволю себе высказать наблюдение-«спойл»: *учителем цинизма* в романе представляется мне не персонаж, которого прочит на это место аннотация, а тот, кому с точки зрения фабулы таковым быть не подобает.

Продолжение «Учителя цинизма» появилось почти одновременно с книгой («Новый мир», 2014, № 4; «Учитель...» впервые был опубликован там же в №№ 7 и 8 за 2012 год). Роман «Точка покоя» композиционно более рыхлый, что можно оправдать врастанием главного героя в жизнь, и как текст выглядит слабее, но отвечает на риторический вопрос «предшественника». Оставленный в финале «Учителя...» один на один с пустотой развенчанных смыслов, в финале «Точки покоя» повзрослевший герой находит единственную непреложную ценность — те, кого он любит, его жена и дети. Излишне, думаю, говорить, как своевременна эта «банальность».

2. Из писателей постсоветского пространства отмечу Тараса Прохасько с его подборкой эссе или короткой прозы «Равновесие» («Новый мир», 2014, № 5; перевод с украинского Андрея Пустогарова). Тон напоминает о славной прустовской традиции, угол зрения и форма — о швейцарце Филиппе Жакоте; но в рассеянном свете ускользающего и ускользнувшего бытия встает прошлое вовсе не частное. Прохасько рисует образ «постсоветского пространства» как особой, больше чем политической реальности, со своим воздухом, цветом и ароматом.

3. Разговор о *книге и читателе* лучше вести, поднявшись на ступеньку выше, в иных терминах: литература и общество, культура и общество. В 2014 году мы потеряли человека, не дававшего этим темам уходить под спуд, — Бориса Владимира Дубина. На «круглом столе», посвященном его памяти, который прошел в рамках книжной ярмарки Non/fiction №16, кто-то из ведущих предложил распространить посвящение на всю ярмарку нынешнего года. Беру на себя дерзость «пробросить инициативу»: а премия имени Бориса Дубина? Которая присуждалась бы, допустим, издательствам, своей целью избравшим доносить до широкого читателя ту литературу, которая раскрепощает сознание, учит ставить вопросы и искать ответы, помогает нашему обществу стать более гуманным и открытым. Можно было бы вручать ее за художественный перевод — учитывая, сколько сделал Дубин на этом поприще. И за исследования в промежуточных областях, на стыке общественных наук и теории литературы, и за практики, строящие мост между литературой и социальностью.

- 
1. Каковы для Вас главные события (тексты любых жанров и объемов) 2014 года?
  2. Попадают ли писатели с постсоветского пространства в круг Вашего чтения?

Наконец, за смелость в диагностике и прогнозировании общественных процессов (*диагностом* Дубин был назван на упомянутом «круглом столе»); просто — за гражданскую смелость. Возможно, как только будут сформулированы сами «требования», начнут понемногу являться и те, кто им соответствует и кого нам сегодня так недостает.

*Павел Крючков, литературный критик, г. Москва*

## Укрепляющие душу КНИГИ

1. Начну с окончания выпуска 11-томного «Собрания сочинений Лидии Чуковской». Издание оказалось возможным благодаря подвигническим трудам дочери писательницы — Елены Цезаревны Чуковской. Разумеется, в собрание вошли произведения, хорошо знакомые читателям Лидии Корнеевны: трехтомные дневниковые «Записки об Анне Ахматовой», легендарная проза конца 1930-х, воспоминания об отце «Памяти детства»... Но вошло и немало таких книг, которые либо не переиздавались десятки лет, вроде «В лаборатории редактора»; либо — вышли посмертно, как документальный роман «Прочерк» или литературно-художественная выборка «Мои чужие мысли». Особо отмечу недавний выход, точнее, переиздание финального тома собрания под названием «Из дневника. Воспоминания», куда Елена Цезаревна включила публикацию под названием ««Софья Петровна» — лучшая моя книга», вышедшую недавно в «Новом мире». Добавлю, что в этом volume (а каждая книга ненумерованного собрания издана так, что воспринимается как отдельное издание) сильно укрупнены разделы «Иосиф Бродский» и «Александр Солженицын». Мне кажется, что теперь, после расширенного издания записей Чуковской из ее «общего дневника», личность этой удивительной женщины на какую-то «дольку» освободилась от некоего мифологического тумана, которым, увы, нередко окружают Лидию Корнеевну в чужих воспоминаниях и дневниках. Но это тема отдельного разговора.

Горячо приветствую новую книжную серию издательского дома «Никея» — «Классика русской духовной прозы». Подобного проекта у нас еще не было. Передо мной лежат два десятка разноцветных томиков в мягких обложках, которые соединяют классические имена Пушкина, Гоголя, Достоевского, Лескова и Чехова с прозой русских эмигрантов прошлого века, — как хрестоматийными Буниным, Зайцевым и Шмелевым, так и позабытыми, и ныне всплывающими как та Атлантида именами.

Я имею в виду соловецкого сидельца, а впоследствии бойца РОА Бориса Ширяева и публициста Василия Никифорова-Волгина. Этого, второго, я несколько лет назад открыл для себя и очень чту. Василий Акимович Никифоров-Волгин был, в частности, автором «Дорожного посоха» — книги о крестном жизненном пути православного священника в революционной России, автором множества духовных рассказов и чудесным детским писателем. Этого талантливого человека большевики арестовали в Эстонии в 1941-м, привезли в Киров и там убили, расстреляли за созданное им художественное слово.

---

3. «Год чтения»... «Год культуры»... «Год литературы»... Удается ли сблизить читателя и книгу? Ваши профессиональные впечатления и прогнозы.

В этой серии есть прозаик «классических» советских времен — ленинградец Л.Пантелеев, всем известный как автор «Республики ШКИД» и рассказа «Честное слово». В «никеевскую» книжку вошел фрагмент его потаенных мемуаров «Верую».

Есть и неожиданные открытия, своего рода литературно-духовный «град Китеж», — я о мемуарных письмах и рассказах Константина Леонтьева, малой прозе и романе «Антихрист» священника и литератора Валентина Свенцицкого и ярком, написанном на рубеже веков художественном повествовании «Архиерей» — пера иеромонаха Тихона (Барсукова). Вот, кстати, совсем забытое имя.

В этой же серии вышли сборники прозы и наших современников: священника Николая Агафонова и прозаика Алексея Варламова.

Среди моих заветных прозаических открытий ушедшего года — некоторые книги, выпущенные «Редакцией Елены Шубиной» («АСТ»). Назову новый роман Юрия Милославского «Приглашенная. Материалы к биографии Александры Федоровны Чумаковой». Это удивительное полижанровое повествование о любви и смерти, что-то вроде трактата-сна, попытка преодолеть непреодолимое. И — поначалу представленный упомянутым «Новым миром» роман Виктора Ремизова «Вольная воля», замечательная проза астафьевского накала.

И наконец, не могу не вспомнить новую большую повесть Бориса Екимова «Осень в Задонье» — прозу, вероятно, последнего крупного писателя в своем поколении. Да и будет ли еще кто писать — *так и о том*, — о родной и почти инопланетной хуторской жизни, о неизбывных горячах и надеждах тех, кого в дни выборов кличут «электоратом»? Не знаю.

...Хочу вспомнить составленную Геннадием Красниковым уникальную антологию «Первая мировая война в русской литературе», выпущенную издательским домом «Вече» — в юбилейном для этой страшной войны году.

...Надо бы отметить и неутомимый редакторский труд Александра Переверзина, то есть новые поэтические книги издательства «Воймега» — сборники Ирины Ермаковой, Александра Климова-Южина, Андрея Гришаева, Дмитрия Пилищуга.

Ну а главным моим утешением неспокойного года оказалось «замаскированное» под историко-литературную монографию (это в ней, конечно же, есть!) сокровенное послание писателя и журналиста Дмитрия Шеварова. Говорю о его изданной в серии «ЖЗЛ» книге «Двенадцать поэтов 1812 года. Жизнь, стихи и приключения русских поэтов в эпоху Отечественной войны». Из «громких» имен здесь лишь поручик Жуковский, штабс-капитан Батюшков и корнет Вяземский, остальные широкой публике, к которой я отношу и себя — почти неведомы. Книга Шеварова — о ценностях, которые просто забыты или за ненадобностью почти что и вынуты из нынешнего человеческого общежития.

А если и не вынуты, то искорежены в понимании.

К «укрепляющим» душу книгам отнесу выпущенную в той же серии биографию яркого публициста и мыслителя, загадочного Ивана Солоневича — пера К. Сапожникова. Кстати, свидетельствую, что книга о Солоневиче, авторе «Народной Монархии» и «России в концлагере», оказалась чуть ли не единственной, на корню раскупленной книгой на лотке «ЖЗЛ» — в дни последней декабрьской ярмарки «нон-фикшн».

Ну и поскольку я специально занимаюсь ДЕТЛИТом, и стараюсь следить

- 
1. Каковы для Вас главные события (тексты любых жанров и объемов) 2014 года?
  2. Попадают ли писатели с постсоветского пространства в круг Вашего чтения?

за новинками — то здесь же спою канцтаты и оды удивительному «самокатскому» книжному проекту «Как это было», то есть книгам о войне, написанным фронтовиками.

Серию конгениально опекает Илья Бернштейн, в ней уже выпущены: «Он упал на траву» Виктора Драгунского (повесть впервые освобождена от советской цензуры), «Сестра печали» Вадима Шефнера, «Ласточка-звездочка» Виталия Сёмина и «Будь здоров, школьарь» Булата Окуджавы. У каждого издания серии есть приложение: исторический очерк с фотографиями и документальными свидетельствами, то есть присутствуют и многомерность и многоадресность. Под многоадресностью мы имеем в виду неравнодушных родителей, которые могли бы перечитать эти книги параллельно (или вслед) чтению своих отпрысков. Ручаюсь, они будут удивлены и взволнованы.

2. Попадают, в частности, благодаря журналу «Дружба народов». Но и книги случаются.

Чтобы не ходить далеко, вспомню, пользуясь случаем, собственные армянские корни, и назову прославленных Мариам Петросян и Наринэ Абгарян. Правда, в их биографиях московская жизнь сильно переплетена с армянской, и обе пишут на русском языке.

3. Если тот или иной литературный проект создается в расчете на грядущий Год Чего-либо (культуры, литературы), то поле надежды, наверное, расширяется.

Кстати, о надежде.

Недавно я вел церемонию вручения литературной премии имени Корнея Чуковского, в которой присутствуют четыре номинации.

В премии, замечу, есть финансовая составляющая.

На три номинации из четырех деньги выдает комитет по культуре при московском правительстве, а на главную номинацию («За выдающиеся творческие достижения в отечественной детской литературе») — комитет по СМИ и рекламе. Вот именно этот комитет последнее время держит организаторов Чуковцев в неловком напряжении. Они ломают голову: дадут или не дадут в текущем году денег на главную номинацию в премии, организованной, кстати, при участии московских властей...

Последний раз премия Чуковского вручалась минувшим декабрем, и на тот момент ее главный лауреат, то есть разменявшая восемьдесят лет Новелла Николаевна Матвеева не знала, где же ее премия — на пути ли к искомому счету, с которого эти рубли должны ей перечислить или еще не на пути. Когда я пишу эти свои заметки, все еще ничего не известно, кроме того, что многим причастным — стыдно и неловко.

В прошлом году похожая петрушка была с Ниной Михайловной Демурой, чей перевод «Алисы в стране чудес» читали миллионы наших соотечественников.

Говорят, перевод денег Новелле Матвеевой не отменяется, просто его могут увести в начало нового года.

...Вот, когда я думаю об этом «уводе», то сразу вспоминаю, что наступивший-то год у нас — не просто так, а «год литературы» в России. Может, кто из чиновников вспомнит об этом, думаю я, — и вспомнит до того, как мы начнем собирать подписи под обращением к мэру города? Неизвестно, но — дай Бог.

*(Окончание в следующем номере)*

---

3. «Год чтения»... «Год культуры»... «Год литературы»... Удается ли сблизить читателя и книгу? Ваши профессиональные впечатления и прогнозы.

# Орёл и гуси

*Рубрику ведёт Лев Аннинский*

Выбирают не Родину — выбирают судьбу.  
Владимир Ермаков

Владимир Ермаков — ярчайший публицист, живущий в Орле и подтверждающий своим талантом славу родного города как третьей (после Москвы и Питера) литературной столицы России, — издал в трех томах под общим названием «Осадок дня» «своемерные заметки на полях календаря». Меченые концом 2012 года названы так: «Пейзаж после империи».

Пейзаж такой:

«История как кукушка подбрасывала в гнездо российской державности малые нации и кочевые народы, чтобы двуглавый орел в роли наследки мог высиживать их латентную государственность. Финляндия, Латвия, Эстония, Молдавия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан... Отдельную особую украинскую историю трудно выкроить из общей для многих народов тысячелетней хроники русского мира».

Орел в роли наследки — не менее классно, чем история в роли кукушки. Тем более, что кукушка неугомонна: в свое время подбросила славян в ордынское гнездо, где они вызревали до Куликова часа. Это важно — для ясности общей картины птичьего двора, вне которой не понять ни одной частной судьбы.

Заметки Ермакова посвящены, собственно, российско-украинской «драме разрыва».

Особенно интересны они, эти заметки, потому, что в течение года, прошедшего после их завершения, драма продолжилась — многодневным стоянием незалежных украинцев на киевском Майдане с требованием к России тотчас отпустить их в Европу. И стояние это вроде бы продолжится.

Осмысливая разрыв, Ермаков ищет базисных причин его:

«Если русская идея, одержимая всеединством, страдает всеядностью и задыхается от избытка чувств, то украинская идея, удрученная подозрением, страдает нетерпимостью и сжимается в сердечный спазм».

Руки так и чешутся откомментировать это суждение.

Да, русская идея — переполнена и задыхается от переполненности. Потому что вбирает в себя энергетику племен, вокруг Руси сплотившихся. В том числе (и в решающей части) энергетику украинцев, вложивших в строительство общероссийского государства свое достояние, от Киевской Руси вынесенное.

Да, украинская идея уязвлена — ощущением обделенности. Потому что накопленное за полтысячелетия — отдано, принесено на общерусский алтарь, ушло под общероссийские знамена.

Ермаков особенно чутко реагирует на те географические «углы карты», где вклады стыкаются и пересекаются. Например, на стык казачьей и украинской вольниц. Этот стык особенно чувствителен для меня по биографическим причинам: мой отец вырос на Дону, мать — на Украине. Москва их спасла от погромов революционной эпохи, я — спасеныш.

Казачество возникает — на стыке державных амбиций: например, Польши, России и Турции в смутные времена, оно оживает каждый раз, когда начинается очередной передел владений, и казаков выбрасывает исторический вихрь: не землю выбирают они, не территорию, не родину, а выбирают — судьбу. Что кому досталось и кто с чем останется.

В двадцатом веке стык опятьолосует народы: кто с кем сталкивается и кто буфер...

«Родовая травма украинской государственности — кесарево сечение гражданской войны. Именно на этом сыграл Гитлер, используя западно-украинских сепаратистов в войне против СССР».

За эту «игру» в 1942 году жизнью расплатился мой отец, красный казак, ставший советским политруком.

Сегодня — очередной стык-расстык? И очередная родовая схватка: сотни тысяч «западенцев» едут в Киев, днют и noctуют на Майдане: хотят в Европу, и немедленно. Подальше от Москвы.

Я рискну поделиться нелегкими мыслями по поводу этих событий. Я спрашиваю: сколько людей можно мобилизовать на такое стояние (да еще и доставить из Львова и других центров Западной Украины), если люди этого не очень хотят? Даже если западные кошельки не потщатся оплатить это стояние, а западные дипломаты не поленятся приехать в Киев, чтобы на Майдане речами вдохновлять протестантов? Как ни тужься — ничего не получится, если сама почва, само население, сам народ не обнаружат желания переселиться в Европу. И формально, и реально.

Кажется, у массы западноукраинского населения это желание есть.

Чем это объяснить: древней ли памятью о средневековых связях, или сравнительно недавними ощущениями австро-венгерского имперского ошейника (куда менее жесткого, чем социалистические объекты главных участников двух мировых войн), о причинах пусть подумают историки. Я сейчас думаю о следствиях: если население хочет, — придется отдать. И эту территорию, и это население.

Грустно ли мне от этого? Да, грустно. Горечь при расставании естественна. Ее несколько смягчает мысль о том, что совершается неизбежное.

Чего жаль? Земли? Правобережья Днепра? Но если границы перестанут быть «на замке», то и земли перестанут быть предмостьями или убежищами.

Людей жаль терять? Ну, если так хотят — пусть уходят. В Европу так в Европу. Да и психологически трудно жить вместе с братьями, когда они могут в критический момент переметнуться, изменить, ударить с тыла... на чем и сыграл Гитлер, дав шанс сыграть Власову. Не надо ждать такого критического часа.

Но выбор уходящих — такая же законная акция, как выбор тех, кто остается. И никто не вправе вырывать остающихся из общероссийского мира! А народ южной и восточной Украины явно хочет оставаться с нами!

Раздрай, развод, раздел?.. Как все это практически осуществляется — пока не очень ясно. Никакого насилиственного обрушения остающихся не будет — Россия, в отличие от иных «плавильных котлов» (и Европы, и особенно Америки) исторически придерживается концепции «многожильного провода» (Ермаков предпочитает другую метафору: скрученные вместе нити). В общероссийском союзе украинцы Донбасса останутся украинцами. Даже те из них, что решат рвануть к Тихому океану. Простор!

Великий простор:

«Другие народы Европы сжаты в нации географической теснотой и спрессованы в этносы давлением событий — российский суперэтнос вызван к историческому бытию великим простором».

Какими будут формы связи народов, объединившихся на этом «просторе», покажет будущее. Федерализм и открытые границы — пожалуй, лучший вариант.

А если границы по-прежнему будут бредить о замках и запорах? Если грядет не система интеграции, а хаос дезинтеграции (сейчас Ермаков в негодовании переходит с привычной красивой русской речи на интеллектуальный волапюк), тогда «экстремалы получат преимущество перед эмпириками».

И что тогда?

Я как неисправимый эмпирик вижу такую картину. Неизбежное свершается. Гуси устремляются в Европу спасать Рим... а может, Париж, Берлин и Лондон? Нет, сначала Брюссель...

А наш орелик в четыре глаза двух своих голов озирает горы и долы Евразийского Простора. Он не выбирает. Его выбор уже сделан историей.

И мы не землю выбираем. Не территорию. И даже не родину. Мы выбираем судьбу. А она нас.

«Наша судьба — или вместе выстоять, сохраняя исторические ценности и охраняя национальные интересы, или порознь отдать простор от Волги до Дуная новым кочевникам без роду и племени».

Самая тревожная из всех возможных ситуаций — если эти «кочевники» в качестве признаков рода и племени подхватят и присвоят наши имена.

Вот это будет задача, о которой нынешние птенцы вроде бы и не задумываются.

А если придется?

# *Summary*

## OUR GOLDEN PAGES

In this issue we recall the wonderful poems and translations by Inna LISNYANSKAYA, our long-standing author, a poet succeeded the great traditions of Russian classical poetry.

### Alexander SNEGIREV. Vera. A novel

«This life may cave in anyone, — a popular expression says and follows: — but the way out will be found anyway». Many characters of today's literature are looking for their way out finding themselves at the cross-roads again and again. Such are the characters of this novel and its protagonist with the symbolic name Vera («faith» in Russian).

### POETRY

The cycle of the poems by Vyacheslav SHAPOVALOV «Wonderland» is dedicated to the memory of the great Georgian poet Nikoloz Baratashvili.

Commemorating the 80<sup>th</sup> anniversary of the outstanding Belorussian poet Rygor Borodulin who unfortunately hasn't lived till the date we publish a collection of his latest poems in brilliant translations by Ivan Bursov.

New poems by Marina KUDIMOVA and Vladimir SALIMON — very different but equally well-known poets.

### Andrej STOLYAROV. Give Fair Chance to the World

In this «long short story following reality» the author, taking Germany of the 70<sup>th</sup> as an example, shows how the young people who have lost the faith in any other methods of fight but terrorism nearly succeed in bending to their will the state safe and successful by many standards.

### Anna FEDOROVA. Geography of the Italian Character. An essay

This is a fascinating story about the sparkling diversity of Italian customs and human characters told by our compatriot Anna Fedorova who has been living in Italy for a very long time.

### Vyacheslav ZAPOLSKIY. Taiga Hallelujah

The author from Perm is telling about the history, culture and nowadays of Verkhnekamye (the Upper Kama region).

## УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Дружба народов»

МОЖНО ВЫПИСЫВАТЬ С ЛЮБОГО МЕСЯЦА ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТЫ РОССИИ.

Подписной индекс в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» — **70250**

Подписной индекс в зеленом каталоге «ПРЕССА РОССИИ» — **91826**

Также можно оформить подписку *online* на сайте журнала

**дружбанародов.com**

на его странице в Живом журнале

<http://drujba-narodov.livejournal.com/>

и в Журнальном зале

<http://magazines.russ.ru/druzhba/site/podp/>

Мобильная версия «ДН» для устройств на iOS доступна в App Store и на

<https://itunes.apple.com/ru/app/druzba-narodov/id893172883?mt=8>

Технический редактор Наталья Кузнецова

Верстка Елены Жирновой



ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ  
И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ  
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»